

Одесский
альманах

№84

1 / 2021



ДЕРИБАСОВСКАЯ ДЪ РИШЕЛЬЕВСКАЯ



PLASKE
ПЛАСКЕ

Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»

«Дерibasовская – Ришельевская». Альманах

№ 1 (84), 2021

Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»

(свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010 г.)

Председатель редакционного совета: Иван Липтуга

Редактор: Феликс Кохрихт

Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Олег Губарь, Иван Липтуга

Технический редактор: Геннадий Танцюра

Верстка, корректура: Татьяна Коциевская

Свидетельство о государственной регистрации печатных средств массовой информации:

КВ № 19644-9444Р от 08.01.2013 г.

Адрес редакции: 65001 Украина, Одесса, ул. Ак. Заболотного, 12, а/я 299

Тел.: +380 (48) 7-385-385

books@plaske.ua

www.plaskepress.com

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»

Украина Одесса ФЛП Карпенков О.И.

Свидетельство ОД №21 от 20.01.2003 г.

Тел.: +38 (067) 486-20-34

E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua

Тираж 100 экз.

Заказ № _____



Літературно-художнє видання серії «Одеська бібліотека»

«Дерibasовская – Ришельевская». Альманах

№ 1 (84), 2021

Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» (свідоцтво ДК № 3673 від 21.01.2010 р.)

Голова редакційної ради: Іван Липтуга

Редактор: Фелікс Кохріхт

Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Олег Губарь, Іван Липтуга

Технічний редактор: Геннадій Танцюра

Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації:

КВ № 19644-9444Р від 08.01.2013 р.

Адреса редакції: 65001 Україна, Одеса, вул. Ак. Заболотного, 12, а/с 299

Тел.: +380 (48) 7-385-385

books@plaske.ua

www.plaskepress.com

Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «ТакиБук»

Україна Одеса ФОП Карпенков О.І.

Свідоцтво ОД №21 від 20.01.2003 р.

Тел.: +38 (067) 486-20-34

E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua

Наклад 100 прим.

Замовлення № _____



© АО «ПЛАСКЕ», 2021

© «Дерibasовская – Ришельевская», 2021

От редакции

С первого номера (уже более двадцати лет) наш альманах открывается обращением к читателям и авторам от редакции. Мы рассказываем, что произошло, чего ждем, на что надеемся. Размышляя о том, с чего начать восемьдесят четвертое наше обращение, открывающее первый выпуск 2021 года, мы сразу же решили – не с ковида, а с чего-нибудь жизнеутверждающего... И тут вспомнили, что в январе 1931 года, девяносто лет назад, в журнале «30 дней» началась публикация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». И поскольку мы собрались во Всемирном клубе одесситов – на углу Маразлиевской и той самой Базарной, где родился Женя Катаев – будущий Евгений Петров, а идею великой диалогии дал авторам Валентин Катаев (родившийся там же), то, образно говоря, и сам Остап Бендер – с этой легендарной одесской улицы.

Еще одним знаменательным совпадением стало то, что очередной «Одесский календарь» (АО «ПЛАСКЕ» и Литературный музей) на сей раз посвящен Базарной улице...

Романы Ильфа и Петрова – на «Золотой одесской полке». Им была суждена долгая жизнь, и она продолжается. И «одесская полка» книг о нашем городе, книг, написанных одесситами всего мира, удлиняется.

Думаем, читатели заметили, что уже десяток номеров мы открываем как своеобразным эпиграфом к альманаху миниатюрами Михаила Жванецкого и стихами Юрия Михайлика. И в этом номере мы не отступили от нашего правила.

Послушаем Михаила Жванецкого:

«Великие все умерли – и ничего!..

Благодаря им и жизнь есть».

Полностью его монолог вы прочитаете через несколько минут, когда перевернете эти страницы. Он открывает номер и озаглавлен «А смерти

нет». Написанный незадолго до ухода автора из жизни, этот текст не только выражает его сокровенные мысли и чувства, но и может служить нам наставлением в той жизни, что предпослана и суждена. Среди текстов, переданных нам Натальей Жванецкой, есть и обращение отца к сыну Мите. Вот его начало: «Всегда ходи под Богом. Всегда с ним соглашайся». И последняя строка: «Имей совесть и делай, что хочешь». Как это важно всегда, и особенно сейчас – имей совесть...

Вслед за монологами Михаила Жванецкого – традиционная подборка новых стихов Юрия Михайлика. Написанные у другого моря – у океана, не в Одессе, а в Австралии, они обращены тому городу и миру, который всегда с нашим товарищем. Сегодня – в трудные, да и опасные дни, с особой убедительностью и силой звучит завет старых мореходов, родившийся в шторм: «Плывать по морю необходимо». Одесса – тот город, где такой императив понятен и воспринят даже в месяцы ковида и карантина.

Сразу заметим: даже простое перечисление всех ярких и знаменательных событий, состоявшихся в нашей общественной и культурной жизни уже в 2021 году, заняло бы несколько страниц. Назовем лишь те, свидетелями, да и участниками которых мы были.

Во Всемирном клубе одесситов прошла выставка работ ветерана войны, одного из самых романтических живописцев Альбина Гавдзинского. Музей западного и восточного искусства предоставил залы работам Адольфа Лозы, а в Литературном прошла выставка новых произведений Стаса Жалобнюка. Завершился проект Музея современного искусства Одессы, посвященный 30-летию деятельности предшественника МСИ – «ТИРС», выпуском каталога.

Новый год в Театре оперы и балета начался с шедевра Петра Чайковского «Щелкунчик», новые спектакли репетируют во всех театрах города. Алексей Ботвинов и его команда планируют расписание концертов Седьмого фестиваля Odessa Classics, а Международный кинофестиваль уже объявил, что не только состоится, но и пройдет офлайн, то есть живую. В эти весенние дни прозаик Елена Андрейчикова возобновляет театральные выступления.

Мы начали наш разговор с книги, вышедшей девяносто лет тому. Книги выходят и сегодня. Наша «одесская книжная полка» пополнилась книгой Олега Губаря «Мифы и легенды старой Одессы» и Евгения Голубовского «Мои 192 ступени», книгой литературно-краеведческих

эссе Алёны Яворской «42 истории о... или Это было, было в Одессе»... Да и сейчас готовятся к выходу большая книга об уроках Второй мировой войны Виктории Коритнянской, том прозы Ефима Ярошевского, одного из лауреатов Бабелевской премии 2020, том стихов Юлии Мельник, сказок Елены Палашек, а киевский журнал «Радуга» готовит «одесский номер», где будет проза, поэзия, публицистика наших авторов.

Вы получите этот номер в начале марта. Когда-то мы приурочили бы его выход ко дню рождения Жванецкого, 6 марта, к международному женскому празднику 8 Марта, а нынче мы не связываем себя никакими датами, мы радуемся, что вместе с вами увидим «зеленые глаза весны».



Михаил Жванецкий
А смерти нет

Зачем бояться смерти?
Великие все умерли – и ничего!..
Благодаря им и жизнь есть.
Ну, если, наконец, подумать.
Они же умерли.
Вот это все написали, построили, оставили и ушли.
Их уже нет.
И ничего...
Чего ж переживать, когда такие люди, умнее, талантливее, трудолюбивее – покойники.
И вроде бы ничуть об этом не жалеют.
Разве они стремятся сюда?..
Вот в это, извините, время?..
Вот к этим, извините, людям.
Вот в эту, извините, жизнь.
Кому сегодня это нужно?
И им сюда не надо...
И нам отсюда не попасть туда.
И как читаешь их с восторгом.
Уже вся ночь... Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть...
И вдруг...
Господи, так он же умер! Кто написал...

Теперь-то бы, может, и спасли...
Чтоб он еще что-то сказал.
Он бы не захотел.
В такое время иль умереть, или молчать.
Вот что случилось.
Они уже прошли через своё.
Вот почему так зазвучали.
Ты через смерть пройди.
И сразу как все просто.
И то, что ты оставишь...
Сразу... Сразу звучит иначе...
И молодёжь, всё начинающая, и начинающая, и ды-
шащая возбуждением...
Да ладно вам!
Вот инструмент...
Вот стол...
Садитесь!
Компьютеры, пароли...
Подумаешь, секреты!..
Вот через смерть пройдешь, и всё узнаешь. И всё
не страшно. И ты поймёшь, и ахнешь.
И скажешь:
– Так все же умерли – и ничего. Живут!
А смерть – так просто... Перерыв!

* * *

Прекрасно сидеть весь день и смотреть на тер-
мометр.
Сразу за ним – море. За морем – небо.
А за мной – все, кто старше.
Скоро мы тронемся в сторону моря.

Всё увеличивая скорость и не производя ветра.
Вот бы на нас посмотреть!
Движемся лишь по прямой.
И впервые нам плевать на Америку. На Британию.
На Россию.

Да кто ж их вспомнит в этом мареве, в этом великом, свободном полёте.

Ни голоса, ни звука.

И воздух не забывает рот.

И незнакомых нет.

Всё из людей...

Уходим многоточием...

В красивую тишину падают лекарства, телефонные книжки, блокноты, подарки, поздравления.

Всё не нужно.

Все опоздали.

* * *

Я заболел.

И увидел.

Сад. Дом. Траву.

Птиц смешных.

На тоненьких, тоненьких ножках.

Ножки – чёрточки.

Как они держатся на таких чёрточках?

Хотя, чтоб лететь, ножки должны быть очень лёгкими.

Они же для полёта, не для ходьбы.

У летающих – крепкие крылышки.

У бегущих – крепкие ножки.

У хищных – бесшумные лапки.

Наш кот в маленькой пасти приволок ящерицу
гостям.

Глаза вниз. Из маленькой пасти маленькое рычание.
Страшен для всех, кто меньше его!

Ужас!

Надо было заболеть, чтоб это увидеть.

Когда был здоров – не видел, это просто было моим.
Заболел – это увидел.

Митя

Всегда ходи под Богом.

Всегда с ним соглашайся.

Иметь его – значит иметь совесть.

Это единственное условие, чтобы делать, что хочешь.

Отныне ты взрослый.

Пока мы с мамой стоим перед тобой и вечностью.

Но с сегодняшнего дня ты готов встать на наше место.

Имей совесть и делай, что хочешь.

* * *

Я сплю свои полночи.

Я люблю свои полночи.

Я один в это время.

Я без боли в это время.

Мне ничего не нужно в это время.

Это счастливые полночи.

Никто не отвлекает меня от меня в это время.

Никто не кормит каплями, таблетками.
Я хозяин себе.
И боль отползает и позволяет руководить собой.
Но не позволяет устранить себя.
Я снова ребенок.
Сосочки, бутылочки, капельки.
Наташа стала моей мамой.
Унитаз подставляет свою челюсть, и я снова наполняю её.
– Не трогай эту бутылочку. Это твоё утро. Эти таблетки твой полдень. Эти три капсулы твой вечер.
Так я определяю время суток по чашечке с таблетками.
Так распределяет мою ночь Наташа.
Я теперь пишу ночами.
Принял и пишу, пока не слабеет рука и не закрываются глаза.
И мне на каждой бутылочке чудится надпись – «Наташа» 30 капель, полторы таблетки «Наташа», чтоб уснуть.
Я прошу прощения.
Я засыпаю.
Просыпаюсь в три часа!
Полдень или полночь?
Выключил свет – темнота. Значит полночь.

Публикация Натальи Жванецкой



Юрий Михайлик

«ЭТО ЖИЗНЬ ТВОЯ ВДОГОНКУ ПЛЫВЕТ»

* * *

Все уляжется. И улеглось.
Все уляжется – вот и слежалось.
Там и острая юная злость,
и последняя нежная жалость.
Из безвременья, издалека –
отделяя порядок разгромом,
по оврагам считая века
и эпохи по горным разломам.

Угадай, ощути, улови
недоступную глазу границу.
Может, только строка о любви
в этих толщах могла сохраниться.
Стратиграфия новых времен –
легкой дымкой по краю вулкана.
«Ты сказала – и этот влюблен».
И опять раскололась Гондвана.

Из глубин, в обезумевшей мгле,
в восходящем бесчинстве азарта
потекли по горячей земле
раскаленные строки базальта.
Над неспешной, над тусклой Невой
угляди шутовским телескопом,

где схлестнутся пожар мировой
с регулярным вселенским потопом.

И уже не на нашем веку –
при глубинном турбинном буренье
вдруг сломается бур о строку
неизвестного стихотворенья...
Нежный гений, колдун, драматург
красной клюквой облитого войска,
все быстрее, все бешеней круг.
Все уляжется. Ты успокойся.

* * *

Выше горной ограды, выше крашенных облаков
движутся длинные гряды не прочтенных еще стихов,
еще не уложенных в школы, не премированных нигде,
на молоке – глаголы, прилагательные – на воде,
их теченья полны свеченья, и значенья их неважны,
их таинственное назначение упрятано в глубь волны,
не пенной, нет, не мгновенной, не поглаживающей острова,
а той, что обходит Вселенную, покуда она жива.
Удаленное бормотание, обломки света и тьмы...
А время и расстояние – потом придумали мы.
Высоко слоистое чудо, животворное, как вода.
Спроси у него – откуда, зачем оно и куда?
Нейтринные излучения, пролетающие насквозь,
звучания и значения, возникающие вдруг и врозь,
лучик, прямой и узенький, входит в тебя, как игла,
и снова – музыка, музыка, выжигающая дотла.
Стихи всегда опадают черт знает с какой дали,
не зная, что их ожидает в кузнечных огнях земли.
Стихи еще бредят, брезжат в шуршащих крыльях веков.
А плохих в небесах не держат. Там не любят плохих стихов.

* * *

Над камнем, унылым и голым,
как орден забвенья – репей.
Куда подевались монголы,
властители этих степей?
От Венгрии вплоть до Китая
лежала, грозна и горда,
где Синяя, где Золотая,
где – красок не хватит – Орда.
Топтала, гнала, убивала,
пожаром и кровью слепя,
и вот ее как не бывало –
сама провалилась в себя.
Империи злобы и страха
и в прошлых, и в нынешних днях
кончаются крахом и прахом,
репьями на голых камнях.
Историки будущей школы
обсудят в усердье крутом –
куда подевались монголы
и те, что возникли потом.
И вспомнят – уже не по теме –
болота, где, живо едва,
нешумное малое племя
все вяжет свои кружева.

* * *

В провинциальной галактике под названием Млечный Путь,
В ее захолустном, пустом, оторванном рукаве
Есть планета, имя которой вспомни и сразу забудь,
Но зато тут можно бегать босиком по траве.
К моменту Большого Взрыва она опоздала зря,
Но все же успела возникнуть, пускай в последнюю треть.

Кроме нас тут живут озера и большие моря,
Достаточно, чтобы плавать и радоваться
или радоваться и смотреть.
Конечно, нас увлекают морские и игральные карты,
Но любая дорога к успеху опасна и далека.
А лучше всего на этой планете ее закаты –
Не закаты цивилизаций, а просто вечерние облака.
Так что обжились, попривыкли – от полочки и до полочки,
Тишина, бездорожье, безлюдье – даже на Луне ни души.
Быть может, в других галактиках было бы нам получше,
Вот они и восходят над нами по ночам в этой глуши.

* * *

Погляди в свой сон – там твой друг поет под гитарку
за тесным столом,
как уходит в туман торговый флот. По дешевке, в металлолом.

А в соседнем сне – чужие места, старый мост, с которого ты
видишь длинную гавань – она пуста, и глаза темны и пусты.

И в предутреннем сне, где несет норд-вест
сладковатый запах беды,
за столом слишком много свободных мест,
и в морях пропали следы.

Да и в небе, забывшем ушедший флот, там не гуси летят углом,
это жизнь твоя вдогонку плывет – по дешевке, в металлолом.



История, краеведение

- 16 Олег Губарь**
Путеводитель по пушкинской Одессе
- 31 Анатолий Горбатюк**
«Княжна Тараканова» и пр., или О мифах,
преследовавших де Рибаса
- 44 Евгений Деменок**
Братья Крахмальниковы. Двести лет «сладкой»
истории
- 52 Леонид Авербух**
Когда уходят друзья...

Олег Губарь

Путеводитель по пушкинской Одессе*

Генерал Кобле

Томас (Фома Александрович) Кобле (Cobley) родился в 1761 году в Девоне (Англия), фамилия его этимологически связана с названием специфической мореходной «посудины», лодки, из чего можно заключить, что его предки – уроженцы приморского района и как-то связаны с навигацией. Сын английского консула в Ливорно. Кобле – далеко не единственный британец в российской военной службе екатерининских времен: можно вспомнить, скажем, известного путешественника, гидрографа, имя которого также вошло в одесскую летопись, – Джозефа Биллинга, который первым картировал здешнюю гавань. Русское подданство Кобле принял в 1788 году, вступил секунд-майором в Приморский Николаевский гренадерский полк, участвовал в действиях гребного флота под Очаковым, отличился при штурме Измаила, кавалер орденов Св. Анны I класса и Св. Георгия IV класса.

Кобле – не просто одесский старожил, он свидетель рождения города, ибо еще в 1792 году, будучи подполковником, получил за героическое участие в военных кампаниях против Османской империи 12 тысяч десятин земли на левом берегу Тилигульского лимана. На этих землях он разрешил селиться на льготных условиях украинским казакам, беглым крепостным, вскоре сюда переселились земледельцы из Курской губернии. Как и нарождающаяся Одесса, вотчина Кобле становилась «космополитическим Эдемом».

* Продолжение. Начало в кн. 64, 66-83.

Он же получил участок под домостроения в числе самых первых одесситов в августе-сентябре 1794 года непосредственно из рук первостроителей города, де Рибаса и де Волана. Когда-то ему принадлежал обширный комплекс зданий и сооружений с большим садом, ограниченный современными улицами Дворянской, Коблевской, Торговой и Садовой. Впоследствии эта территория постепенно раздробилась на фрагменты, перешедшие в собственность разным лицам.



Портрет Фомы (Томаса) Александровича Кобле.
Художник Карл Рейхель, 1819 г. Из собрания
Одесского художественного музея

Это весь XVIII квартал Греческого форштата – целых 20 мест, № 216-235. В 1794 г. (в 1795-м этот отвод подтвержден) он, тогда еще подполковник, получил лишь два места, № 90–91, в соседнем, VIII квартале,¹ примыкающем к будущей Соборной площади, но не застроил их. 10 июля 1813 г. Кобле подает в Комитет прошение: «На отведенных мне местах, состоящих на Греческом форштате, в XVIII-м квартале под № 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 и 235-м выстроил я на первых четырнадцати номерах дом и другое строение и развел сад. А на последних шести номерах – шесть лавок, по плану, Комитетом утвержденному. Но на спокойное владение не имею открытого листа. Комитета покорнейше прошу на застроенные мною места, состоящие под лавками, № 230, 231, 232, 233, 234 и 235, и домом и другими строениями, под № 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 и 229, выдать мне открытые листы». Тогда же, основываясь на донесении Фраполли об освидетельствовании указанных мест, военному коменданту выдают владельческие документы.² Все бы ничего, но из городских планов 1814-1830 гг.



Дома Кобле (не сохранились) занимали весь квартал от этого угла, Дворянская, № 16, до Садовой улицы. В их тылу был сад, протягивавшийся до нынешней Торговой улицы, по которой находились принадлежавшие Фоме Александровичу торговые лавки. Снимок Натальи Евстратовой, 2019 г.

отчетливо видно, что Кобле фактически застроил лишь места вдоль Дворянской и Торговой улиц, а все остальные участки, № 220-229, были заняты садом. Однако никто, и, прежде всего, ОСК, не предъявлял к нему никаких претензий. То есть Кобле был на особом положении.

На протяжении многих лет Фома Александрович исполнял обязанности военного коменданта Одессы (с 1801 года), был одним из ее фактических устроителей, а с 1803-го лидером «штаба Ришелье», неограниченным доверием которого пользовался. Должность коменданта, учрежденную императором Павлом I (1797), он получил автоматически – как шеф постоянно расквартированного здесь Ладожского пехотного полка. Все, без исключения, городские институции создавались при деятель-

нейшем участии, а то и по инициативе генерал-майора (1799) Кобле. В частности, он был одним из руководителей славного Одесского строительного комитета.

Особая страница его биографии – самоотверженная борьба с чудовищной чумной эпидемией 1811-1812 годов, унесшей жизни 2.656 горожан, то есть каждого девятого-десятого одессита. Это именно Кобле с Дюком, комиссарами, комиссарскими помощниками, медиками входил в зачумленные дома, ободряя граждан Одессы и снабжая их всем необходимым. Это он круглосуточно объезжал внутренние и пограничные карантинные дозоры, при-

нимал участие в устройстве чумных кладбищ, контролировал снабжение оцепленного города и проч.

В самой безнадежной ситуации Кобле не только оставался невозмутимым и деятельным, он умел поднимать настроение, вдохновлять соратников собственным куражом, веселил ближних забавной иноземной песенкой, соленым анекдотом и самой фразеологией и артикуляцией – Фома Александрович говорил по-русски с изумительно трогательным акцентом. Судя по очень теплым воспоминаниям современников (Огюста де Лагарда, Марии Холдернесс и многих других), мужество и веселая абсентеистская бесшабашность сочетались в нем так же, как в характере легендарного каламбуриста – австрийского консула фон Тома. Кобле любил дурачиться, разыгрывать из себя простоватого шотландца. Надо полагать, эта роль была выбрана им не случайно – отношения России с «владычицей морей» оставляли желать лучшего, и англичанин предпочитал иронически камуфлироваться.

С огромною любовью вспоминала «доброе Кобле», «Кобиньку» А.О. Смирнова-Россет. Умилительный англичанин буквально нянчил маленькую Сашеньку, а затем навещал в Санкт-Петербурге юную фрейлину, когда ездил к своей замечательной сестре Генриетте Александровне (1764-1843) – супруге морского министра графа Н.С. Мордвинова. Разумеется, Генриетта всегда оказывала брату разнообразную поддержку, да и в российскую службу он поступил не без ее участия.³ Смирнова пересказывает вполне анекдотическую историю женитьбы самого Кобле.

По каким-то делам он приехал к казацкому полковнику Цветогорову (судя по всему, Смирнова неверно запомнила



А.О. Смирнова-Россет



Графиня Генриетта Александровна Мордвинова,
урожденная Кобле

фамилию. – О. Г.), увидел его дочь «и влюбился, как кошка». Полковник сказал ему: «Черт тебя знает, кто ты такой, и вера-то у тебя не наша». Тогда лихой вояка девушку «увозил, посадил ее перед меня на лошадь». Проскакав таким манером сорок с лишком верст, они обвенчались в первом же встретившемся на дороге православном храме. Невеста все волновалась, что она «неученая, не знает по-английски и книжек не читала». Но жених ее успокоил: «Какой я ученый, я тоже никогда книжки не читал, только наши шотландские песни и сказки об мертвец-

цах». И все это – с уморительной лексикой и таким же акцентом.

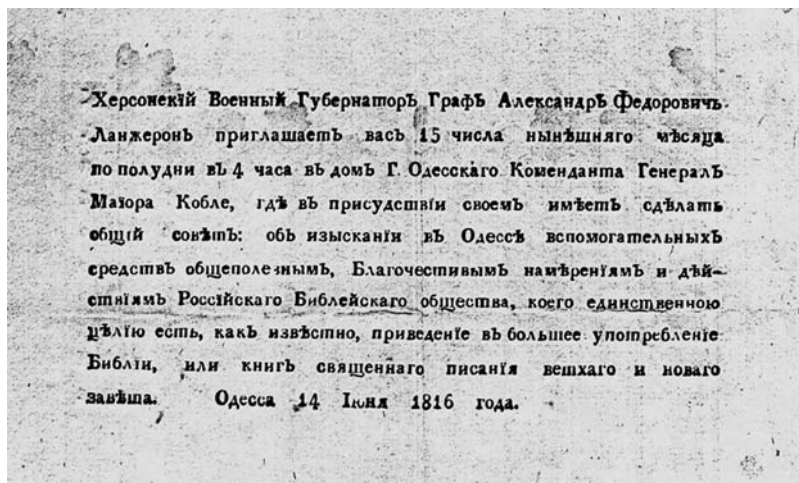
Томас Кобле должен быть поставлен в один ряд с руководителями новороссийского региона уже по той простой причине, что фактически возглавлял администрацию города в 1814-1815 годах, меж Ришелье и Ланжероном, а затем исполнял обязанности градоначальника во время отъездов последнего. Велика его роль и в формировании инфраструктуры Одессы – военно-оборонительной, социально-бытовой, коммерческой, в подготовке революционных портофранковских перемен. В отставку боевой генерал вышел в 1819-м по болезни, умер 13 апреля 1833 года.

Гостеприимный дом его оставался особым социальным местом и после 1815-го. Сохранилось, например, официальное приглашение от имени градоначальника и херсонского военного губернатора графа Ланжерона от 14 июня 1816 года, в котором ряд лиц приглашается на 15-е в дом г-на одесского коменданта генерал-майора Кобле на общий совет по оказанию содействия Российскому библейскому обществу. Впрочем, дом и великолепный обширный сад были доступны далеко не всем, о чем сообща-

ет князь И.М. Долгорукий: «...и у коменданта здешнего есть сад. Я об нем слегка упомянул, но нельзя не повторить, что сад его один из редких в России качеством дерев и вкусом плода. Все превосходное там, но не всякий может в него входить, когда хочет. Потребно дозволение, приглашение, снисхождение и пр. и пр.».⁴

Дома и сад Кобле лежат по соседству с упоминавшимися атрибутированными пушкинскими адресами, но, полагаю, Поэт посещал их не только по этой формальной причине. Весьма общительный генерал был одной из центральных, примечательных фигур тогдашнего одесского общества, они не могли не пересекаться у Воронцова, Гурьева, Казначеева, Кирьякова, фон Тома, Сикара и т. д.

«Имя его (Ф.А. Кобле. – О. Г.), – писал «Одесский вестник», – останется памятным для одесских жителей по тому живому и деятельному участию, которое он принимал в первоначальном учреждении и обзаведении города Одессы как один из первых ее правителей и старожилов (...). Одесские граждане ознаменовали благодарность свою к нему наименованием в честь его одной



Приглашение на заседание Российского библейского общества в доме Кобле от 14 июня 1816 г.
Из собрания Виктора Корченова

из здешних улиц Коблевскою. Неизменное радушие и постоянная веселость характера были отличительными чертами его жизни: он был истинно любим всеми его окружающими...» На погребении была и депутация Ладожского пехотного полка, шефом которого состоял генерал Кобле.⁵

Из контекста некролога может, как будто бы, вычитываться, что, мол, название Коблевская появилось как раз в связи с кончиной заслуженного генерала, патриота Одессы. Но это не так. Коблевскою улица именовалась еще при жизни Фомы Александровича – она упоминается в газетных объявлениях и других документах, по крайней мере, в конце 1820-х годов, а по другим источникам – лет на десять раньше. Другими словами, это название должно типизироваться как истинно народное. И я рад, что приложил в свое время руку к возвращению сего наименования старинной одесской улице через историко-топонимическую комиссию горсовета.

В некрологе указано, что, «согласно последнему желанию покойного», похоронен был наш герой в своем имении Коблевке, в 44 верстах от Одессы (из почтового дорожника следует, что расстояние было 46 верст), куда проследовала немалая похоронная процессия, включавшая представителей Ладожского пехотного полка. Создается впечатление, что речь идет не о Коблево, а об Анатольевке, выше по левобережью Тилигульского лимана, которую чаще называли Коблевкой. Специально побывал в Анатольевке, пообщался с тамошними краеведами, старожилами, провел рекогносцировку; обнаружили архаические постройки и руины из «дикаря», фрагмент старого Казанского храма (1856); старое кладбище распаханно под парк весной 1976 года. Чтобы проверить основательность моего предположения, обратился за консультациями к Сергею Решетову и Виктору Михальченко, сообщившим дополнительную информацию, касающуюся истории Коблево и Анатольевки, в частности, тамошних храмов и эволюции самих сел в XIX веке.

На первых этапах своего существования Анатольевка была менее значимой, нежели Троицкое, своего храма долго не имела, ее жители были прихожанами неблизкой Троицкой церкви, где и совершались требы. Затем она разрасталась, в третьей четверти



Архаичные постройки в Анатольевке. Снимки Натальи Евстратовой, 2018 г.

XIX столетия стала крупнее Троицкого и обзавелась собственным храмом. В глаза бросается историко-топонимическая чехарда: Коблево одновременно именуется Троицким, Большим Коблево, Коблевкой и Тилигулом, а Анатольевка – Малым Коблево, Малой Коблевкой, Коблевкой. Немудрено заблудиться. Как мы сейчас увидим, именно в Коблево (Троицком) Кобле обустроивался, возводил усадьбу, содержал почтовую станцию. Кроме того, он инициировал и финансировал первичное устройство временной Троицкой церкви, то есть молитвенного дома (1805), а затем и постройку полноценного каменного храма во имя Святой Троицы (1815). Гораздо ранее генерал-поручик князь Григорий Семенович Волконский, поселившийся тут «не более сорока семейств», просил дозволения о построении Троицкой церкви на отведенной по высочайшему соизволению земле, однако тогда архипастырского благословления на сооружение еще не последовало.

Роберт Лайелл (Лайялл), побывавший тут в 1822-м, свидетельствует: «Ближайшая (от небольшого особняка Кобле. – **О. Г.**) почтовая станция имеет разные названия, что может сбить с толку иностранца. Одно ее название – Тилигул, по имени лимана и вытекающей из него реки. Второе – Троицкое (Троица), в честь церкви. Однако чаще прочих употребляется неофициальное – Кобле, в честь генерала».⁶

Очень любопытно и информативно описание этой вотчины князем И. М. Долгоруким, относящееся к лету 1810-го. Князь прибыл туда из Очакова. Восторга, мягко говоря, не испытал, но – как есть:

«Отъехав 70 верст, обедали в поместье г. Коб. (Кобле. – **О. Г.**), одесского коменданта. У него тут сарай с колоннами (явно стандартный магазин в классическом стиле. – **О. Г.**) и большая изба для проезжих; дом господский еще строится. Обыватели живут в каменных избах: они без полов и вообще все крыты соломой. Не воображайте, что под названием каменных изб я разумел кирпичное строение, или из тесаного камня: совсем нет; избы выкладываются из дикого камня, который кое-как ставится слоями и дает стену неровную, похожую на то, что искусственно делается в богатых садах для изображения руин: вот здешнее строение! Наружные фасады все представляют вид изрядный, но внутри

страшная нечистота и неопрятность отвратительная. Положим, что им негде взять лесу, хотя и это подвержено спору; ибо лес около Одессы дорог, но есть: Днепр его доставляет; согласимся, однако, на этот недостаток; но что извинить может нечистоту их жил? Это вывеска одной лени их, и жители не столько от нужды, как от нее, терпят лишение всего, кроме хлеба и скота: того и другого нигде, как здесь. Избы белят от привычки, а не от щегольства.

Комендант сам содержит здесь для проезжих почтовых лошадей, и от того трудно их добиться. Нельзя не сделать ему укоризны и в том, что нимало не подумал о спокойстве путешественника и не доставил ему ничего приятного при роздыхе в его поместье, тогда как, без сомнения, по многим очевидным признакам можно заключить, что весь батальон его помогал ему в отделке его деревни». ⁷

Любопытно, что эти самые «неопрятные» местные крестьяне под эгидой своего хозяина впервые настолько успешно боролись с нашествиями саранчи, что их победительный опыт обсуждался в Сенате! Имение это перешло к сыну Фомы Александровича, Аполлону (родился в 1811 году, учился в Ришельевском лицее, а в 1830-м окончил Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге, служил в лейб-гвардии Драгунском полку), отставному лейб-гвардии поручику и кавалеру, предводителю одесского уездного дворянства, чрезвычайно удачливому лошадинику и картежнику. В переписке градоначальника А.И. Лёвшина с М.С. Воронцовым упоминается о том, что Аполлон проиграл в карты (на рубеже 1838–1839 гг.) один из больших отцовских домов в Одессе другому известному азартному игроку – полицмейстеру А.А. Шостаку, причем общественные симпатии в этом случае оказались как раз на стороне последнего. ⁸ К слову, должность предводителя дворянства всегда предполагала немалые расходы.

А.Ф. Кобле скончался в Одессе 28 июня 1843 года от чахотки. Дочь Томаса Кобле, Клавдия Фоминична (1801-1844), 7 февраля 1825 года вышла замуж за маркиза Ф.О. Паулуччи – губернатора Эстляндии, а затем – Курляндии и Лифляндии. Клавдия и унаследовала интересующее нас отцовское имение после кончины брата, но через год и сама ушла из жизни. От брака с Паулуччи у нее

родился сын Александр-Николай Филиппович (1840-1893). Внук – Виктор Александрович Паулуччи (1873-1920).

По данным британских источников, сообщенных генеалогом С.Г. Решетовым, у Кобле был третий ребенок, дочь Людовика – младше Клавдии (Claudine) и старше Аполлона. Поскольку никакой другой информации о ней нет, всего вероятнее, что умерла она в младенчестве или в детстве. Согласно этим же источникам, фамилия супруги генерала Кобле вовсе не Цветогорова, а *Tiplotoff* (Теплотова? Теплова?).

«Коблевка, имение генерала Кобле, англичанина, тогда коменданта Одессы» упоминается в книге Мэри Холдернесс, изданной в Лондоне в 1823 году (описываются события 1820 года). «Первый день нашего путешествия, – пишет она, – привел нас в Коблевку, деревню генерала Кобле, где его управляющий получил приказ принять и развлечь нас. Мы провели там один день и две ночи, увидели стада испанских овец и табуны лошадей по соседству. Владельцы здешних имений держат многочисленные отары овец и стада рогатого скота на своей земле – это самый легкий и выгодный способ их использовать».⁹ «Господский дом», как мы видели выше, в 1811 году еще только возводился, то есть ко времени визита Мэри в мае 1820-го был новостройкой, и тем не менее не привлек ее внимания.

Упомянувшийся Лайелл двумя годами позднее уточняет: «От почтовой станции до не-большого особняка генерала Кобле на берегу озера приблизительно полверсты. Дом, окруженный садом и деревьями, с примыкающей к нему церковью, очень оживлял пустынную местность. Генерал Кобле давно состоит на русской службе, но теперь, приобретя собственность, он проводит свое время или здесь, или в Одессе. Нам сказали, что он имеет необычный характер и говорит на многих языках, но ни на одном из них хорошо».¹⁰

В Коблево тогда не было другой церкви, кроме Троицкой, которая сохранилась до сих пор, функционировала в качестве сельского клуба, немного перестроена, а затем была восстановлена в качестве культового сооружения. Следовательно, особняк генерала находился рядом, приблизительно на месте современных пятиэтажек. О каком озере здесь говорится? О Тилигульском лимане,



Место цвинтаря за Троицкой церковью, где, очевидно, были погребены Кобле, его супруга, дочь и сын. Снимок Натальи Евстратовой, май 2018 г.



Троицкая церковь в селе Коблево. Снимок Алексея Евстратова, май 2018 г.



Старинные надмогильные кресты мальтийского типа на кладбище села Коблево.
Снимки Натальи Евстратовой, май 2018 г.

который в ту пору ближе подступал к селу, занимая нынешние низины. Сейчас церковь расположена примерно в 250 метрах по прямой от трассы, однако по старым картам отчетливо видно, что в первой половине позапрошлого века почтовый тракт пролегал правее, поскольку физически не мог проходить по затопленным низинам. Ландшафт антропогенно изменен, геоморфология теперь несколько иная.

Дорога вдоль лимана проходит по насыпной дамбе (тоже старой, однако сооруженной гораздо позднее занимающего нас периода), отрезая его нижнюю часть, а прежний почтовый тракт пролегал значительно мористее, в направлении Карабуша, но, не доходя до него, круто поворачивал к Коблево. То есть, во-первых, раньше лиман примыкал непосредственно к селу, во-вторых, почтовый маршрут от Одессы имел несколько иную траекторию, в-третьих, церковь и дом Кобле находились слева от дороги из Одессы на Николаев, над лиманом. Судя по карте 1806 года, устроенный Кобле почтовый двор находился справа от тракта.

Соседство особняка и храма, возведенного при активном участии и на средства самого Кобле, навеивает мысль о том, что где-то здесь он и погребен. Об этом свидетельствует и опрос старожилов, многочисленных обитателей примыкающих к церкви домов, уверяющих, что рядом с храмом находилось старинное кладбище. Костяки погребенных, в частности, обнаружались в ходе строительства ближайшей к церкви пятиэтажки. Речь, надо полагать, идет о так называемом цвинтаре при храме, где обычно хоронили лиц из состава причта и ктиторов. Тут наверняка и были погребены Кобле, его супруга, младшая дочь и сын. Все соответствует описанию Лайелла: небольшой особняк Кобле действительно находился над озером (лиманом), за Троицкой церковью; теперь на его месте другая пятиэтажка. Цвинтар примыкал к тыльной стороне храма, как это бывало повсеместно.

Что касается старинного сельского погоста, то он расположен примерно в километре от Троицкой церкви, близ нового храма Святого Духа. Здесь сохранилось несколько типичных могильных крестов первой половины XIX столетия из местного известняка, в том числе мальтийского типа (приписываемая им экзотическая семантика не имеет под собой ровно никаких оснований: просто-напросто такой крест экономичен, требовал минимальных затрат труда каменотеса), некоторые – с читаемыми надписями. Такие кресты по произволу называют казацкими, хотя под ними покоились и греческие купцы, и польские шляхтичи, и российские чиновники, и переселенцы из Румелии и др. Подобные надгробья распространены по всему Причерноморью, где имеются выходы на поверхность понтического известняка, их тесали на протяжении многих десятилетий и использовали в огромном числе больших и малых населенных пунктов, включая Одессу. В старой части некрополя обнаружилось всхолмление с остатками отдельных камней и кладок, указывающее на возможное нахождение тут склепа или часовни. Однако надежная атрибуция требует специальных исследовательской и охранной работы.

Сопоставление всех имеющихся данных убедительно свидетельствует в пользу того, что Кобле и ряд его домашних погребены не в Анатольевке, как предполагалось ранее, а именно в Коблево.

Примечания

- ¹ Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса, 1853, с. 593.
- ² ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 266, л. 27; Там же, ф. 59, оп. 1, д. 75, л. 433, 434.
- ³ Одесса глазами британцев. – Одесса: Optimum, 2012, с. 65.
- ⁴ И.М. Долгорукий. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. – Москва, 1870, с. 154.
- ⁵ Одесский вестник. – 1833, 22 апреля, № 31.
- ⁶ Одесса глазами британцев. – Одесса: Optimum, 2012, с. 171.
- ⁷ И.М. Долгорукий. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. – Москва, 1870, с. 129-130.
- ⁸ Архив князя Воронцова. Т. XXXVIII. – М., 1892, с. 359.
- ⁹ Одесса глазами британцев. – Одесса: Optimum, 2012, с. 67-68.
- ¹⁰ Там же, с. 170-171.

Продолжение следует



Анатолий Горбатюк

«Княжна Тараканова» и пр., или О мифах, преследовавших де Рибаса

Иосифа де Рибаса, главного основателя нашего города, всю его сознательную жизнь, да и после смерти преследовали два, скажем так, весьма навязчивых мифа.

Миф первый – об участии его в похищении и пленении так называемой «княжны Таракановой», знаменитой авантюристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендовавшей на российский престол. По заданию Екатерины с ней вошел в контакт командующий Черноморским флотом и младший брат фаворита императрицы Григория – Алексей Орлов. Прикинувшись влюбленным, он заманил ее на свое судно и арестовал. Затем Тараканова была, как писали, тайно вывезена Орловым в Петербург и помещена в Петропавловскую крепость, где вскоре скончалась от чахотки, так и не назвав своего настоящего имени.

Такова официальная версия, которой скрупулезно придерживался Алексей Орлов, и мы скоро узнаем почему. Но, как бывает в подобных случаях, проявились некоторые



Иосиф де Рибас



Елизавета Петровна

нюансы, и не ознакомить с ними читателя автор просто не имеет права.

Здесь следует рассказать более подробно о той особе, которая упорно называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, чьим отцом был сам Петр I.

Сказать, что самозванка была красива, – значит ничего не сказать, потому что она была ослепительно красива, и не было случая, чтобы мужчина, который входил в ее планы, не оказывался у ее ног. Кроме того, она была прекрасно образованна, знала несколько иностранных языков. А виртуозная игра на арфе...

Ханжи утверждали, и утверждали справедливо, что мадам слишком часто меняет партнеров. Заметим в ее слабое оправдание, что ведение светского, по самому большому счету, образа жизни требовало не только интеллектуальной, но и значительной финансовой поддержки, вот и пользо-

валась обольстительница повышенным вниманием к себе со стороны сильного якобы пола, чтобы на ее банковском счете появлялись все новые и новые свидетельства не ослабного к ней внимания.

В описываемое время (на дворе стоял 1774 год) российская эскадра, которой командовал тридцативосьмилетний Алексей Орлов, находилась в Средиземном море. Нам просто необходимо поближе познакомиться с человеком, на которого возлагалась вся ответственность за проведение будущей тайной операции. Итак, граф Алексей Орлов.

Человек несгибаемой воли и страшной физической силы, он лично лишил жизни самодержца Петра III во время дворцового переворота 1762 года, после чего получил орден Александра Невского и звание секунд-майора Преображенского полка, а также внушительное количество крепостных душ. Столь активное участие в перевороте делало Алексея Григорьевича наиболее подходящей кандидатурой для готовящейся сверхсекретной операции.

Как писали не слишком вдумчивые историки, «Орлов в этом задании проявил все мастерство обольстителя и ловеласа, изобразив пылкую влюбленность и даже предложив княжне руку и сердце. Блестяще справившись с поручением, а именно добившись ареста княжны, граф в тот же год спокойно ушел в отставку».

Да, Алексей Григорьевич был мужланом и презирал светское воспитание. Он действительно поначалу только изображал пылкую влюбленность и, обманывая сам себя, бормотал, стоя перед зеркалом: «Ты еще поваляешься у меня в ногах, вертихвостка, я вдоволь наиграюсь твоими чувствами!..». Однако Орлов после первой же встречи с авантюристкой почувствовал некий душевный дискомфорт. Он понял, что влюблен, что внезапно проснувшаяся страсть поможет, с одной стороны, выполнить поручение императрицы, но с другой... Впрочем, с другой стороны он старался не думать, предвидя, что в результате окажется между двух огней.

Вскоре, однако, лжекняжна с разочарованием почувствовала, что царившая еще вчера всеобщая благосклонность к ней начинает таинственным образом улетучиваться: ей отказывают в кредитовании один за другим несколько банкиров,

и с невероятной реальностью перед ней замаячила перспектива оказаться в долговой тюрьме. И здесь случается настоящее чудо! А как иначе назвать неожиданный визит местного банкира Дженкинга (дело происходит в Пизе), который готов выполнить поручение одного из своих безоговорочно уважаемых клиентов и выдать княжне Таракановой (обойдемся без кавычек) любой (слышите: любой!) необходимый ей кредит? И как не поверить в собственную исключительность, когда банкир называет имя человека, пришедшего к ней на помощь, которым оказывается... командующий русской эскадрой, стоявшей в это время в Ливорно (до Пизы, как говорится, рукой подать), сеньор Орлов! «Княжна» тут же собирает для Алексея Григорьевича пакет, состоявший из ряда фальшивых документов (родословная княжны, завещание императрицы Елизаветы и пр.), а также личного, очень теплого благодарственного послания Орлову. Состоявшаяся вскоре встреча буквально полыхавшего любовью Алексея Орлова и прожженной авантюристки завершилась выдающейся постельной сценой, после которой Орлов не оставляет свою возлюбленную ни на час, демонстрируя с удивительной находчивостью расточительность, свойственную, очевидно, только загулявшей русской натуре. При этом Орлов готов, по его словам, на все – вплоть до прямой измены императрице Екатерине II, чтобы встать с подвластной ему эскадрой под знамена самозванки. А поверила ли последняя этим пламенным речам Орлова? Представьте себе, поверила! Во-первых, потому что очень хотела поверить, а во-вторых, потому что убедила себя: она встретила такого же отъявленного авантюриста, каким являлась сама. Но самым главным, решающим фактором была непоколебимая вера «княжны» в свою счастливую звезду.

Влюбленная пара всюду появляется с эскортом русских офицеров, а когда они заходят в ложу городского театра, весь зал в восторге встает. Это тешит самосознание «будущей императрицы».

Наша героиня, обласканная всяческими знаками внимания и буквально засыпаемая дорожущими подарками, постепенно, шаг за шагом, теряет бдительность. Теряет настолько, что принимает предложение своего обожателя посетить флагманское судно русской эскадры, которая должна выйти в открытое море

на маневры. Вот и наступил самый главный момент тщательно продуманного головокружительного сценария: именно тогда, когда под оглушительные крики матросов «Ура!» очаровательная ножка коснулась палубы российского флагмана, тогда и захлопнулась бесшумно западня, движение из которой предусматривалось лишь в одном направлении.

Алексей Григорьевич на минуту отлучится, чтобы распорядиться по какому-то важному делу – и всё! Больше они никогда не встретятся. Ничего пока не понимающую гостью мгновенно окружают молчаливые

вооруженные люди и определяют в каюту со стражей и врачом, а судно возьмет курс на Санкт-Петербург. В каюте пленнице вручат от последнего ее возлюбленного письмо, в котором он расскажет об измене, о том, что сам находится под арестом, и просит княжну простить его за то, что их любовь подверглась этому чудовищному испытанию. Таким хитроумным образом Алексей Орлов решил выйти из игры: он не мог заставить себя встретиться еще хоть разок с жертвой, в которую был уже безнадежно влюблен.

Тут же граф Алексей Григорьевич садится за письмо к Екатерине II. В письме он очень подробно (конечно, избегая скабрёзностей) рассказывает, как вошел в доверие к самозванке, для чего сам *притворился влюбленным*, но никаких подробностей от «злодейки» так и не услышал, так что не может ничего добавить о том, кто ее продвигает, и вообще, кто она такая. А самое важное (для себя) граф пишет в конце письма: опасаясь мести сторонников самозванки, он, выполнивший задание императрицы, передает командование эскадрой одному из адмиралов, а сам отправляется в Россию по суше.



Граф Алексей Григорьевич Орлов

А судно с пленницей на борту следовало в Санкт-Петербург. Каким-то непонятным образом слух о коварном пленении «царственной особы» быстро распространился по портам Средиземноморья, из-за чего в каждом из них, куда заходило судно с пленницей, возникали стихийные демонстрации и даже слабые попытки освободить «злодейку». Вот эти-то волнения и раскрыли наконец ей глаза на все происходящее, она поняла, что была жестоко обманута и предана, но все ее попытки выброситься за борт или нанести себе тяжелые увечья пресекались командой судна и постоянно находящимся рядом врачом.

По прибытию судна в Санкт-Петербург пленница со всеми мерами предосторожности была тайно доставлена в один из рavelинов Петропавловской крепости. Вести следствие по делу государственной преступницы и самозванки императрица поручила генерал-фельдмаршалу Александру Михайловичу Голицыну, генерал-губернатору Санкт-Петербурга, особо отличившемуся в ходе Семилетней войны и войны с турками.

Повторимся: следствие будет вести непосредственно генерал-фельдмаршал, но главным, негласным следователем по делу самозванки будет сама императрица.

Александр Михайлович Голицын, опытный служака, отнесся к предстоящему следствию со всей необходимой серьезностью: шутка ли сказать – сама матушка-императрица поручает именно ему, Голицыну, это дело государевой важности! В то весеннее утро, когда Голицын впервые шагнул в камеру, где содержалась «злодейка», он предполагал увидеть перед собой...

Что бы ни предполагал увидеть доблестный служака, но то, что предстало перед его взором, чуть полностью не выбило его из колеи, которую он добросовестно создавал в своем воображении в период подготовки к следствию.

Он увидел обворожительное женское лицо, еще более украшаемое легкой доброжелательной улыбкой, а та небрежная аристократическая непосредственность, с которой заключенная раскланялась с Александром Михайловичем, красноречиво говорила о том, что эта красивейшая женщина находится в полном неведении того, что ей предстоит пережить. А генерал-фельдмаршал оказался таким же представителем хваленного сильного пола, как и десятки

прежде встречавшихся на пути знатной авантюристки, иными словами, и он был сражен красотой и манерами подследственной.

Впрочем, одна ужасная деталь буквально бросилась в глаза генералу и заставила его даже с некоторой жалостью посмотреть на сидящую перед ним женщину. Деталь эта – багровый румянец во всю щеку – был хорошо знаком ему, он часто видел такой румянец у своих солдат, и его обладатели быстро выходили из строя, не доживая не только до начала следующей операции, но и до начала очередного сражения.

«Скоротечная чахотка, – сказал себе Голицын, раскладывая бумаги на столике, – нужно торопиться: с таким диагнозом долго не прожить...»

Разочарование постигло следствие с самого начала: узница Петропавловской крепости, давая показания, демонстрировала, как казалось, самую искренность: оказывается, она сама с нетерпением ожидала начала следствия, чтобы выяснить, наконец, кто же она такая, кто ее родители. Иными словами, ее интересовали ответы на те же вопросы, что и следствие!

Говорила узница естественно, искренне, глаза не отводила. Все это не могло не отразиться в отчете первого допроса, который представил Голицын и которого с таким нетерпением ожидала Екатерина II. Последняя не могла скрыть полного разочарования.

– Ты мне, батенька мой, не протокол допроса государевой преступницы предоставил, а какое-то водевильное сказание. Еще раз тебе говорю: допрашивай преступницу со всей строгостью! Не поможет – введи ограничения на первых порах в содержании. И это не поможет – усиль меры воздействия.

К следующему допросу ввели ограничения в содержание заключенной: сократили по времени прогулки по тюремному двору, убрали камеристку. Потом сняли с довольствия в офицерской столовой и стали кормить грубой солдатской пищей – никакого результата, заключенная будто и не ощущала каких-то мер воздействия.

Александр Михайлович понимал, что так долго продолжаться не может, что у императрицы вот-вот лопнет терпение, и последует приказ применить меры чрезвычайные! А вот этого – применения чрезвычайных мер при допросе – боевой генерал боялся более всего, потому что и на миг не мог себе представить, что этого

нежного прекрасного тела коснется отвратительная рука палача, а как работают палачи Петропавловской крепости, Александр Михайлович знал отлично: и не у таких, как это очаровательное существо, мгновенно развязывался язык, да бывало уже поздно, хрупкие человеческие кости подобных нагрузок не выдерживали.

А пока следствие идет своим чередом, и через некоторое время на допросе подследственная неожиданно всплеснет руками и очень искренне произнесет:

– Да если бы я замышляла что-то против императрицы, разве б я позволила себе взойти на судно?!

Тогда же она «вспоминает», как однажды в Пизе к ней подошла незнакомка, чье лицо скрывала густая вуаль, и передала ей пакет, в котором находились «завещание» императрицы Елизаветы Петровны, прочие «документы», а также запечатанное письмо, адресованное Алексею Орлову.

– И я подумала, – в задумчивости произнесла она, – может быть, это и есть мой счастливый случай – узнать у такого знатного человека, каковым является Орлов, кто же я все-таки такая.

Как видим, следствие упирается в глухую стену, и генерал-фельдмаршал с ужасом ждет приказа о применении чрезвычайных мер воздействия на узницу. А тут – новое обстоятельство: заключенная настоятельно требует встречи с самой... императрицей, мол, она хочет сообщить нечто чрезвычайно важное.

Услышав о наглом требовании этой «авантюреллы», вместо того чтобы воспользоваться возможностью получить какие-нибудь новые сведения, Екатерина II устраивает Голицыну страшный скандал:

– Распустили вы, батенька, эту побродяжку до крайности! Ишь чего надумала – императрицу ей подавай для беседы...

И от встречи со лжекняжной отказывается категорически. Более того, совершенно неожиданно предлагает Александру Михайловичу сделать «побродяжке» предложение, от которого та не сможет отказаться: если авантюристка напишет признание в самозванстве, она будет немедленно освобождена!

Голицын ушам своим не верит: когда уже, казалось бы, дыбы не избежать, императрица проявляет вдруг такую неожиданную, совершенно не свойственную ей мягкость! Едва дождавшись

утра, он направляется на очередной допрос, делает известное нам предложение, причем подчеркивает (так хотела императрица), что предложение исходит не от Екатерины, а от него, генерал-фельдмаршала Голицына.

Сделаем небольшую паузу и сосредоточимся, чтобы не упасть со стула, на котором сидим: «авантюрелла», эта жалкая «побродяжка», не моргнув глазом, отказывается принять предложение! Очевидно, она очень хорошо понимает, сколько ей остается еще прожить, и решает поменять предложенную ей свободу на свидание с императрицей, на котором она продолжает настаивать...

Совершенно опустошенный, растерянный Голицын срочно составляет отчет о последнем допросе, ожидая самого худшего, как вдруг получает беспрецедентное указание императрицы: следствие прекратить, заключенную более не беспокоить.

Совершенно очевидно, что старый служака, как и мы, идущие сегодня по следам дознания, ничего не понимает, но с внутренней радостью воспринимает решение Екатерины.

Проходит некоторое время, и Александр Михайлович докладывает императрице, что самозванка совсем плоха, и просит прислать к ней священника. «Священника или пастора?» – переспросит Екатерина и услышит в ответ: «Священника!». У императрицы поднимается настроение: появляется новый шанс, хоть и призрачный, что-то выведать у интриганки, а потому она лично занимается кандидатурой священника и через какое-то время останавливается на отце Петре Андрееве. Прежде чем запустить его в камеру, где содержится лжекняжна, его инструктирует лично императрица. Более того, он подписывает обязательство «под страхом потери живота» нигде и никогда не разгласить эту страшную тайну, а все сказанное умирающей исправно запротоколировать и доложить императрице. Отец Петр дважды посетит пленницу, но, как и следовало ожидать, ничего нового та не сказала, и немудрено: разве же она не понимала, что принимавший у нее покаяние есть не кто иной, как последний следователь по ее делу... Невольница продолжала утверждать, что не знает своих родителей. Единственное, в чем покаялась, это то, что жила она в духовной нечистоте и имела большое количество любовных связей, за что просила у Создателя прощения.

Как отмечал отец Петр, на второй день он уже почти не слышал совершенно ослабшего голоса покаявшейся. На следующий день ее не стало. Ночью, не зажигая огня, тело интриганки было предано земле в Петропавловской крепости без всяких следов захоронения, даже могильный холмик не оставили.

А что же главный исполнитель царской интриги – граф Алексей Григорьевич? К всеобщему изумлению, граф уходит в полную отставку, и никакие политические события его больше не коснутся. Он въедет в свой великолепный дворец в Москве и оттуда будет предаваться истинно русским забавам – наблюдением за бегом рысаков, кулачными боями, в которых сам примет активное участие. Рассказывали очевидцы, что, когда мощная фигура графа ввинчивалась в толпу, народ в ужасе разбежался, потому что знал нечеловеческую силу Алексея Григорьевича. А еще граф страстно любил голубей, и в Москве еще долгое время после смерти графа содержались его богатые голубятни.

Вот этими развлечениями, а также запойными пирами пытался заглушить граф Орлов буквально звериную свою тоску по плененной им лжекняжне.

А что же императрица Екатерина II, сумела ли она побороть в себе так долго не отпускавшую ее тревогу, связанную с так и не раскрытой тайной, которую унесла с собой самозванка? А вот судите сами.

Когда прошло какое-то время с момента описываемых событий, граф Алексей Григорьевич Орлов решил однажды выбраться в Санкт-Петербург и даже попросил аудиенции у императрицы. Екатерина с радостью согласилась принять графа и встретила его как близко-



«Княжна Тараканова». Художник К. Флавицкий

го ей человека. А граф, в свою очередь, почувствовал такую теплоту в отношениях к нему государыни, что даже осмелился спросить, что удалось той выведать у самозванки. Он даже не успел закончить вопрос, потому что был остановлен изумленным взглядом собеседницы, в котором явственно читалось: «Ты это о чем?». Читалось так явственно, что Алексей Григорьевич, пробормотав: «Неужели запомновала, матушка?» – быстренько перевел разговор на другую тему.

«Ну и при чем здесь де Рибас?» – вправе спросить наш терпеливый читатель. Но мы и сами понимаем, что настало время поведать читателю о том, как недостойные недоброжелатели связали историю пленения самозванки с именем нашего главного основателя. Был пущен слух, что де Рибас был одним из активнейших участников событий на флагмане российской эскадры в Средиземном море, что он якобы был организатором фейковой свадьбы графа со лжекнягиней, где выступил в качестве посаженного отца.

Однако де Рибас никак не мог принять участия в этом похищении! Операция по аресту и вывозу «княжны» в Россию началась в мае 1774 года и закончилась ровно через год, когда эскадра, на борту одного из судов которой находилась плененная авантюристка, прибыла в Санкт-Петербург. Де Рибас же в этот период сражался под Козлинцем и у Ени-Базара, после чего была служба в Петербурге, в Шляхетском корпусе. Кроме того, в отчете Екатерине о выполненной операции по похищению Алексей Орлов подробно перечисляет действия каждого из ее участников, и имя де Рибаса здесь вообще не упоминается – это ли не достаточное доказательство его неучастия в захвате самозванки?

Но это не все. Такое серьезное научное издание, как знаменитый «Русский биографический словарь», вышедший в конце XIX столетия, подробнейшим образом излагая биографию де Рибаса, также ни слова не говорит о его участии в обсуждаемом событии. Теперь достаточно доказательств? Но и это не все. Если читатель обратится к труду польского историка К. Валишевского «Вокруг трона» (издательство «Сфинкс», Москва, 1911), он обнаружит там детальное

изложение всех событий, связанных с «княжной», и – опять же – ни слова о де Рибасе! Теперь, кажется, доказательств недостаточно.

Но и это тоже еще не все! Интересен неординарный взгляд на те давние события лица, так сказать, «заинтересованного» – автора фундаментального изыскания «Род де Рибас и Сабир» Сергея Сергеевича Положенского: «Доказательства заставляют нас не без сожаления склониться к принятию версии о неучастии Рибаса (в пленении Таракановой. – А. Г.). Не без сожаления – потому что мы решительно не находим ничего низкого и предосудительного в поведении де Рибаса в случае его участия, а наоборот, гордились бы предком, совершившим такое дело: осуществление честолюбивых планов Таракановой потрясло бы государство не меньше, чем смута начала XVII века... Очень жаль, что приходится это дело из его биографии исключить».

В середине 1990-х вашему автору посчастливилось познакомиться с потомками Иосифа Иосифовича Сабира, внебрачного сына де Рибаса, которого родила Екатерина II, оказавшимися в Одессе перед отъездом на ПМЖ в Израиль. Они подарили мне копию рукописи С.С. Положенского, с которым состояли... в родственных отношениях! А Сергей Сергеевич служил помощником настоятеля кафедрального Воскресенского собора в Берлине и скончался в возрасте 94 лет в мае 1992 года в Берлине.

Странно все-таки, что на фальшивку об участии де Рибаса в пленении лжекняжны клюнули некоторые писатели, среди которых были и достаточно известные, например Г.П. Данилевский, позволивший себе описать де Рибаса самым недостойным образом. Оставим это на их совести.

Миф второй. Иосиф де Рибас – мздоимец и вор, неоднократно запуская алчные руки в казну. Более всех распространяется на эту тему граф Растопчин. Вот что он говорит, выступая в Сенате: «Никогда еще преступление не поднимало головы так высоко. Безнаказанность и дерзость достигли апогея... То, что крадет один только Рибас, превышает 500.000 рублей в год. Он добился утверждения проекта сооружения порта...

в Хаджибее, прозванном Одессой». Ваш покорный слуга (он же – автор данного очерка) с некоторым опозданием (как легко догадаться, не по его вине) выступил с репликой по поводу приведенного скандального выступления графа Раstopчина: «Это говорилось в июле 1796 года. Но, как уже упоминалось, в 1794 году на строительство порта было потрачено менее 40 тыс. рублей, в 1795 году – около 88 тыс. рублей, то есть всего около 128 тыс. рублей. Может быть, кто-нибудь подскажет, как из 128 тысяч можно украсть 500, а «на остальные» еще и построить кое-что?». Реплика и сегодня, считаю, звучит вполне убедительно. Жаль только, что выступивший с поклепом граф не смог ее прочитать.



Екатерина Великая



Евгений Деменок

Братья Крахмальниковы. Двести лет «сладкой» истории

Совпадения – верный знак того, что providение хочет на что-то обратить ваше внимание.

Почти одновременно я познакомился во Всемирном клубе одесситов с приехавшим из Италии Альберто Крахмальниковым, одним из потомков династии легендарных одесских кондитеров, и получил письмо от редактора пражского журнала «Русское слово» Марины Добушевой, в котором она рассказала о том, что нашла в Карловых Варах кондитерскую «Братья Крахмальниковы», открытую другим потомком Крахмальниковых, Григорием Фатеевым.

Стало понятным, что нужно делать интервью. Ехать в Карловы Вары и пробовать сладости, сделанные по семейным рецептам. Но перед этим следовало подготовиться и узнать побольше о семье, построившей фабрику, торты и конфеты производства которой любили минимум пять поколений одесситов – несмотря на неоднократную смену владельцев и названия.

Согласно семейной легенде, первые Крахмальниковы появились в Одессе в 1820 году. Именно тогда Абрам Вольфович, «одесского хлебопекарского цеха мастер», открыл на углу Малой Арнаутской улицы и Резничного переулкa пекарню, а в ней основал пряничное производство. Судя по тому, что ему удавалось прокормить семью, в которой подрастало восемь сыновей, его изделия пользовались спросом.

С сыновьями Абраму Вольфовичу повезло. Двое из них – Лев (родился 4 июня 1864 года) и Яков (родился 10 апреля 1860 года) – развили и подняли отцовский бизнес до головокружительных

высот. И это несмотря на то, что конкуренция в четвертом городе Российской империи была чрезвычайно высокой. В Одессе славились конфеты, пирожные, восточные сладости от Амбарзаки, Амбатьелло, Бонифаци, Либмана, Абрикосова. Их производством и продажей занимались пекарни, кафе-кондитерские, рестораны... А Крахмальниковы открыли сразу фабричное производство – «Одесскую паровую конфектную и пряничную фабрику». Произошло это в 1893 году, и располагалась она на углу улиц Глухой и Госпитальной, в их собственном доме. Яков, купец первой гильдии, был директором, заведовал техническим отделом и всеми производствами. Лев, купец второй гильдии, заведовал финансовым и коммерческим отделами. Контора и фабричный магазин находились по адресу: Малая Арнаутская, 109 (благодаря Ильфу и Петрову эту улицу знают, кажется, во всем мире), кроме этого, в городе бойко торговали еще несколько магазинов, самый известный – в доме Розена на углу Базарной и Екатерининской. Но братьям Крахмальниковым и это казалось недостаточным, и в 1900 году они получили разрешение на установку «в некоторых частях города автоматических аппаратов для продажи конфет». Это было неслыханным новшеством: бросаешь в машину монетку, нажимаешь кнопку – и получаешь конфету. Понятное дело, автоматы, установленные как раз в местах, облюбованных для гуляний, пользовались невероятной популярностью.

Очень скоро фамилия братьев Крахмальниковых стала общеизвестной. Ее знал и стар и млад. Еще бы! Вряд ли в начале прошлого века был хоть один одессит, не попробовавший хотя бы чего-то из их широчайшего ассортимента – карамели и монпансье, мармелада и драже, шоколада и какао, пряников и халвы. Упомянул братьев и Валентин Катаев, гениальный певец дореволюционной Одессы, обладавший феноменальной памятью, в которой хранились мельчайшие детали детства. Вот фрагмент из повести «Белеет парус одинокий», в котором Гаврик, мечтавший стать квасником, встречает Ваньку-ключника:

«Один вид его пламенной рубахи вызывает в человеке желание напиток холодного квасу.

А как он работает! Ловко, споро, чисто...

Вот подходит покупатель:

- Дай-ка, милый, стаканчик.
- Какого прикажете? Кислого, сладкого? Сладкий копейка кружка, кислый – на копейку две.
- Давай кислого.
- Извольте-с!

<...> Маленький штопор вонзается в пробку. Бутылка, зажата между сапог, стреляет. Рыжая пена лезет из горлышка длинными буклями.

Молодец опрокидывает бутылку над кружкой, наполняя ее на четверть желто-лимонным квасом и на три четверти пеной.

Покупатель жадно сдувает пену и пьет, пьет, пьет... А Ванька-ключник уже лихо вытирает стойку и смахивает мокрую копейку с орлом в жестяную коробочку из-под монпансье фабрики «Бр. Крахмальниковы».

Вот это человек! Вот это жизнь!»

Или вот еще:

«Поворачивая за угол, они вдруг оба обернулись, и Павлик с беспокойством увидел во рту у женщины папироску. Ребенка охватил ужас. Ему в голову внезапно пришла мысль, заставившая его задрожать. Ведь было решительно всем известно, что шарманщики заманивают маленьких детей, крадут их, выламывают руки и ноги, а потом продают в балаганы акробатам.

О, как он мог забыть об этом! Это было так же общеизвестно, как то, что конфетами фабрики «Бр. Крахмальниковы» можно отравиться или что мороженщики делают мороженое из молока, в котором купали больных».

Кстати, все расследования случаев об отравлениях показали, что происходили они как раз с теми, кто покупал кустарные подделки конфет братьев Крахмальниковых, кои не преминули в огромном количестве в Одессе появиться. Во избежание дальнейших слухов для всех желающих стали проводить экскурсии по фабрике – и это было таким же новшеством, как и конфетные автоматы. А Катаев в том же «Парусе» окончательно реабилитирует качество конфет:

«Наконец в опустошенной миске осталось всего четыре лиловых мармеладки. Тогда Гаврик с достоинством поклонился тем, кому не хватило, сказал: «Извиняйте», – и распределил четыре ла-

комых кусочка между Женечкой, Мотей и Петей, не забыв, однако, и себя. Давая Пете мармеладку, он сказал:

– Ничего. Она хорошая. Братьев Крахмальниковых».

В общем, имя Крахмальниковых стало частью городского фольклора. Способствовала этому и запоминающаяся упаковка. Картонные и жестяные коробочки-бонбоньерки использовались долгие годы спустя после употребления их сладкого содержания. В карловарской кондитерской «Братья Крахмальниковы» их можно увидеть и сейчас.

А братья тем временем наращивали обороты. Установили паровой двигатель, механизировали производство. Начав с оборота в 56 тысяч рублей в 1893 году, довели этот показатель в до 193,5 тысяч в 1898-м. Число работников увеличилось до ста шестидесяти. В штате был свой врач – братья не только следили за здоровьем работников, но и выплачивали больничные.

А в 1906 году произошло знаменательное событие – производство перевели в новоотстроенные корпуса фабрики на Среднефонтанской улице. Там она находится и теперь. Тогда же, в начале прошлого века, Торговый дом братьев Крахмальниковых стал успешно участвовать в международных промышленных выставках. Их продукция была отмечена наградами на всероссийских и всемирных выставках в 1901, 1904, 1905, 1907, 1908 годах – в Ростове-на-Дону, Москве, Брюсселе, Лондоне и Париже. К 1910-му году на фабрике работало уже четыреста человек, менее чем за двадцать лет производство увеличилось втрое, конфеты продавались по всей Российской империи, и братья всерьез занимались вопросом открытия новых фабрик в Москве и Петербурге.

Все планы нарушила Первая мировая война и последовавший экономический спад. К тому же начались проблемы с подвозом сырья. И, казалось, можно было восстановиться или продать фабрику, и Крахмальниковы даже купили в 1916 году фабрику по производству халвы (Михайловская, 28, фабрика сладостей торгового дома «Л.Х. Дуварджоглу»), но тут грянул октябрьский переворот. Большевики сначала обложили Крахмальниковых контрибуциями – только в апреле 1919-го у них потребовали миллион рублей, в конце июня – еще сто тысяч, а потом и вовсе

национализировали фабрику. С 1922 года она носит имя Розы Люксембург. В конце 1950-х прямо на Дерибасовской улице открылся фирменный магазин фабрики, легендарный «Золотой ключик» – его до сих пор вспоминают с ностальгией несколько поколений одесситов. Там же, на бывшей фабрике братьев Крахмальниковых, была изобретена известная на весь Советский Союз конфета «Стрела» – слесарь Григорий Львович Махлис придумал механизм для скручивания кружочка фольги в конус, куда заливались потом шоколад и начинка.

Но все это происходило уже без участия создателей «сладкой империи». Точная дата смерти Якова Абрамовича еще подлежит уточнению. Лев Абрамович умер в мае 1915-го и был похоронен на уже уничтоженном Втором еврейском кладбище; там же была похоронена умершая в мае 1916-го жена Якова Абрамовича Розалия Яковлевна и умершая в июне 1918-го Лея Абрамовна Крахмальникова, в замужестве Гринфельд. Дети Якова уехали в Америку, двое из сыновей Льва – в Италию. А третий сын и две дочери остались в Одессе.

Интересный факт – в семейных архивах есть фотографии Абрама, сына Льва Абрамовича, участвующего в отрядах еврейской самообороны, созданных во время погромов 1905 года.

О том, как сложилась дальнейшая судьба Крахмальниковых, рассказал Григорий Фатеев, единственный на сегодня продолжатель семейной кондитерской традиции:

– Дети Якова уехали в Америку после первых еврейских погромов. Дети Льва остались, потому что занимались фабрикой, которую так просто не бросишь, да и продать в той ситуации было непросто. Все это так и тянулось – до Первой мировой, а потом и до революции.

У Льва было пятеро детей. Двое уехало в Италию. Альберто, с которым вы познакомились в Одессе, – сын Виктора и внук Абрама, одного из этих двух детей. То есть Альберто на одно поколение старше меня.

В Одессе остались Яков Львович, Анна Львовна и София Львовна. Дочь Якова, Викторина Яковлевна, живет сейчас в Москве. Она 1946 года рождения. У нее есть сын Кирилл, он 1983 года рождения, тоже живет в Москве. У Анны Львовны, к сожалению,

не было детей, ее не стало в 1983 году. Она тоже жила в Москве. София Львовна как раз и является моей прабабушкой. У нее было двое сыновей, Борис и Григорий. Григорий – это мой дедушка, он родился в 1920 году, и я как раз в честь него назван Григорием. Борис был младше его на восемь лет.

– Я читал в Википедии большую статью о вашем дедушке, Григории Бондаревском, известнейшем востоковеде.

– Да, Григорий Львович родился в Одессе, окончил исторический факультет и аспирантуру МГУ, преподавал в Ташкенте, потом в Москве, был профессором Дипломатической академии МИД, почетным академиком Российской академии естественных наук. В феврале этого года я летал в Москву, там громко отмечалось его столетие. Он всю жизнь занимался востоковедением, вложил очень много в развитие отношений России с Индией, и столетие отмечалось с участием посольства Индии.

– Он был награжден орденом Падма Шри.

– Да, это одна из высших государственных наград Индии. И еще премией Джавахарлала Неру. Несмотря на то, что прошло уже семнадцать лет после его смерти, о нем помнят, и это очень приятно. Кстати, еще один знаменитый выходец из нашей семьи – лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Уильям Фогель. Он получил ее в 1993 году.

– Потрясающе. Это по линии Якова?

– Нет. Яков и Лев – не единственные дети Абрама Вольфовича. Третий сын, Исаак, фабрикой не занимался, а вот его дочь, Рахиль, работала на ней под началом своих дядьев. Замуж она вышла за Самуэля Митника. Их дочь и стала мамой нобелевского лауреата. Уильям родился уже в 1926-м в Нью-Йорке, куда из Одессы уехали его родители вместе со старшим братом Ефимом. Ефим, поэт и литературовед, профессор Корнеллского университета, родился в 1920 году еще в Одессе.

Но давайте вернемся в Одессу столетней давности. Так вот, у Григория Львовича было двое детей. Елены, моей мамы, к сожалению, уже нет на этой земле. А Любовь живет в Москве, и мы с ней много общаемся. Вот мы и дошли до меня.

– Вы единственный, кто из всей огромной семьи занимается сейчас кондитерским делом?

– Да. Наверное, можно сказать, что так сложилось. В какой-то момент мы с женой решили попробовать. Наверное, в том числе и потому, что хотели сохранить память о предках. У нас, как видите, множество документов и фотографий, и всего, что связано с кондитерским делом Крахмальниковых, вплоть до столетней давности баночек из-под конфет. Жаль, что нет одного из знаменитых автоматов – говорят, он до сих пор находится в маленьком музее при фабрике. Но туда сейчас не попасть – корпоративные споры.

– То есть вы начали все это, уже переехав в Чехию?

– Мы сюда переехали окончательно в 2004 году. У нас был долгий переезд, в каком-то смысле он начался еще в 1995-м, когда я был еще ребенком. Это были первые шаги моей мамы по созданию здесь туристического бизнеса. Ну и окончательно перебрались через девять лет. И в 2016 году пришли к идее создания кондитерской.

– Говорят, что вам досталась по наследству от прабабушки книжечка с семейными рецептами – это правда или красивая легенда?

– Это правда. Но тут есть несколько нюансов, которые важно понимать. Во-первых, братья Крахмальниковы в лучшие свои годы все делали в промышленных масштабах на весь тогдашний юг России, и это совсем не те рецепты для приготовления домашнего пирога, как мы себе их представляем. Второй момент – если бы мы сегодня попробовали с вами, например, пряники, которые делали в конце XIX и начале XX века, вы бы их сейчас есть не стали.

– Почему?

– Ну, во-первых, там были совершенно иные ингредиенты, сырье, которое мы сейчас уже физически не найдем; во-вторых, тогда ели гораздо меньше сахара. Многократно меньше. В-третьих, мучные изделия были совсем другими. В них не было разрыхлителей, крахмала, всего того, к чему мы сейчас привыкли. И если мы с вами повторим сейчас в точности старый рецепт, то это будет невкусно и непонятно. Поэтому мы используем очень не много старых рецептов, модернизировав их на сегодняшний лад. Моя жена периодически делает такие же пряники, какими они были тогда, но мы просто раздаем их друзьям и знакомым, потому что продать их невозможно.

- Настолько изменились вкусы?
- Да. Во всем сейчас в три раза больше сахара, чем сто лет назад. К тому же чехи любят очень сладкие пирожные и торты.
- А что вам кажется самым интересным и удачным из того, что все же удалось воспроизвести?
- Халва. Это, наверное, то исключение из списка, которое можно повторить очень близко к старому рецепту даже в условиях небольшой кондитерской. Потом зефир, мармелад.
- Вы не думали о том, чтобы продавать фасованные продукты, так, как это делали тогда в Одессе?
- У нас сейчас формат семейной кондитерской, и за несколько лет работы мы уже четко поняли, на что стоит делать упор. Все, что вы тут видите, делается своими силами и каждый день. Это основа основ. Важно еще понимать, что здесь, в Чехии, отношение к кондитерским изделиям совершенно другое. И мы не совсем вписываемся в него.
- Бывали ли вы в Одессе?
- Да, конечно, много раз – и будучи совсем ребенком, и совсем недавно. Прошелся всеми местами, связанными с нашей семьей.
- Но и Карловы Вары оказались вовсе не случайным местом – ведь еще Яков и Лев приезжали сюда на воды?
- Да. Здорово, что все мы, наследники династии Крахмальниковых, знаем друг друга, общаемся, храним информацию о тех славных годах и регулярно собираемся. В 2018-м в Карловых Варах была встреча, на которой присутствовали потомки Крахмальниковых из России, Израиля, Чехии, Италии и Швейцарии. А в прошлом году собирались в Одессе, в Золотом зале вашего прекрасного Литературного музея. Там произошел трогательный момент – на эту встречу пришла немолодая уже одесситка, привела с собой дочь и принесла букет цветов. Оказалось, что ее бабушка работала няней в доме Крахмальниковых, провожала их в эмиграцию. И всю жизнь детям и внукам рассказывала, как жила эта семья, как проводили праздники, как помогали своим рабочим... Так что Крахмальниковых в Одессе помнят.
- Надеюсь, будут помнить и тут, в Карловых Варах.

Леонид Авербух

Когда уходят друзья...

По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден...

Белла Ахмадулина



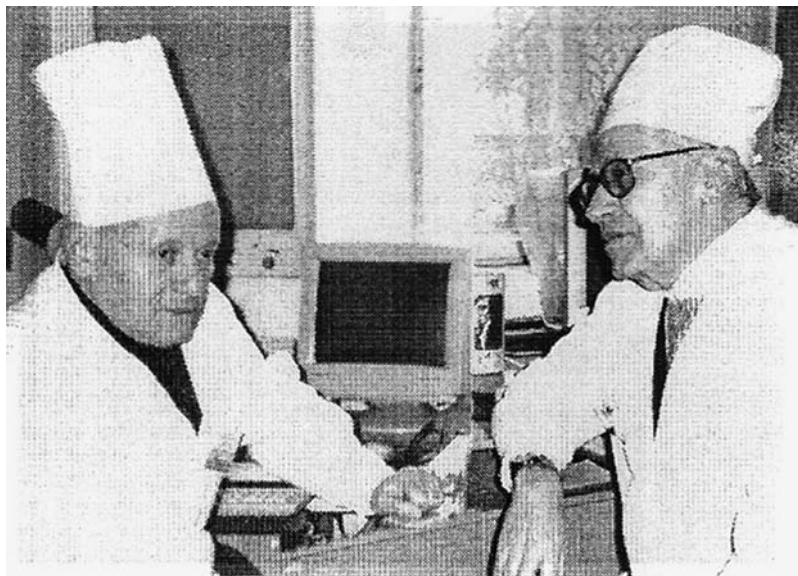
Профессор С. А. Гешелин

В начале декабря минувшего года Одесса навсегда простилась с замечательным человеком и врачом Сергеем Александровичем Гешелиным.

В инскрипте на подаренной мне своей книге «Очерки воспоминаний», вышедшей в 2012 году, Сергей Александрович написал: «Дорогому другу с 70-летним стажем». И допустил неточность: «стажа» этого тогда было уже 74 года...

Четко сохранился в памяти жаркий, скорее всего – августовский день далекого (не пугайтесь!) 1938 года. На нашу дачу в ДСК «Летний отдых» на 8-й станции Фонтана (тогда –

ул. Перекопской дивизии, 85) пришла довольно высокая дама с сыном, оказавшимся моим ровесником. Это была Татьяна Яковлевна



В моем кабинете в Областном противотуберкулезном диспансере. Конец 1980-х

Гешелина с сыном Сережей. Дача принадлежала моему дяде, брату матери профессору Индустриального института Самуилу Григорьевичу Зальцбергу, жена которого Минна Адольфовна Высокая была ассистентом профессора Берты Михайловны Рейнвальд и первой учительницей Сережи по классу фортепьяно.

Так произошло наше знакомство, положившее начало теплым дружеским отношениям, длившимся более восьмидесяти лет...

Сергей Александрович Гешелин родился в Одессе 13 декабря 1930 года в семье потомственных врачей. Его дед Исаак Соломонович Гешелин (1853-1926), родившийся под Одессой, в Гросслибентале (ныне – Великодолинское), окончил медицинский факультет Киевского университета, работал земским врачом, ознакомился с практикой антирабической вакцинации в Институте Пастера в Париже, а в 1895 г. открыл одно из первых лордотделений в Еврейской больнице нашего города, которое возглавлял до 1920-го года.

Отец – профессор Александр Исаакович Гешелин (1882-1962), окончил медицинский факультет Одесского (тогда – Новороссийского) университета в 1906 году (доктор медицины – в 1911) и посвятил себя той же профессии. Работал в Москве и Петербурге и в течение трех десятилетий (1922-1952) заведовал кафедрой и клиникой болезней уха, горла и носа Одесского медицинского института. Был участником Великой Отечественной войны.

Мать – Татьяна Гуревич, училась в Петроградской консерватории, окончила Институт иностранных языков. Она играла на рояле, а отец – на виолончели, и нередко они музицировали вместе. Знали несколько иностранных языков.

В их доме было немало культурных артефактов. Достаточно упомянуть рояль, который связывался с именем и личностью С.В. Рахманинова, художественные полотна – копии работ великих мастеров, а также картина кисти В. Серова, в свое время подаренная И. Левитану... Бывали здесь интересные люди – ученые, врачи, музыканты. Я хорошо помню родителей Сережи, тем более что Александр Исаакович был в числе моих институтских педагогов. Они создали окружающую Сергея обстановку, которую он обозначил словами Ираклия Андроникова как «атмосферу интеллектуального озона».

Семья проживала в доме № 23 по ул. Пастера (Херсонской), разрушенном во время войны. Первый период эвакуации семья провела в ряде городов Кавказа, где в перемещавшемся военном госпитале служил отец, а затем – в Сталинабаде, откуда после перевода отца в Московский военный округ, в 1943 г., они переехали в Москву.



Исаак Соломонович Гешелин



Татьяна Яковлевна и Александр Исаакович Гешелины

Перед юношей Сергеем Гешелиным стояла проблема выбора профессии. Незаурядные музыкальные данные и хорошая школа им. Столярского, а затем – Центральная музыкальная школа (ЦМШ) при Московской консерватории, где его соучениками были Евгений Малинин, Эдуард Грач, Вера Горностаева, Александра Пахмутова – с одной стороны, и огромный интерес к медицине – с другой. Медицина победила безоговорочно. И это несмотря на то, что в течение нескольких месяцев с юным Сережей занимался подружившийся с семьей сам великий Эмиль Гилельс, на то, что в Москве они общались со многими выдающимися музыкантами, включая брата первой жены отца – главного военного дирижера генерала С.А. Чернецкого, и даже на то, что он в течение года пытался совместить учебу в Одесской консерватории в классе М.М. Старковой и в медицинском институте, куда поступил в 1947 году. Музыка навсегда осталась любимым неслужебным занятием и, по словам самого Сергея Александровича, болела в нем «незаживающей раной».

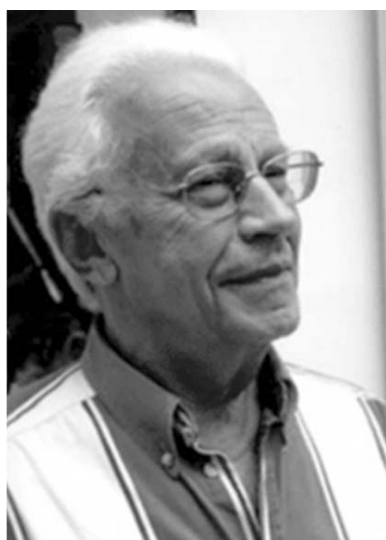


С.А. Гешелин в разные годы

Возвратившись в Одессу в июле 1945 г., семья Гешелиных поселилась на Ришельевской, 11. Окончив с красным дипломом в 1953 г. лечебный факультет Одесского мединститута, молодой хирург С.А. Гешелин в течение трех лет работает хирургом в шахтерской Горловке, с 1956 по 1978 г. – в Одесской горклинбольнице № 1 ординатором, а с 1969 г. – заведующим хирургическим отделением.

С 1963 по 1969 г. он по совместительству читает доцентский курс хирургии на кафедре гражданской обороны Одесского госуниверситета для студенток гуманитарных факультетов – будущих медсестер запаса. Будучи практическим хирургом, Сергей Александрович постоянно занимался научно-исследовательской деятельностью, наследуя достояние одесских хирургических школ, развивая идеи и этические принципы своих учителей и, прежде всего, первого главного своего учителя – блестящего хирурга и незаурядного человека профессора Б.Е. Франкенберга. Итогами этой работы становятся успешно защищенные диссертации – кандидатская (1962) «Дыхание

и кровообращение при высокой и тотальной спинномозговой анестезии», где, в частности, уделено большое внимание проблеме, столь



актуальной сегодня: ИВЛ, искусственной вентиляции легких как основному реанимационному мероприятию; и докторская (в 1974, в Москве), в которой изучены особенности и способы коррекции обмена электролитов у хирургических больных.

В 1982 г. С.А. Гешелин удостоивается звания профессора. С 1978 по 1989 г. он заведует курсом онкологии, а в 1989 году возглавляет кафедру факультетской хирургии Одесского медицинского института (ныне – университета). Еще в 1977 г. он проходил стажировку в Киевском институте клинической и экспериментальной хирургии у профессора А.А. Шалимова, которого считал одним из двух своих главных учителей, и восхищался его высочайшим профессионализмом. Принцип этих уникальных специалистов, «голова хирурга должна идти впереди его рук», он последовательно исповедовал в своей практике. Позднее у них с академиком Шалимовым возникли доверительные дружеские взаимоотношения. Определенное влияние оказал на него академик В.П. Филатов, неформальным общением с которым он был обязан

дружбой с сыном легендарного офтальмолога – моим сокурсником, тоже офтальмологом Сергеем Филатовым, рано ушедшим из жизни.

Об учителях, к числу которых Сергей Александрович обоснованно относил и профессоров П.А. Наливкина и Я. М. Волошина, а также хирурга Горловской больницы В.Д. Бондаренко, он всегда вспоминал с пиететом и помнил, чему конкретно он научился у каждого из них. Среди добрых знакомых и друзей Сергея Александровича было немало уникальных личностей. Достаточно упомянуть супружескую чету Вентцель – генерала, профессора Дмитрия Александровича и Елену Сергеевну, тоже профессора, математики (она же – писательница И. Грекова, автор «Вдовьего парохода», «Кафедры», «Хозяйки гостиницы» и др.). Незабываемыми были встречи с выдающимися личностями эпохи. Упомянем легендарного южноафриканского хирурга Кристиана Барнарда – пионера трансплантации сердца, американского кардиохирурга Майкла Де Бейки, художника Илью Глазунова, написавшего портреты и Сергея Александровича, и его покойной первой жены Натальи Иосифовны Касько. С ней Сергей Александрович вступил в брак в 1958 г.

Наталья Иосифовна окончила филологический факультет Одесского госуниверситета им. Мечникова и, успешно поднимаясь по карьерной лестнице, прошла путь от школьного педагога до директора Одесского художественного музея. Их сын Юрий

Сергеевич Гешелин, выпускник Одесского гидрометеорологического института, по профессии океанолог, кандидат наук, с женой и семьей сына Игоря много лет проживает и работает в Канаде. Недавно родился правнук Сергея Александровича по имени Виктор-Валентин...

В 1995 г. Наталья Иосифовна тяжело заболела так называемой молниеносной формой рака легкого и безвременно ушла из жизни.

Более двадцати лет надежным другом и верной помощницей, по его словам – ангелом-



Наталья Иосифовна Касько

хранителем Сергея Александровича была его бывшая студентка в медучилище, где он одно время вел курс хирургии, а в дальнейшем выпускница биологического факультета ОГУ Майя Сергеевна Жовтнева, ставшая его второй супругой.

В различные периоды мы общались с разной частотой, но это общение неизменно было наполнено искренней теплотой. Мы бывали в домах друг друга, отмечали вместе юбилейные даты, встречались при посещении концертов и театральных спектаклей, беседовали по телефону.

Круг общих знакомых у нас с Сергеем Александровичем был чрезвычайно широк, причем это были не только коллеги-медики. Среди наших общих друзей были Я. Брянский, Ф. Пападато, И. Ланда, В. Кенц. Хорошо знал я и его ближайшего друга Александра Людина, который тоже был учеником М.А. Высокой. В дружеском общении Сергей Александрович был необычайно доброжелательным, остроумным собеседником, а в служебных взаимоотношениях – очень корректным, демократичным и внимательным, что в равной мере относилось и к сотрудникам, и к пациентам.

Постоянно активно работая непосредственно у операционного стола, хирург С. Гешелин выполнял широчайший круг вмешательств



Сергей Александрович со своим «ангелом-хранителем» Майей Сергеевной Жовтневой

на пищеводе и желудке, печени, на тонком и толстом кишечнике, почках, желчевыводящих путях, на поджелудочной, щитовидной и молочной железах, и многие другие. Используя его любимое выражение, которым он характеризовал своих учителей, скажем, что он был «поливалентным» хирургом. Результатом этой активной операционной деятельности являются сотни спасенных жизней, тысячи благодарных пациентов и их близких.

Особое место в его деятельности и хирургической практике занимает онкологическая патология. В частности, им разработан способ наложения пищеводно-кишечного анастомоза при раке пищевода, существенно снижающий риск операции и послеоперационную летальность. С.А. Гешелиным предложена методика реконструктивного вмешательства после резекции толстой кишки по поводу рака. Изобретением признано разработанное им оперативное вмешательство на крупных сосудах, значительно повышающее эффективность комплексного лечения опухолей средостения. Совместно с кафедрой акушерства и гинекологии он изучал лечебный эффект электромагнитного излучения крайне высокой частоты в борьбе с послеоперационной и постлучевой иммунодепрессией у онкологических больных. Направления его научного поиска чрезвычайно разносторонни и многообразны.

В 1988 году вышла из печати монография С.А. Гешелина «Неотложная онкохирургия», обобщившая огромный опыт его работы в качестве ургентного хирурга и хирурга-онколога. В этой работе он излагает свою концепцию единой доктрины ургентной онкохирургии, объединяющую требования практики ургентных вмешательств и их место в программе комплексного и комбинированного лечения онкологических больных. Настольной книгой отечественных онкологов стала вышедшая в 1996 г. монография Сергея Александровича «TNM* – классификация злокачественных новообразований и комплексное лечение онкологических больных». Большой интерес вызвали и опубликованные в 1999 году «Лекции по госпитальной хирургии».

Коллектив кафедры и клиники факультетской и госпитальной хирургии, возглавляемый профессором С.А. Гешелиным, исследовал проблемы применения лазерного излучения в диагностике

* С латыни – «опухоли, узлы, метастазы».

и лечении онкологических и хирургических заболеваний. При заболеваниях органов брюшной полости широко использовались эндоскопические методики. Сергей Александрович является автором 225 научных работ, главным образом посвященных проблемам неотложной хирургии и реаниматологии, онкологии. Он был прекрасным лектором, педагогом и наставником. Под его научным руководством защищено 12 кандидатских и докторских диссертаций. К числу его учеников относится ряд крупных специалистов в различных областях хирургической деятельности – В.Ф. Варбанец (проктология), И.М. Акопник (сосудистая хирургия и трансплантология), А.Н. Згура (онкохирургия), Б.Ф. Близнюк и А.В. Седой (неотложная хирургия), Н.В. Свищенко (эндоскопическая хирургия) и др. Кафедру общей и военно-полевой хирургии медуниверситета возглавляет профессор, полковник медслужбы М.А. Каштальян, выполнивший кандидатскую диссертацию под руководством Сергея Александровича, который был также консультантом его докторской. Их также связывали дружеские отношения.

Сергей Александрович был активным участником отечественных и международных съездов, конференций, конгрессов хирургов и онкологов в Париже, Генуе, Лозанне, Балтиморе, Токио и Брюсселе,



Мы с женой Ириной в гостях у Гешелиных. Справа И.Е. Ланда с женой Алиной. На стене портрет Сергея Александровича кисти И. Глазунова. Конец 1990-х



Слева направо: В.В. Кенц, Л.Г. Авербух, С.А. Гешелин, И.Е. Ланда. Октябрь 2000 г.

на которых выступал с интересными докладами и сообщениями. На конференции онкологов в Генуе был избран членом Европейской ассоциации хирургов-онкологов. Заслуженный деятель науки и техники Украины, академик Академии истории и философии, естествознания и техники С.А. Гешелин многие годы являлся председателем Одесского научного общества хирургов, входил в состав правления Украинского общества онкологов, избран почетным членом Харьковского научного общества онкологов. Сергей Александрович был разносторонне эрудирован, подлинно интеллигентен, всегда оставался блестящим лектором, интересным и остроумным собеседником. Его следует характеризовать как строжайшего блюстителя гуманистической этики, нравственности, высокой общечеловеческой и врачебной культуры – качеств, которые он стремился прививать своим ученикам и студентам.

В 2000 г., в год 70-летия Сергея Александровича Гешелина, в знак признания его исключительных заслуг как врача, ученого и общественного деятеля ему было присвоено звание «Почетный одессит». Газета «Вечерняя Одесса» включила его в число ста наиболее заслуженных граждан города. Был депутатом городского совета. Удостоен был также звания почетного гражданина побратима Одессы – Балтимора (США). Всего десять дней он не дожил до своего девяностого дня рождения.

Память о нем будет долгой и доброй...

Одесский календарь

Базарная
улица

64 Екатерина Безпалова
Здесь наши классики играли в классики

Екатерина Беспалова

Здесь наши классики играли в классики

Долго ли, скоро ли идти по улице Базарной, да никакого базара сегодня не сыщется тут от самой улицы Белинского и до Тираспольской. Мелких торговых точек тут меньше, чем сто пятьдесят лет назад, но не притаился даже маленький базарчик ни за одним из ста двадцати домов улицы. Тем не менее в XIX – начале XX века, пройдясь по улице, можно было «сделать неплохой базар» в многочисленных лавках и магазинах – хлебных и мясных, бакалейных и кондитерских, фруктовых и овощных. Гурманы могли купить тут даже шоколад «Альпина» известной швейцарской марки «Линдт», а любители воды «Нарзан» знали, где находится склад этого бренда. Был тут и широкий выбор частных молочных лавок, а кое-где можно было купить и кефир. Любители алкоголя могли приобрести практически любое отечественное и иностранное вино и качественную водку с настоящей сургучной печатью, а производители местных вин хорошо знали адрес винокурни, где продавались качественные дрожжи. Возле многочисленных винных погребов располагались и трактиры, в которых собирались по интересам и ремеслу от сапожников и портных, биндюжников и портовых грузчиков до ростовщиков и старьевщиков. Последние были завсегдатаями трактира Кондера на Базарной угол Осипова (бывшая Ремесленная). Курильщики знали, что и табачные изделия можно купить на Базарной, равно как аптекарские и галантерейные товары.

Мануфактура на Базарной была поистине разнообразной, поэтому жильцам улицы совершенно не нужно было далеко идти, чтобы починить обувь, мебель, примус, велосипед, швейную ма-

шинку «Зингер», пошить платье, проконсультироваться у дантиста или венеролога. В подвалах практически каждого дома располагались мастерские кузнецов и маляров, литейщиков и столяров. Тут можно было найти любое металлическое изделие, от водопроводных труб, рельсов, проволок, болтов и гаек до ювелирных украшений из серебра и золота с бриллиантами и дорогими часами. Все эти заведения давно канули в лету, но из элементов, важных для одесской истории, здесь можно найти действующий колодец во дворе дома № 32. Он остался тут с XIX века. Его глубина составляет пятнадцать метров, а объем воды – тридцать кубов.

Улицу можно было легко назвать Ремесленной, Мастерской или Торговой, но такие в городе уже существовали, равно как и Бакалейный ряд, а для Мануфактурной, Скобяной или Складской улица была слишком хороша собой. Поэтому легко закрепилось название вслед за большим базаром, располагавшимся посередине улицы – ныне Старобазарный сквер.

Старобазарная площадь увидела свои первые лавки еще в 1795, то есть еще до основания знаменитого Привоза и до бурного расцвета соседнего Греческого базара. Тогда здесь начал формироваться городской Вольный рынок, к которому вела важнейшая торговая магистраль из гавани по Военному спуску через Александровский проспект. С тех пор торговля не затихала на этом месте. Название «Старый базар» закрепилось за Вольным рынком только после того, как на карте города появился Новый базар.

Базар был настолько важным, что даже его сектора-четвертинки имели свои собственные имена: Черепениковская, Яловиковская (Кумбарьевская), Шишмановская и Посоховская – по именам самых важных купцов, имевших там и свои лавки среди двадцати восьми прочих, то есть какое-то время это были самостоятельные площади, объединенные большим квадратом.

Не меняя функционала, площадь становилась ненадолго просто Торговой (1848), а потом снова Старобазарной. В самом ее центре была выстроена каланча, на которой поднимали и опускали флаг, сигнализируя о начале и окончании торговли. Позже флаг заменили большими часами, для которых даже

перестроили верхушку каланчи. Башня напоминала итальянскую колокольню, так как архитектурный ансамбль Старобазарной площади проектировал Торичелли, победивший в тендере на выполнение работ (1830-е). К сожалению, аутентичный архитектурный ансамбль практически не сохранился. Лишь старые гравюры свидетельствуют от том, что фасад центрального здания базара был украшен дорическими колоннами по периметру, а с внутренних сторон к торговым рядам прилегли двухэтажные здания, соединенные с ним мощными колоннами и ажурными аркадами.

К концу XIX века небольшая площадь уже не могла удобно размещать продавцов и покупателей и передала свои основные функции развивающемуся Привозу. Однако торговые ряды и небольшой рынок здесь продолжали функционировать до 1917. Революция уничтожила торговые лавки и магазины, превратив их в многочисленные коммунальные квартиры и государственные учреждения, а также сгладила «архитектурные излишества» фасадов.

С 1946 площадь побыла площадью Сталина как часть одноименного проспекта. Потом с 1947 она носила имя убитого по сталинскому же указанию Кирова. В эту эпоху площадь окончательно обветшала. Часовая башня пострадала во время бомбежек и сама собой рухнула в 1958, хотя ее часы остановились гораздо раньше. Посредине площади был разбит сквер, в центре которого планировалось установить памятник Кирову, но этого не произошло. А в середине 1990-х, когда возвращали дореволюционные названия, сквер на площади обрел свое исконное название и стал Старобазарным.

2 сентября 1999 в Старобазарном сквере состоялось театрализованное шоу, которое напомнило основные вехи строительства и развития города у моря, отмечавшего свое 205-летие. В присутствии президента Кучмы был торжественно открыт памятник Антону Головатому (скульптор А. Токарев, архитектор В. Чепелев). Кошевой атаман Черноморского казачьего войска полковник Антон Головатый участвовал в штурме и взятии Хаджибеевской крепости в 1789. Задумавшийся, но крепко держащий поводья своего коня атаман и фигура ангела над ним

наполняют скульптурную композицию сложным философским смыслом. Несколькими неделями ранее президент издал указ, согласно которому ежегодно 14 октября на всей территории Украины отмечается День украинского казачества, учитывая историческое значение и заслуги казачества перед Отечеством в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания и развития независимой Украины.

Современная улица Базарная хорошо сохранила свой первоначальный облик, даже если на первый взгляд это не очевидно. Здания Базарной улицы преимущественно двух-трехэтажные. К сожалению, далеко не все возведенные по проектам выдающихся архитекторов Одессы Влодека, Моранди, Троупянского, Отона, Гонисровского, Торичелли, Минкуса дома сохранились идеально, но пытливый взгляд легко увидит красоту. Здания возводились с середины XIX до начала XX века. Роскошные дома граждан Русова, Хаджи, Шварца, Кемле, Черепенникова, Сапожникова, Штиглера, Яхненко, Розена, Раухвергера и многих других служили им доходными. Там в больших квартирах обитали зажиточные квартиранты. В соседних домах, пониже и поскромнее, чаще всего жили семьи одесских торговцев средней руки и мастеровые всех сортов. Часто в подвальных помещениях этих домов они содержали мастерские и товарные склады.

В середине XX века на улице появилось несколько четырех-пятиэтажных сталинок проектов 1941-1957, а за последнюю четверть века добавилось всего несколько современных многоэтажек. Одна из таких, дом № 1, выросла возле дома дешевых когановских квартир. Адольф Коган по завещанию своего отца Овсея безвозмездно передал городу земли под строительство жилья для всех, «без различия вероисповедания и национальности», и вскоре тут появилось двести квартир для тысячи жильцов. В соседнем доме № 3 просматриваются архитектурные особенности, характерные для синагог. Дом № 5 изменился практически до неузнаваемости. Тем не менее именно здесь располагались корпуса Еврейского сиротского дома для шести-двенадцатилетних воспитанников обоих полов, число которых в 1890 составляло двести. При приюте работали музыкальные классы,



Еврейский сиротский дом по Базарной улице. XIX век

молельный дом, лазарет и земледельческая ферма, а через двадцать лет был возведен еще один небольшой сиротский дом.

Рассказ лишь о трех первых домах улицы намекает на то, что было бы весьма несправедливо создать о Базарной улице впечатление лишь как о ремесленно-торговой и не выделить тот факт, что эта улица была одной из главных, где жили одесские еврейские семьи, не только создавшие особую ауру Одессы, но и способствовавшие культурному развитию еврейского народа. Так, среди жильцов Базарной был видный еврейский историк, лингвист, общественный деятель и первый редактор «Еврейской энциклопедии» на иврите Иосиф Клаузнер (1876-1958), проживавший в доме № 57. В доме № 12 жил выдающийся еврейский историк Шимон Дубнов (1860-1941) – педагог, публицист, специалист в области хасидизма и автор монументального труда «Всемирная история еврейского народа».

Важнейшие адреса для еврейских семей располагались вдоль улицы Базарной – молельные дома (№ 12, № 85), синагога, где проходили свадебные обряды, раввинат, много-

численные просветительские и учебные заведения. Редкая одесская улица смогла бы составить конкуренцию Базарной по количеству учебных заведений – от гимназий для еврейских девочек и мальчиков до профессиональных училищ и научных институтов.

В доме № 35 в конце XIX века находилась Еврейская дешевая кухня для нуждающихся, Одесская иешива – высшее научное еврейское учебное заведение Ешибот, основано в 1866 общественным деятелем и издателем первой в России газеты «Хамелиц» на иврите А.О. Цедербаумом (1816-1893).

В монументальном доме № 17 из красного кирпича, возведенном на средства одесских меценатов в 1882 для содействия бедной еврейской молодежи в освоении ремесленных и технических профессий, сейчас располагается Ощадбанк. Взглянув на верхние этажи здания, можно разглядеть символы различных ремесел, оставшиеся в память о Еврейском ремесленном училище «Труд» для молодежи из бедных еврейских семей. Вначале в училище обучали юношей в столярных, литейных и механических мастерских, а затем и девушки смогли осваивать навыки профессий белошвеек и портных. Училище самоокупалось продукцией, выпускавшейся учащимися. Самый известный выполненный заказ – чаши у памятника Пушкину на Приморском бульваре.

В начале XX века для всех желающих при училище работали чертежные, художественные, арифметические, технические и музыкальные классы. В программу обучения были добавлены курсы автотехнических дисциплин. После революции 1917 в здании размещалось санитарное бюро, специализировавшееся на аренде бань и распространявшее билеты для бесплатного посещения бани на Жуковского. С 1920-х училище было перепрофилировано под машиностроительный техникум, а в послевоенное время техникум стал станкостроительным. Постановлением СНК СССР в 1940 в Одессе был учрежден станкозавод им. Кирова на базе площадки и кадров бывшего Еврабмола «Труд». В 1944 завод был восстановлен и прославился в отечественной разработке и освоении радиально-сверлильных и алмазно-расточных станков, широкоуниверсальных фрезерных станков, кузнечно-прессового оборудования



Здание Ощадбанка, где в XIX веке было Еврейское ремесленное училище «Труд»

и многого другого. В советскую эпоху возле завода стоял памятник революционеру С.И. Кирову (1886-1934). Сегодня вместо Кирова нас на улице приветствует патриций на высотном доме, который смотрит прямо в окна Всемирного клуба одесситов.

Сегодня дом № 55 – юридический лицей, а почти двести лет назад здесь располагалось самое большое учебное заведение – мужское еврейское частное училище 2-го разряда А.М. Гуревича. В 1828 им руководил Штерн, который способствовал повышению статуса училища, доведя его до коммерческого, готовившего медиков, педагогов, бухгалтеров и коммерсантов.

В конце XIX – начале XX века в доме № 74 располагалось Греческое училище, что не помешало в 1904 открытию в этом же здании иллюзиона «XX век». До 1920 здесь шли показы самых современных фильмов с музыкальным сопровождением. Одесситы называли иллюзион «Ха-Ха», и однажды один из таких шутников громко крикнул: «Пожар!» – во время кинопоказа. Зрители ринулись

из зала к единственному выходу, организовав давку, при которой пострадало около двадцати человек, после чего владельцы добавили еще два выхода для безопасности. С середины XX века в здании работало почтово-телеграфное отделение, ставшее затем почтовым.

Многие дома улицы Базарной были свидетелями важной роли одесских еврейских общин. Так на месте дома № 65 располагалась Общество пособия бедным больным евреям города Одессы «Эзрас-Холим», а в доме № 69 активно функционировал просветительский сионистский клуб «Кадима». Общество вспомоществования бедным евреям Грейбера располагалось на Базарной, 73, а в доме № 87 находилась Комиссия по раздаче пособий топливом и мацою бедным евреям города Одессы. Одесский раввинат и Совет духовного правления синагог и молитвенных домов занимали часть дома № 89. Половина здания под номером 87 была печально известна всем еврейским семьям, так как по этому адресу значилось погребальное братство «Хевра Кадиша».

В современной литературе особое внимание уделяется одесским классикам. Трудно поверить, что аж несколько из них имеют прямую связь с улицей Базарной. Хотя на Базарной возле Румынского консульства установлен лишь один памятник – румынскому поэту Михаю Эминеску (1856-1889), отдыхавшему на одесском Куяльнике, улица помнит и гордится целым рядом великих литераторов, а одесская топонимика отображает эти знаковые для города имена.

Семья самого знаменитого детского писателя советской эпохи, поэта, журналиста и переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) некоторое время проживала в доме по Базарной, № 2. Чуковский гордился с дружкой с Владимиром Жаботинским и отмечал, что именно Жаботинский ввел его в литературу, так как «от всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация. В нем было что-то от пушкинского Моцарта, да, пожалуй, и от самого Пушкина... Меня восхищало в нем все: и его голос, и его смех, и его густые черные волосы, свисавшие чубом над высоким лбом, и его широкие пушистые брови, и африканские губы, и подбородок, выдающийся вперед. Он казался мне лучезарным, жизнерадостным...». В.Е. Жаботинский (Вольф Зеэв Жаботински) (1880-1940) родился и провел свое детство на Базарной, № 33. Для мировой



Дом по Базарной, 40, где родился Эдуард Багрицкий

общественности Жаботинский – лидер и основатель правого сионизма. Для его читателей – выдающийся писатель, поэт и переводчик. Для одесситов – автор эпохального романа «Пятеро», предельно точно и тонко описывающего одесскую жизнь накануне 1905 года.

Дом № 40 отмечен мемориальной доской, гласящей, что первые пять лет жизни выдающегося поэта Эдуарда Багрицкого прошли по этому адресу. Исключительный поэтический талант Эдуарда Багрицкого (Дзюби(а)н) (1895-1934) оставил уникальные стихотворения, написанные автором под различными псевдонимами. Первым псевдонимом стал Дзэи, затем появился самый знаменитый – Багрицкий, но есть и произведения, написанные под псевдонимами Рабкор Горцев, Некто Вася и Нина Воскресенская, – такие разные, как и вся поэзия Багрицкого. Созданию главного и самого знаменитого псевдонима предшествует совершенно одесская история о том, как два друга-поэта Дзюбин и Натан Шор разыграли два цвета – фиолетовый и багряный, ставшие их литературными псевдонимами. Этих талант-

ливых молодых поэтов ожидал короткий жизненный путь. Натан Шор, став Анатолием Фиолетовым (1897-1918), трагически погиб, оставив после себя лишь один сборник поэзии. Его младший брат Осип Шор был хорошим знакомым Валентина Катаева и рассказывал писателю много занимательных историй о своей жизни, став прототипом Остапа Бендера – легендарного авантюрного персонажа, созданного братом В. Катаева Евгением Петровым в соавторстве с Ильей Ильфом. Кстати, говорят, что фамилию Бендер авторы одолжили у одного одесского учителя, жившего на Базарной, 10.

Валентин и Евгений Катаевы родились в Одессе на улице Базарной, 4, в преподавательской семье. Их мать умерла сразу после рождения Евгения. Оба ее сына станут классиками современной русской литературы – Валентином Катаевым и Евгением Петровым. Валентин Петрович Катаев (1897-1986) проживет 64 года в Москве и Переделкино, но навсегда сохранит одесский акцент, получит награды за участие в Первой мировой войне и пройдет Вторую мировую корреспондентом. Его произведения будут поставлены в театрах и многократно экранизированы. По «Алмазному венцу» можно судить о литературной жизни 1920-х, остросоциальная «Уже написан Вертер» будет запрещена, а автобиографическая повесть «Белеет парус одинокий» станет хрестоматийной и войдет в программу советских школ. В. Катаев видел свою улицу детства так: «Для того чтобы выйти на нашу Базарную улицу, следовало пройти под каменными сводами, в конце которых как бы в подзорную трубу виднелась резная арка ворот, а за нею до рези в глазах яркая и по-воскресному пустынная улица – центр моего тогдашнего мира». Сегодня на стене дома № 4 две мемориальные доски, напоминающие о своих знаменитых жильцах – братьях Валентине Катаеве и Евгении Петрове (Катаеве).

Писатель-сатирик Евгений Катаев (1902-1942) возьмет псевдоним Петров в 1920-е, считая, что фамилию Катаев уже достойно представляет его брат, но до этого обоим братьям доведется и побывать в тюрьме за контрреволюционную деятельность, и поработать радиокорреспондентами. Валентин отправится в Москву, а Евгений присоединится к нему лишь после того, как отслужит в Одесском уголовном розыске. Именно он станет частичным

прототипом молодого инспектора Володи Патрикеева из повести «Зеленый фургон» А. Козачинского. Именно его будущей жене Валентине Грюнзайд Ю. Олеша посвятит сказку «Три толстяка». Уже в Москве именитый брат Валентин подкинет брату Жене и их другу Ильфу идею романа о сокровищах, спрятанных в стуле, тем самым дав старт выдающемуся творческому дуэту. Ильф и Петров вполне могли бы встретиться на Базарной, поскольку в конце 1900-х семья Ильи Файнзильберга проживала в красивом доме на Базарной, 33. Однако их встрече суждено было случиться вдалеке от Одессы, а творческому союзу и крепкой дружбе – продлиться до смерти Ильи Ильфа. На его похоронах в апреле 1937 Евгений Петров сказал, что это и его собственные похороны. «Труднее всего написать первую строчку!» – говорил Евгений Петров. Именно он напишет книгу «Мой друг Ильф» – о том, как два человека с несхожими характерами, привычками и вкусами, дополняя друг друга, стали единым целым.

Илья Арнольдович Файнзильберг и Евгений Петрович Катаев встретились в Москве, а с 1926 их дружеский тандем стал великим творческим, подарившим читателям поныне актуальные и любимые «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «Одноэтажная Америка», киносценарии, повести, очерки. Их произведения неоднократно переводились на разные языки, переиздавались миллионными тиражами, экранизировались. Дружья писатели-сатирики Ильф и Петров прославили Одессу далеко за ее пределами. Им довелось много путешествовать в качестве иностранных корреспондентов, встречаться с интересными людьми, ощутить лучи творческой славы. Однако им обоим было не суждено дожить до сорокалетия и конца 1940-х, когда их легендарные романы подверглись критике и цензуре. Сегодня их имена благодарно отмечены на одесской Алее звезд.

Илья Арнольдович Ильф (Иехиель-Лейб Арьев Файнзильберг) родился в Одессе на улице Старопортофранковской, 137, в семье банковского служащего. Спустя годы он скажет: «Все равно про меня напишут: «Он родился в бедной еврейской семье...». Из четырех братьев Файнзильберг только младший Вениамин, став топографом, остался под своей фамилией. Илья Арнольдович выбрал псевдоним Ильф, сложенный из трех первых букв имени

и первой буквы фамилии, а его старшие братья, увлекавшиеся живописью, стали Сандро Фазини и Ми-фа. Семья мигрировала по Одессе – со Старопортофранковской на Малую Арнаутскую, 9, затем на Базарную, 33, Софиевскую, 13.

После окончания ремесленного училища Илья Файнзильберг работал в чертежном бюро, на телефонной станции, заводе аэропланов Анатра, фабрике ручных гранат. В 1919 был призван на военную службу и воевал против деникинцев. Будущий знаменитый писатель-сатирик был и разъездным статистиком одесского комитета Всероссийского союза городов под руководством Э. Багрицкого, и бухгалтером кассово-операционного стола в Одесском опродкомгубе. Переехав в Москву в 1923, он навсегда выбирает путь литератора – от выездного корреспондента, очеркиста, фельетониста до романиста и киносценариста. Илья Ильф говорил: «Актеры не любят, когда их убивают во втором акте четырехактной пьесы». Его жизнь оборвалась в возрасте тридцати семи лет, а через пять лет трагически погиб и его добрый друг и соавтор. Искрометный юмор Ильфа и Петрова остается вечным и передается сквозь время.

Если с Ильфом Петрова объединяло совместное литературное творчество, то опыт службы в уголовном розыске объединил его не только с братьями Шор, но и с другим видным литератором и другом его детства, проживавшим по соседству в когановских дешевых квартирах и удостоенного мемориальной доски на стене дома № 2. Сегодня автора знаменитого «Зеленого фургона» Александра Владимировича Козачинского (1903-1943) назвали бы эпатажной личностью. Бывший гимназист и футболист-черноморец, инспектор полиции и конокрад, пользовавшийся уважением у одесских бандитов и прекрасных дам, пишет роман, который будет экранизирован спустя десятилетия после его смерти. Козачинский выбирает самого себя в качестве прототипа главного персонажа, налетчика по кличке Красавчик, а возможно, и сыщика Володи Патрикеева. В реальной жизни инспектор уголовного розыска Катаев был вынужден арестовать конокрада Козачинского. Тем не менее Катаеву удалось спасти друга от расстрельного приговора.

С 1925 трое жителей Базарной – А. Козачинский, Е. Катаев и И. Ильф будут работать в московской газете «Гудок».

Многим известно, что корни нобелевского лауреата Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960) одесские. Его отец Леонид Пастернак (1862-1945) жил на улице Базарной. Сегодня мемориальная доска на доме № 78 напоминает об известном живописце, чьи работы представлены в крупнейших музеях мира и изысканных частных коллекциях. Дома детства Пастернака на Базарной не сохранились, но сохранились воспоминания о том, что первые работы Пастернак написал для соседа-дворника в возрасте семи лет, а будучи гимназистом, уже подрабатывал иллюстратором в журналах «Маяк» и «Пчелка». Одаренный выпускник Одесской рисовальной школы Общества изящных искусств продолжил обучение за рубежом, но параллельно получил юридический диплом местного Новороссийского университета. Пастернак считался одним из лучших рисовальщиков и портретистов своего времени, его работам присущи тенденции модернизма и импрессионизма. В 1999 потомки художника содействовали открытию музея Л.О. Пастернака в Оксфорде и присутствовали в Одессе на открытии мемориальной доски на Базарной. Они рассказывали, что Леонид Осипович писал об Одессе и мечтал купить кусочек земли на Большом Фонтане с видом на море. В Одесском художественном музее представлено несколько работ Леонида Пастернака.

На долю улицы Базарной пришлось несколько переименований. В 1830-1860-е ее называли Старобазарной. С 1923 по 1928 – улицей Раковского в честь государственного и дипломатического деятеля болгарина Христиана Георгиевича Раковского (1873-1941). Шесть лет улица побыла Кооперативной, пока в 1934 не получила имя С.М. Кирова. В годы оккупации улице временно восстановили исконное название Базарной, вернув имя Кирова в 1944 – и до 1995.

Несмотря на то, что этимология топонима Базарная известна не всем одесситам, покупающим продукты и всевозможные товары как на Привозе, Новом и Староконном рынках, так и на более молодых Черемушкинском, Южном, Киевском, Северном, легендарном Седьмом километре и строительном Малиновском, многие из них не «ходят на рынок», а «делают базар», даже если приносят домой продукты из магазинов и супермаркетов.

Проза

- 78** **Вадим Ярмолинец**
Макумба
- 92** **Владимир Каткевич**
Замена
- 104** **Катя Капович**
Американские истории
- 120** **Леонид Лейдерман**
Кеша хороший мальчик

Вадим Ярмолинец

Макумба

В Америке сфера для приложения творческих сил Шурика Пастернака только расширилась. Он быстро встал на ноги, обзаведясь карточкой «Американ-экспресса», которую ему изготовил один наш пенсионер с Брайтона – человек с золотыми руками и такой же золотой головой. Бывало, постучав себя осторожно по ней одним пальцем, словно остерегаясь потревожить кого-то, жившего в ней, он произносил многозначительно: «Аидыше копф!». Чтобы не привлекать к этому персонажу лишнего внимания, назовем его Нолик.

Пользуясь этой карточкой, Шурик покупал стильные итальянские гарнитуры в мебельных Южного Бруклина, сбывая их с грузовиков на провинциальных барахолках, которые за всю свою историю не видели такой роскоши по таким доступным ценам.

К тому времени, когда карточка исчерпала свой потенциал, Шурик уже был мастером нарасхват по постановке автомобильных аварий, которые кормили небольшую армию бруклинских юристов и невропатологов. За него с равным усердием молились в синагогах и католических храмах, а о его таланте ходили легенды, которые в конечном итоге добрались до офиса бруклинской окружной прокуратуры.

В одно тихое летнее утро за ним приехала группа захвата в черном, застав в брайтонской квартире, где он жил, лишь его бедных родителей. Растрепанные со сна старики в пижамах стояли перед автоматчиками и растерянно повторяли: «Алекс?» и «Я не знаю...». Они были похожи на двух воробышков, выросших рядом с клеткой, где обитал попугай: «Алекс?» – «Я не знаю...». Они никогда ничего не знали – этому их научила жизнь.

Спустя полгода мама беглеца получила открытку в три слова: «Мама, не волнуйся». На почтовом штемпеле значилось: «Рио-де-Жанейро».

На самом же деле бедной Ноне Матвеевне Пастернак только и надо было начинать волноваться – ее предприимчивый сын подпал под влияние сил куда более грозных, чем ФБР. Да и сам Шурик еще плохо представлял, что его подстерегает в новой стране.

Первым его бизнесом в Бразилии стал туристический. Раз в неделю он собирал по гостиницам группу американских туристов, обещая им экскурсию с ритуальными танцами индейцев Амазонки возле развалин испанской крепости и романтический ужин под луной. На тридцатом километре от Рио, возле мотеля «Агава-Эксельсиор», он отправлял туристов освежиться и делил собранные деньги с водителем автобуса. Когда туристы возвращались, водитель докладывал им, что гида и деньги похитили бандиты из соседней фавелы, и после небольшого скандала развезил их по гостиницам. Одно время сообщники использовали липового полицейского, который составлял рапорт о случившемся и записывал адреса пострадавших, чтобы дать им знать о ходе расследования, но потом решили, что это неоправданный расход. Экономия позволила Шурику обзавестись белым «Ягуаром» с открытым верхом, красной кожей сидений и отделкой из ценных пород дерева.

Появление в его жизни роскошного авто совпало со встречей с девятнадцатилетней Сандрой Майбидой. Она жила на Авениде Атлантика в уважаемом «Апрайа-Фламенко», и скоро он перебрался туда. Я не знаю, понравилась бы эта Сандра Ноне Матвеевне, – скорее нет, чем да. Весь опыт жизни Ноны Матвеевны научил ее ценить в вещах и людях то, что зовется неброскостью. Сандра была антиподом ее идеала, но и сам Шурик был антиподом родной мамы со своими автомашинами, подругами, часами, шампанским и еще миллионом вещей, которые заставляли его постоянно думать об увеличении, как это называется, хлопа с его незатейливых операций.

Устроившись с пахучей сигарильей и бокалом «Монтильи Бранко» на веранде бильярдной «Нитрой», что на Барато Рибейру, он прислушивался и приглядывался к происходящему в новом для него мире. Возникавшие в его поле зрения типы открывали

перед ним его невероятные возможности. Они таинственно мерцали перед ним, обещая неслыханное благополучие. Перемещаясь за карточный стол, где он сшибал копейку на мелкие расходы, Шурик терпеливо выжидал возможности сорвать настоящий куш. В этом шумном табачном чаду он подхватил и выносил идею создания своей судоходной компании. За месяц своего существования она собрала несколько десятков контейнеров для отправки за океан, а затем исчезла с лица земли и поверхности вод вместе с деньгами, контейнерами, моряками и сухогрузом, бороздившим мировой океан под флагом самопровозглашенной Приднестровской Республики.

Шурик блаженствовал. Другие вкалывали год, чтобы провести неделю на берегу лазурного океана, а он жил на этом берегу с женщиной ослепительной красоты. Время, как казалось ему, притормозило и загустело, как сладкий компот из персиков, над которым кружат охочие до сахара осы.

Но, как вы знаете, самое полное счастье мужчины может быть легко разрушено самой крохотной толикой недовольства его подруги, которой, кажется, тоже не на что пожаловаться, но это только кажется. Майбида не была исключением. Человек, который пережил хотя бы одну одесскую зиму, знает разницу между превратившимся в ледяную слякоть миром и невероятными красками тропиков. Но человек, родившийся в тропиках, – я сейчас о Сандре – считает, что имеет право на большее.

И вот по этой причине Сандра Майбида хотела еще свадьбу с венчанием и оркестром, головокружительное платье, восхищенных гостей, медовый месяц в Париже, детей и, наконец, подруг, с которыми она могла бы обсуждать за чашкой кофе, чего им еще не хватает в этой жизни для самого уже полного счастья. Нет, женщины все же неисправимы. В смысле – природа неисправима.

Да, но что тогда останавливало Шурика, который нашел в ней свой идеал? Вы не поверите – что-то глубоко внутри него очень невнятно подзуживало и намекало на то, что для женитьбы ему нужен, если так можно выразиться, другой материал. Более близкий его собственному. Какой могла бы одобрить его мама, если вы понимаете, что я имею в виду. Но пока... пока он наслаждался тем, что имел, не отказываясь от подброшенных жизнью допол-

нительных бонусов. Слушайте, ему было двадцать восемь лет – что можно хотеть от человека в таком несерьезном возрасте?

Из этой сладкой полудремы его вывел ряд необыкновенных событий.

Двое дюжих полицейских безжалостно обломали ему дубинками бока в кладовке «Нитроя», где какому-то посетителю не понравились его карты. Это было совершенно невероятно, потому что бармен получал свою долю от выигрыша и должен был позаботиться о его безопасности.

Еще через неделю его обворовала проститутка, которая прибыла на смену в «Нитрой» на совершенно фантастическом розовом «Додже» постройки 50-х годов, похожем одновременно на танк и на аэростат. Подсев к ней, Шурик заказал «Дом Периньон», но, когда бармен собрался открыть бутылку, девица объявила, что всем другим напиткам предпочитает кашасу, поэтому ее кавалер может сэкономить сейчас, чтобы добавить на чай потом. Ему так понравился этот веселый прагматизм, что он потерял свою обычную бдительность, и задуманное им мероприятие сорвалось.

Дело в том, что утром, пока она спит – таким был его план, – он намеревался воспользоваться ее аэростатом для одной конфиденциальной поездки. Поездка должна была завершиться в витрине присмотренного им магазина на улице Сенадор Верейра в Копакабане. Этому номеру его научили два приятеля с Флэтбуша. Они въезжали на остроносом, как торпедный катер, «Шевроле Монте-Карло» в витрину заранее облюбованной ювелирной лавки, а сбитый ими Шурик влетал под ее прилавок. Он находился там до прибытия «скорой», которая увозила его, нагруженного ценностями, с места происшествия.

Они провели ночь в номере над баром, а поутру Шурик обнаружил исчезновение не только своей подруги, но и бумажника с полутысячей реалов, «Ролекса» и магеновида на золотой цепи.

И, наконец, кирпич. Кирпич упал рядом с ним, когда он сидел в пляжном баре на Копакабане, и падать ему было просто неоткуда. Он поднял голову и увидел парившую в голубой высоте чайку. Покачиваясь в струях тропического эфира, она висела прямо над ним, но казалось немыслимым, что птица могла доставить ему этот убийственный подарок.

Подошедший к нему официант – старый индеец, лицо которого казалось черным в тени козырька его бейсболки, сказал только: «Макумба», – и, забрав пустой бокал от пива, ушел к стойке.

Избиение в подсобке, ночная кража, кирпич – слишком мало зазоров было в череде этих событий, чтобы не обратить на это внимание. Он заказал еще пива и спросил индейца, не знает ли тот кого-то, кто может ему помочь. Индеец бросил взгляд на другие столы – посетителей было еще не много, – достал из кармана брюк небольшой полотняный мешочек и высыпал на стол перед Шуриком горстку темных кубиков. Странные это были кубики – с черепами на сторонах, головами птиц, цветами, лягушками, глазами. Кивнув на них, индеец пригласил его взять один.

Шурик взял наугад. Это был потертый от долгого употребления кубик с одним только символом – красно-коричневым сердцем.

– Муйто амор, муйто макумба, – усмехнулся индеец.

– Неужели Сандра?! – сказал изумленно Шурик.

– Тебе виднее, – пожал плечами тот.

После нескольких лет жизни в Бразилии Шурик, конечно, хорошо знал, о чем идет речь, – его заколдовали. Колдовали здесь все. Об этом говорили шепотом за дружеским столом, об этом сообщали в теленовостях, об этом рассказывали анекдоты. Голубь с отрезанной головой у входа в чей-то дом, полураздавленная пластмассовая кукла, потек крови на двери – эти приметы национального хобби попадались на глаза так часто, что рано или поздно ты переставал обращать на них внимание.

Дома Шурик первым делом открыл морозильник и, выбросив прямо на пол несколько покрытых инеем пакетов, обнаружил вмерзшую в лед лягушку с искореженной головой. Взяв нож побольше, он выковырял лягушку и одним ударом отрубил ей часть головы. Из открывшейся полости он вытащил свернутую вчетверо бумажку. Это было его фото.

От возмущения он задохнулся. Выскочив к бассейну, где загорала Сандра, он закричал:

– Дура, зачем ты мне это сделала?

Та, как будто, была готова к этому разговору.

– Хватит воровать! – выпалила она в ответ, поднимаясь с шезлонга и открывая взгляду Шурика грудь, от вида которой у него сладко заныло в низу живота.

– Ты же католичка! – сказал он уже тише. – Как ты могла сделать мне такое?

– Я посоветовалась с падре из «Саграды фамильи», – успокоила его Сандра. – Он мне все объяснил: если я хочу иметь нормальную семью, нормального мужа, нормальных детей, то один раз можно. Бог простит!

– Что значит нормального мужа? – не понял Шурик

– Честного! Ясно?

– Она хочет честного! Ты же первая пошлешь меня к лешему, если у меня не будет денег!

– Все, что мне надо, это колечко вот тут вот, – она показала ему безымянный палец. – И кое-кого вот здесь! – она похлопала себя по животу.

– Блин! – сказал Шурик. – У меня такое впечатление, что я не в Рио-де-Жанейро, а в Орехово-Зуеве.

– Что?

– Ничего, до свидания!

Когда она попыталась отобрать у него чемодан, который он набивал своими вещами, Шурик отбросил ее на постель, и когда она упала на нее, он увидел такое неподдельное выражение испуга и обиды на ее лице, что тут же понял, что совершил нечто совершенно непростительное, и исправить это можно только одним способом – обнять ее, прижать к себе и не отпускать до тех пор, пока эта страшная секунда не будет забыта. Но – куда там, его уже было не остановить!

Ушел Шурик недалеко – к барменше из того же «Нитроя» Беате Мазовецкой, которую с небольшой натяжкой можно было назвать кобетой на выданье. Она только что схоронила мужа. Потеряв работу на стройке, ее Вацек днем сидел на балконе их квартиры, а ночью колотил вернувшуюся с работы жену. Однажды Беата, по горло сытая этими побоями, переночевала на бильярдном столе, а когда зашла домой переодеться, Вацек висел в гостиной на вентиляторе. Полька перекрестилась и стала подыскивать самоубийце замену.

К Беате, встречавшей Шурика призывными взглядами всякий раз, когда он появлялся в биллиардной, он вошел как к себе домой. Да-а, это, конечно, была не солнечная фазенда на Авениде Атлантика, это скорее напоминало Брайтон. Но энтузиазм хозяйки должен был компенсировать недостатки интерьера ее жилья. «Коханый! Зачекалася!» – захлопотала Беата, которая от свалившегося на нее счастья не знала, куда раньше бежать – накрывать стол или стелить постель.

Шурик не хотел ни еды, ни любви. Бросив чемоданы, он помчался на Капакабану. К вечеру знакомый бар с сине-белыми полосатыми зонтами был забит до отказа, посетители, перекрикивая друг друга, болтали о своем, бессмертная Аструд в тяжелом бите очередного ремикса рассказывала о вызывающей у всего мира охи и ахи девушке из Ипанемы. Заказав пива, он устроился на перилах пляжной платформы напротив стойки, высматривая индейца, но того не было. Допив пиво, он с тяжелым сердцем поехал к Беате.

Могла ли пани Мазовецкая заменить ему его Сандру? Знаете, при всей нашей симпатии к смуглокожей бразильянке мы должны признать, что в свои двадцать пять Беата была очень даже ничего себе, а то, что она была блондинкой с белоснежной кожей, придавало их созревающему на глазах роману свою новизну.

Но плану Шурика и Беаты не суждено было сбыться. Не успели они слиться в страстных объятиях, как в окно постучали. А если точнее, то просто даже шарахнули со всего размаху по закрытой ставне, да так, что сердце остановилось. Через минуту дом наполнился дикими воплями Беаты: «Вацек! Вацек! Цо ты тут робишь?!».

Шурик подошел к окну и увидел в нем восставшего из могильного праха покойного мужа своей новой подруги. Тот стоял на протянутом через улицу телевизионном кабеле, балансируя железной трубой в руках.

– Беата, – сказал со вздохом Шурик. – Ты не волнуйся, это моя подруга макумбу пристраивает. Это не твой Вацек. Это только кажется.

– То ты хочешь сказать, что я много выпила? – от ужаса Беата стучала зубами.

Он насилу уговорил польку лечь, но Вацеку это не понравилось, и он снова трахнул по ставне трубой. В конечном итоге Шурику пришлось ночевать на кресле, которое Беата, не перестававшая причитать: «Давно пора било в Полонью уехать с той сратой Бразилии!» – выставила ему в кухню.

Когда рассвело, Шурик собрал чемодан и тихо прикрыл за собой дверь. Беата не провожала его. У парадного ее дома он поставил чемодан у ног, достал сигареты и, закуривая, услышал нарастающий и как будто приближающийся к нему треск. Подняв голову, он увидел неторопливо клонящийся к нему кипарис.

Он провел в больнице неделю. Ночью перед выпиской в окно его палаты постучали. Он сразу узнал этот стук. Самоубийца, которого, видимо, не радовала возложенная на него миссия, сказал через стекло:

– Пан Шурик, ваша пани Сандра не дает мне покоя. Она кажет, что желает вас видеть.

Вацек, который в ином мире явно записался в воздушные акробаты, стоял теперь на перилах балкона, боком к нему, и снова балансируя той же железной трубой.

– А до пани Беаточки не ходи. Лады?

Шурик не поехал ни к Майбиде, ни к Беате. Прямым ходом он махнул в аэропорт, и уже на следующее утро Нона Матвеевна кормила его домашними котлетами из органической курочки.

Майбида позвонила к обеду. Шурик включил на телефонном аппарате спикер и подавленно слушал, как его разъяренная подружка клялась всем своим сатанинским пантеоном устроить семейству Пастернаков черную жизнь. Нона Матвеевна стояла у телефона и исполняла свою коронную арию: «Алекс? Я не знаю...». «Я не знаю...» «Алекс?» Майбида несла свое, реагируя на робкий голос Ноны Матвеевны, как реагируют на треск помех в слуховой трубке.

Ночью Шурику приснился страшный сон. Омытая голубым сиянием луны женщина нежно целовалась с прильнувшим к ней гусем. Будь у моего героя другое образование, он мог бы вспомнить сюжет о Зевсе и Леде, но увиденное не вызвало у него никаких культурных ассоциаций. Между тем к видеоряду прибавился звук – глухой рокот невидимых барабанов. Женщина оторвалась наконец от гуся, а тот, вытягивая шею, стал следовать за змеиными

движениями ее рук. Потанцевав так, гусь положил голову на плоский, как надгробие, камень у ног женщины, та же достала мачете и, примерившись, отмахнула гусю голову. Собрав в ладони бьющую фонтаном черную кровь, она опустила в нее лицо, а гусь как ни в чем не бывало поднялся, отряхнулся и повел шеей вокруг так, словно на конце ее был глаз, и он теперь желал узнать, что происходит вокруг. Следуя за его движением, Шурик теперь увидел, что находится на кладбище. Гусь же махнул ему рукой, в смысле – крылом, и заковылял в направлении стоящего над могилами оранжевого зарева. Не веря разворачивающейся перед ним картине, Шурик двинулся за своим странным проводником. Скоро им открылось стоявшее на четырех надгробиях кривоногое кресло с высокой спинкой, скрывавшей сидевшего в нем.

– Это дир-ректор-р кр-рядбища! – крикнула из-под ног отрубленная гусиная голова.

Приблизившись к креслу, гусь остановился и, сделав почтительный поклон, то есть, отставив лапку и любезно развернув к земле одно крыло, с сухим хлопком взорвался. Когда перья, качаясь из стороны в сторону, осели, Шурик увидел окровавленное лицо Сандры Майбиды. Она громко расхохоталась и, ударив себя по внутреннему сгибу локтя ребром ладони, сказала зло:

– Вот ты от меня уйдешь!

Шурик проснулся в холодном поту с бешено бьющим сердцем. Он подошел к окну и стал свидетелем удивительного природного феномена. Брайтонский променад с его ресторанами, велосипедистами, бегунами, собачниками, шахматистами, доминошниками и собирающими пустые банки мексиканцами был залит ярким летним солнцем, а над их выходившим одной стороной на океан, а другой – на Седьмую стрит домом висела черная грозовая туча. Сквозь толстые, как канаты, струи дождя время от времени прорастал с сухим треском электрический корень молнии.

Родители куда-то собирались, тихо споря, брать ли им зонтик.

– Вы куда? – спросил Шурик.

– К врачу, – сказал отец слабым голосом.

– После того как я поговорила с твоей подругой, – сказала Нона Матвеевна, – у меня такое чувство, как будто кто-то держит меня за сердце, – она показала рукой, – вот так взял и держит.

Через неделю непрекращающегося дождя Шурик вышел на улицу за газетой. На страницах, где рекламировались экстрасенсы, народные целители и гадалки, он нашел алтайскую шаманку бабу Нину и созвонился с ней. Он, как говорится, решил вышибать клин клином. Бразильский – алтайским.

За день до встречи он испытал еще одно потрясение. Стоя под душем, он обнаружил на левом плече зеленовато-серое пятно, какие он раз видел на трупе бездомного, пролежавшего с неделей под настилом набережной на Трокадеро. От ужаса Шурик испытал такую слабость, что сел на край ванны. На следующее утро, только открыв глаза, он увидел двух тараканов, деловито разгуливавших по разросшемуся пятну на плече, так, словно они прикидывали размеры новой жилплощади. Он вскочил с воплем, сбросив их с себя, и они вдруг полетели, треща рыжими крыльями, и упали за постель.

Шаманка, поведив вокруг него руками, сказала:

– Заколдовала тебя, милай, подружка твоя, да крепко-то ка-ак! Давно я такой любви не видывала. Тут травы нужны особые, а лучше даже и кровь пустить.

– Кому? – не понял Шурик.

– Ну, может, петушку молодому, чи даже поросеночку. Потому как у поросеночка уже и душа вроде есть. С душою-то оно и по-сильнее будет.

– А с пятнами что делать?

– Я же и говорю, с пятнами это поросеночек нужен. Ты, милай, как бы уже умер. Вокруг живого человека всегда такая упругая жисть еся. Ты ее руками тудю, а она тебя от себя как бы это отталкивает. А я вокруг тебя руками вожу, а там пусто, – баба Нина поводила возле него руками и покачала головой. – Ты знаешь чего, милай, смерть – она холодная, так ты свои пятнышки попробуй кипяточком обдать.

– Какие пятнышки? – простонал Шурик. – Ты посмотри, у меня все плечо зеленое!

– Так я ж и говорю, что случай тяжелый, вот я тебя и успокаиваю. А то, что оно у тебя аж подмышку залезло, так это я вижу.

Оставив бабе Нине двести долларов на поросенка и травы, Шурик поплелся домой. Там по-прежнему лил дождь. С трудом

сташив с себя липнущую к телу одежду, он сразу забрался под душ, медленно доведя воду до такой температуры, что едва выдерживал ее. Через час, задыхаясь, он выбрался из ванной и пошел к зеркалу. Пятно побледнело.

Через неделю позвонила баба Нина. Травы прибыли.

– А что, пятнышки-то сошли от кипяточку? – как будто вспомнила она.

– Уменьшились.

– Ну, я ж тебе и говорю: смерть – она от горячего отступается. Тебе бы солнца побольше – еще бы сильнее помогло.

В назначенный час Шурик позвонил в дверь знахарки, но никто не ответил. Он позвонил еще несколько раз, и тогда соседняя дверь приотворилась, и мужской голос, показавшийся ему знакомым, сообщил ему, что пани Нину арестовали.

– А за что?!

– Пани – аферистка, – было ему ответом.

Глаза Шурика привыкли к полумраку в проеме, и он наконец рассмотрел говорившего с ним.

– Вацек?! – остолбенело сказал он.

– Я, – вздохнул тот. – Пани Сандра просила меня передать пану, что она там чекаец на вас.

Сгоряча Шурик чуть было не вернулся на родину. Затем прикинул, что от Рио-де-Жанейро до Брайтон-Бич ненамного дальше, чем от Рио-де-Жанейро до Одессы. А все эти Вацеки, обезглавленные гуси, директора кладбищ и прочая чертовщина Сандры Майбиды не знали никаких пределов, видимо, отражая этим фактом силу ее чувства к нему. И не алтайской знахарке с Брайтон-Бич было тягаться с бразильскими макумбейро. Нет, Шурику тоже нужен был макумбейро, но только еще более высокого класса. Самого высокого. Такого, чтобы поднять тех всеильных духов, которые, по рассказам, обитали в самых темных морских пучинах, в самых вязких болотных топях, в самых глубоких нефтяных скважинах, и от которых спаса не было уже никому.

Когда Шурик с больной головой и обваренной кожей зашел проститься с родителями, отец вдруг дрогнувшим голосом сказал:

– Сынок, маме так плохо, я не знаю... У меня сахар скачет, как сумасшедший... Может, останешься?

– Папа, – ответил ему Шурик. – Когда я уеду, вы оживете.

В Рио он бросился в тот же прибрежный бар с полосатыми зонтиками и – о чудо! – застал там старого индейца. Тот стоял у стойки, протирая бокалы и подвешивая их в сушилку над головой.

– Ола! – он сразу узнал устроившегося напротив него Шурика и добавил: – Муйто амор, муйто макумба.

– Муйто-муйто, – согласился Шурик. Времени на лишние разговоры у него не было, поэтому он, как говорится, взял быка за рога:

– Папай, ты возьмешься за это дело?

Индеец покачал головой.

– Ее макумбейро из Бахии. Сильнее тамошних колдунов нет.

– Что же мне делать, папай? Она же меня доконает.

– Езжай в Бахию.

Не стану описывать в деталях дальнейшие странствия истерзанного Пастернака, его метания по сельским базарам южной провинции, встречи, о которых не хочется теперь вспоминать ни ему, ни мне. Переходим сразу к моменту, когда он направляется к старцу, чье имя я даже не берусь воспроизвести, потому что и это может иметь свои последствия. Сперва путешественник задыхается в раскаленном вагоне поезда, потом истекает потом в забитом крестьянами и назойливыми мухами автобусе, затем он плывет по сумрачным протокам Амазонки. Наконец нос лодки с шорохом выезжает на песок, и стоптанный ботинок швейцарской фирмы «Бали» ступает на дикий берег. Даже нет – не берег, а брег – песчаный и пустой. Так-то оно точнее описывает сказочное пространство, в которое все глубже и глубже погружается этот сюжет.

Стоя среди пронизанной солнцем зелени и оглушительного птичьего гама, Шурик наблюдал, как к нему неторопливо приближается группа темнокожих детей с надеждой на подарки в глазах – конфеты или жевательную резинку. У него не было подарков. У него были последние две с половиной тысячи реалов, зашитые отдельными пачками в плечах пиджака и поясе брюк.

Высушенный временем и черный, как кусок дерева, старик дремал в гамаке, свесив к земле увитую взбухшими венами ногу. Он наблюдал за приближением визитера из-под едва приоткрытых век и, когда тот подошел, приподнял руку, давая понять, что

видит его. Помолчали. Потом произнес стократно слышанное: «Муйто макумба. Муйто, муйто».

– Так что мы будем делать, папай? – спросил визитер, закуривая.

Колдун вздохнул и стал неторопливо рассказывать, что нужно позвать танцоров из соседней деревни и каждому пошить новый костюм. Потому что, если наденешь старый, духи воспримут это как неуважение и рассердятся еще больше. Много жертв надо, много крови. Хороший подарок надо.

– Та женщина, – продолжал колдун, поднимая палец, – так просто не успокоится. Она снова сделает макумбу. Поэтому нам надо сразу дать духам столько, чтобы ее подарки были меньше. Тогда духи рассердятся на нее.

– Сколько это будет стоить, папай?

– Инфляция – страшная вещь, – начал папай издалека. – Все, что лежало в банке, президент, будь он проклят с женой и любовницами, украл за день. А у меня два сына и дочь. И все колдунами быть не могут. Это – дар. Одного я на врача выучил, – он стал загибать пальцы. – Второго – на адвоката. Дочь за американца вышла, какой-то лузер из Пенсильвании, на что живет – непонятно. А все стоит денег. Хороший костюм – это реалов триста-четырееста. Еще танцовщиков надо человек двадцать. И каждому надо дать за вечер хотя бы реалов двадцать пять. Чтобы танцевали с чувством, а не валяли дурака. Короче говоря, меньше чем за десять тысяч даже не стоит браться. Ну и подарок. Что это у тебя за часы?

– «Патэк-Филипп».

– Золотые?

Шурик рассмеялся. Нет, этот дикарь совсем не был похож на первобытное существо, перед которым могли еще быть приоткрыты двери потустороннего мира. Один сын – врач, другой – юрист, костюмы по четыреста реалов, вокалисты по двадцать пять. Нет, это был опытный руководитель местной самостоятельности, и его организационные и артистические умения мало отличались от тех, которыми располагал его визитер. Более того, он мог открыть точно такой же бизнес с конкурентными ценами, подвесив гамак под соседним деревом.

Эта мысль заставила Шурика снова засмеяться, и смех словно приоткрыл в нем какой-то невидимый клапан, через который

в него влилось как-то незаметно потерянное им ироническое отношение к жизни.

Он вдруг расслабился, впервые за очень долгое время ощутив горьковатую сладость табака. Вдыхая ароматный дымок, он увидел в событиях последних месяцев водевиль, действующие лица которого: бразильская красавица, алтайская шаманка, польский покойник и этот деловой старикан – разыгрывали сюжет, неуклонно катившийся к своей счастливой развязке.

Шурик снова засмеялся.

– В чем дело? – насторожился колдун.

– Папай, всю жизнь я рассказывал людям сказки, после чего они оставляли мне свои деньги. Впервые за сказку должен заплатить я.

– Что значит сказки?! – сказал старик, почесывая плечи сложенными на груди руками. – Если ты не послушаешь меня, она в конце концов тебя окрутит. Поверь мне. Она дала взятку знаешь кому?

– Директору кладбища.

– Правильно! А мы должны дать взятку любовнице директора кладбища. Ты меня понял?

Шурик сбил пепел на песок.

– Папай, знаешь, я вдруг подумал, что эта подруга – Сандра Майбида – была не самой худшей женщиной в моей жизни. Более того, я вдруг заскучал по ней. Честно. Чем сидеть сейчас в этих дебрях и прикидывать, где взять десять тысяч реалов, я мог бы лежать с ней в кабане возле бассейна и пить джин с тоником.

– Так я же тебе сразу сказал, что она возьмет тебя, – вздохнул колдун. – Теперь ты видишь, что я не какой-нибудь аферист? За такое предсказание я беру недорого – четыреста реалов.

– Двести, – сказал Пастернак.

– Давай, – махнул рукой колдун.

Шурик достал из пояса деньги, отсчитал перед лицом у старика четыре купюры по пятьдесят реалов и, привычно сломав половину, протянул ему остаток.

США

Владимир Каткевич

Замена

Рассказ

«Незаменимых людей нет, а вот незаменимых мы будем выкорчевывать».

Помполит Тупиков (Бетховен)

1.

Когда Дитя Войны выгнали с «Борея», он временно работал на «Ромашке», тихоходе 29-го года постройки. «Ромашка» («Герои Заполярья») регулярно каждые двадцать три дня приходила в Александрию с грузом жира-смальца для каирской парфюмерной фирмы: как известно, свой свиной жир исламские государства не производят. Назад из Алекса на Одессу везли пять трюмов рома «Негро», «Мишель», еще «Арабский бренди» и тонизирующую настойку «Абу-Симбел» с изображением Рамзеса Второго. Почему и «Ромашка» – так грузо-пассажирский пароход обозначали одесские грузчики. В Варне еще добирали попутный груз, баклажанную икру. Грузчиков в Одессе из трюмов извлекали грузовой сеткой. Когда в продажу выбрасывали ром «Негро», в городе останавливались заводы.

Рамзес Второй был изображен на этикетке в виде рассеянного грифона. Тридцатиградусную «Абу-Симбел», настоящую якобы на травах пустыни, пользовали судовые дамы. Хотя откуда в пустыне целебные травы? Накатят стопку и делятся, как им «Абу» помогает. Если колет где. Или пучит. Или прострел. Потом поют.

– Девочки, давайте что-нибудь Гуслина Енгибарова! – предлагает бельевая хозяйка.

На подходе к Александрии пробирались вдоль мола, на котором в сизой дымке щетинились зенитные батареи. Разгон волны

там впечатляющий, батарейцев окатывало, на стволах орудий сушилась постируха.

Блоки брекватера были разукрашены морскими пришельцами. Кто-то здесь стоял или швартовался, чтобы замерять глубины фут-штоком. И написали: «ДМБ-68 Ляма, Орехово-Зуево». Одну букву исправили, чтоб ступенчатое «Орехово-...уево» звучало смешнее. Эти условно-загадочные, как предчувствия, граффити-аббревиатуры предназначались, конечно, не для местных, но военные проговорились, что малевали по просьбе самих египтян. Им так спокойнее. Когда израильские русскоязычные водолазы читают, они не так хулиганят.

Пока «Ромашка» чертила известные лоцману зигзаги, рыскала в акватории порта, преодолевая самое большое зеркало Средиземноморского бассейна, ромашковцы наблюдали очередь на рейде у элеватора. Из сухогрузов разных пароходств, латвийского москитного, архангельского лесного и других, вплоть до камчатского. Пестро загаженные голубями суда маялись на бочках. Надстройки пароходов пробовали окатывать забортной водой, но она была агрессивно соленой, разъедала царапины на руках, соль припорошивала палубе. Кстати, деревянный настил в соли не так пропадает. Потом привыкали, ленились и драили только трубу с красной полосой. Для демонстрации полосы. Корпуса же в отстое обрастали моллюсками интенсивнее, чем в ходу, и тихо мохнатились. Самое удивительное, что вялились в очереди... чтобы помочь слаборазвивающимся (!). Это была трогательно безалаберная, почти родная ловушка.

Плавсредства в очередюге теснились в беспорядке. Если ветер морщил это болото, зашибавшее одесской канализацией, присвистывая в лесе мачт и рангоутов, то хороводил пароходы вокруг швартовых бочек, и беспорядок только усугублялся. Через пароходную давку приходилось протискиваться вплотную к фальшбортам. «Заслуженную-простуженную» (и в Арктике, и в Антарктике) «Ромашку» («Герои Заполярья») узнавали. Удивлялись, что еще на ходу. При виде навигационно опасного тихохода, замаранного до гафеля коричневым жиром, брезгливо сторонились. На судах палубным командам объявляли аврал. Там, где ленились, благословляли боцмана и электрика на бак.

– Когда уже «Герои Зазеркалья» наплаваются?! – ворчали с судов, выражая недовольство судовой обстановкой и жизнью в целом.

– Пароход с иголки! – издевались. – На иголки должны были их порезать, а они соскочили.

Дитя Войны запомнил один сухогруз, универсал последнего поколения, «Мценск». «Мценску» даже не нашлось места в паровой очереди, он стоял сбоку припеку лишенцем и всем мешал. Заждавшийся экипаж обычно кучковался на юте. Каждый рейс «Ромашка» везла кого-то на замену команды «Мценска». Скупыми порциями, летом, в период отпускной страды, кадры переживают острый недостаток плавсостава. И дефицит соображения.

– Двух мотористов приве...? – спрашивали с «Мценска». В этот момент по-звериному, как от боли, вскрикивала подлодка, торопили барку забрать команду на берег. В Алексе служат с утра до пяти, такая у парней боеготовность. В пять разбегаются по дувалам. Подлодка, конечно, бывшая наша, а распорядок уже восточнее.

Как-то привезли на замену не двух, а сразу четырех шульцев-моторменов. Почему кадры отреагировали так размашисто? Возможно, переборщили из-за формализма, одушевленный довесок случается, когда служебное рвение проявляют сразу несколько инспекторов. У каждого своя группа судов, своя головная боль и кадровые заначки. Иногда несогласованность бывает умышленной, чтобы послать человека к черту на кулички, где он лишней. И доложить об исполнении маневра кадрами. А потом, когда по рукам вломят, скрутить козью морду и изобразить исполнителю недоумение. Ну хорошо, если пароход привязался на двадцатом причале Старо-Крымской, откуда добираться до кадров пару остановок троллейбусом. Обычно при кадровой чехарде поднимают на ноги влиятельных знакомых, всю группу поддержки, мазу, как говорится. Кадры кое-как кособоко выходят из положения. Или обещают перековаться.

– Радиста привезли? – спрашивают с юта «Мценска». – А подшкипера?

– Выдвинете достойного из своих рядов, – изголяются с «Ромашки».

И тут аккурат всплеск, вспучивание воды, барботаж со дна, шипение бульб. Канализацией зашибает забористее. Не слышно ни хрена, кого привезли, а кого кадры макнули. Конец мизансцены в сероводородном удушье. Чихают умышленно громко с неприличным окончанием.

По акватории тарактит полицейская мотофелюга, констебль каждые две-три минуты поджигает от сигареты бикфордов хвост взрывпакета и лениво швыряет через плечо в воду. Вонючка взрывается на глубине. Чтобы от ударной волны водолазам-диверсантам стало хорошо.

– А электрика привезли? – умоляет уже с расстояния заждавшийся горемыка с «Мценска». – Вместо Ценного, – представляется. Это у него такая хвастливая фамилия – Ценный. Почти артистический псевдоним солиста театра «Ромэн». Может, он действительно ценный кадр, никто не спорит. «Очи черные» выдает со слезой, потому капитан и маринует. Он истошно орет, заходится, а «Ромашка»-то движется себе, одышечно чапает с креном, инвалид моря, после ремонта вместо двух гребных винтов один только раздобыли на свалке. И тот левого шага. Труба-макарона яхты короля Фаруха промелькнула, чайки горланят оглашенно. Где там услышать сквозь какофонию шумов и плесков гигантского порта? Ушла. Да и не предусмотрено для электрика утешительности, чтоб осчастливить в ответ. Однако с «Ромашки» обнадеживают:

– Еще везу-ут!

Потеха.

Потеха, но не для отпускника. Едва не повредившийся умом наэлектризованный электрик, сидящий на чемоданах, хватается за голову – банальный театральный жест, и убегает со сцены театра «Ромэн». Куда? Короткое замыкание в профголове, «казз»? За борт сиганул? Это чревато, можно от гранаты получить неприятности.

Со временем, как и в любой очереди, обозначились проворные капитаны, которые, используя связи, добивались через министерство преференций и просачивались к причалу без очереди. Как моряки заграничания к кассе кинотеатра имени Фрунзе. Залепуху наплетут, что, дескать, в голодающей стране хлеб ждут не дождутся. В каком-то захоластном Лимпопо. А Армагеддончик

с соориентацией – вот он, рядом. Причалы в руинах, запустение, гуманитарная катастрофа в кабельтове. Из полуобрезных досок наши рогатые городят в трюмах щиты для крепления сыпучего груза, а потом, естественно, выбрасывают. А местные бомжи раньше времени их воруют, дерутся из-за дармовых обзеловых щепок.

На развалках хрюкают бездомные. Жуют подобранные зерна, как голуби.

Грузовик с кузовом без бортов, как для похорон, возит мешки с мукой. На повороте останавливается. Будто для раздумья: *«На-лево пойдешь – в разруху попадешь...»*. Босоногий подросток спрыгивает с кузова и... руками поворачивает колеса. У грузовика нет кабины и колонки руля! Во как!

А капитан «Мценска» тоже новичок, присланный на замену. И ему, нештатному временщику, напополам. «Валюта потихоньку капает, и ладно». Он не станет жаловаться на опередившего нахала с тремя шевронами и галуном, боится испортить отношения с кормчими пароходства – выдвигенец. Произвол на высшем уровне. Вот почему очередь увеличивается. В другую сторону.

А «Мценск» все околачивается на том же якорном месте, он стал деталью неприглядного пейзажа. Вода зашибает известно чем. Спертая жарница давит. Она не так донимает в ходу, а на стоянке мука, на настиле палубы можно яичницу шкварить. Если не стошнит. С берега навещают кусочие изумрудные слепни. Попривыкали крыльями раздвигать шерсть у верблюдов-дромадеров. А что им прическа-полубокс? Команда шлепалками их плющит. Итоговый счет вахта записывает на доске объявлений у трапа. С темнотой активизируются летучие мыши. Размах крыльев у перепончатых полтора метра. Не уступят беспилотникам. Полеты во сне и наяву. Их вахта пугает фальшфейерами, но грандмыши – как привязанные: отлетят для вида – и назад к спардеку липнут, неравная борьба продолжается в круглосуточном режиме.

– Спортивно-оздоровительный концлагерь, – съязвил токарь.

Помполит за черный юмор наказал провокатора неувольнением на берег. А чего точила там потерял? Все равно цветной металл и подшипники команда поменяла на стереооткрытки, где девки подмигивают.

Каждый раз Ценный ждал, надеялся, что, наконец, пришлют. Когда рак свистнет, может, и пришлют. Кто саботировал ротацию? Это неважно. В таких ситуациях инспекторы, тасующие судьбы в колоде личных дел, укатывают неубедительно, но заманчиво. Могут невинно вяленным пообещать приемку нового парохода в Японии. Невнятно.

Так Ценный маялся месяца три, произносил мысленно обличительные монологи в адрес кадров.

Но самая изощренная пытка, когда товарищи уезжают, а ты остаешься. Палубным пугалом для летучих мышей. За время стоянки почти вся команда заменилась, ему не о чем с новыми базарить, он уже чужак, у них новости, впечатления, виды на мохер, а он отстал от жизни. Ценный все надеялся, сокрушался, терпение было на исходе. Терпение электрика лопнуло, когда через четыре месяца стали возвращаться из отпусков товарищи. Они успели отдохнуть, некоторые развестись, а он все маялся. Как заговоренный.

Последний раз «Ромашка» пришла, а одичавшего бедолаги нет. Удавился или за борт шмыгнул?

2

Вскоре Дитя Войны, как и обещали, отозвали в кадры, он на «Героях Заполярья» околачивался временно. От резерва. Чтоб не красить жирафов в пароходском детсадишке. В отделе кадров увидел Ценного. Тот посвежел, постригся, шерсть на голове подкрасил хной и топтался в очереди (снова в очереди), но на этот раз не пароходной, а человеческой. К инспектору, курировавшему универсал последнего поколения серии «М» – «Мценск» называется (!). Этот неумный, как ни в чем не бывало, снова ломился на «Мценск»! Но он еще в Александрии достал кадровиков по радио, и потому его игнорировали. В кабинет просачивались без очереди. Он снова был на грани отчаяния. Спустился в подвал, который плавсостав обозначал «Депонентом», разбавленного пива хлебнуть из баночки. А там снова без очереди прут, покомандно.

Ценный пробился-таки на свой пароход, продемонстрировал недюжинную волю. Потакая собственному безволию. Так ему и надо.

Такая привязанность к опостылевшей казенной, не принадлежащей тебе клетке свойственна больше приматам. В замене есть что-то животное, как будто горностае выкуривают. А животное привыкло к стесненности. Жизни и помыслов. Или к полному отсутствию несбыточных надежд и мыслей. Был такой фильм, «Утраченные грезы». Животное не знает другой жизни. Животному на воле тревожно. Впрочем, грех зубоскалить, тем более осуждать.

«Нет, назад дороги нет, – подумал Дитя Войны, – надо на паромы, только на паромы, там совсем другое качество жизни». К инспектору, отправлявшему на заложенные в Финляндии паромы, очередь была, как на Степовой за мандаринами перед Новым годом. Публика в основном салажняк после училищ или тихо блатные, кто «на лопате». Дитя занял очередь и прикинул: «До обеда не пробиться, надо где-то затумбариться, жрать охота».

Напротив по коридору слабо угадывалась другая очередь, душ пять к Ворнику, инспектору его бывшего парохода «Борей», откуда Дитя ушел со скандалом. «Толпа блатных и кучка нищих», – подумал Дитя. В очереди к Ворнику вялился пожилой машинист Жижя.

– Ты еще живой, Гуца? – обрадовался Дитя.

– Еле живой, – признался Жижя. – Я развелся...

– Значит, живой, – приободрил Дитя. Он тоже развелся, но раньше.

– За мной будешь, – сказал Жижя.

– К удаву? Снова на «Борей»? Нет, не буду. И ты не будь кроликом.

– На паромы не прорваться, – охладил Дитятын пыл Жижя.

Из двери вышел помполит «Борей» Тупиков и поздоровался. Жижя напрягся, раскланялся, как нищий на паперти, а Дитя отвернулся и подумал: «Надо же, эта сволочь туда же! В порядке живой очереди». У Дитяти к помполиту были свои претензии. «Интересно, если б я не развелся, тесть бы устроил меня на паромы?» – прикинул.

Семейная жизнь Дитяти не сложилась. Он приехал в Одессу из загадочного населенного пункта «Разъезд № 38/179» по набору, мантулил а порту помощником машиниста тепловоза,

до уровня докера не опускался. И учился помаленьку заочно в высшей мореходке. Ему не давался матанализ, как, впрочем, и многое другое.

С женой познакомился по списку. По рукам водоплавающих ходили списки дочерей высшего звена пароходства. С адресами и номерами телефонов. Дитя выбрал кандидатку с еврейскими корнями. Для надежности. Судов тогда было мало, но тесть продвинул его на блатной пароход. На пароходе Дитя Войны застрял на рядовой должности, такое бывает, монотонная работа не зажигала, не ладилась и даже опротивела, его не воспринимали всерьез, и перспективы были загоризонтные. Навязчивой идеей у Дитяти, его мейнстримом стало устроиться кандидатом в партию. А вдруг придет РДО-разнарядка по набору кандидатов с указанием количества, никак не меньше? Как в расстрельных списках-заявках. Партия сказала: «Надо», – помполит ответил: «Есть». Или вырвать ксиву. Не заслужить доверие беззаветным трудом, а вырвать рекомендацию любой ценой у помполита Тупикова. И пробиться в офицеры. Уже на другом судне. Когда развелся, каждый очередной рейс воспринимал последним. Считал, что его и списали по навету тестя. Хотя на самом деле его отбраковали как профессионально опасного (не социально), он чуть было не устроил морскую катастрофу. Перед уходом пытался шантажировать помполита Тупикова, вырвать хоть шерсти клок.

Вырывать в последний момент пресловутый клок ловчее всего у отъезжающего старшего комсостава, который может разобтвиться, дескать, твоя не моя, а может, и назло кондуктору или сменщикам, которые его подсидели, коварно всучить им такое счастье, как Дитя. Пусть помучаются с муркетом. На это Дитя и рассчитывал, по большому счету. Но рекомендацию не дали, не до него было, и Дитя Войны впервые решился оставить блатной пароход без дальнейших интриг и подковерщины. Правда, поставил встречные условия:

– Если дадите рекомендацию в ВКП(б) Ленина-Сталина, – заявил помполиту Тупикову, – то обещаю на судно не возвращаться. А не дадите, вы уже сюда – ни ногой!

Тупиков сначала ошалел, потом озадачился. Просто так не замахиваются. Этот мордоворот отнюдь не мальчик, лысеет уже.

Говорят, кандидат в мастера по боксу, может покараулить в перелуке Нахимова и покалечить. Помполит поднял личное дело. Сегодня он развелся, завтра сошелся... А тесть участник войны, обороны Одессы, лендлизовец, награжден значком «Двадцать лет безаварийной работы», говорят, ногой дверь к начальнику пароходства открывает... С плеча не стоит рубить, может лесиной расплющить, в пароходстве все блатные, сначала надо прочувствовать, у кого остолоп на лопате. Поэтому Тупиков (Бетховен, стучит, как в огненной симфонии) не спешил ставить Дитя на место. Да и своих забот хватало.

Тупиков вернулся с папкой, на обложке было крупно написано *т/х «Борей»*. С настроением прошлепал к заветному кабинету инспектора Ворника и внимательнее посмотрел на Дитя. Теперь Дитя сдержанно кивнул. Тупиков не ответил и зашел в кабинет. «Наверное, чернить меня будет Дворнику», – догадался Дитя.

Тупиков скоро выпорхнул уже без папки, его до двери почетно проводил инспектор Дворник. Дворник узнал Дитятю и похлопал по пояснице.

– Заходи-ка, ты мне как раз и нужен! – пригласил по-свойски.

– А вы меня возьмете? – спросил с сомнением Дитя.

– А почему бы и нет? Для демонстрации флага. Ты же, если не ошибаюсь, с приемки на пароходе, старожил. Как говорится, корабль – дом! – инспектор снова похлопал его по пояснице.

– Бывает, что и барак дом, – отрикошетил Дитя.

– Да, бывает. Я тоже жил в бараке. Когда учился в академии генштаба. Славно было, черемуха цвела... В окно к девкам лазали. Эхма! Пока офицерское общежитие на Фрунзенской набережной ремонтировали. Жили мы там с офицерами-пожарниками, они на курсы приехали из гарнизонов. Хорошие ребята, никакого чванства, академичности. Самая необоснованная чопорность у маргиналов, имей в виду. Ты же моторист?

– С высшим образованием, – напомнил Дитя.

– Не комплексуй! – инспектор улыбнулся золотыми коронками. – У меня две военных академии, а я с вами возякаюсь. Одна, между прочим, генерального штаба.

– Так вы генерал?

– Полковник.

– Генерал-полковник?

– Просто гвардии полковник, командир дивизии. Полетишь в Пуэнт-а-Питр на замену. Это на Гваделупе. Проявишь себя, направим на приемку нового балкера в Японию.

Через полчаса ему выдали направление снова на блатной пароход. И красивый билет «Дойчганза», на конверте была нарисована обезьяна.

Дитя спустился в «Депонент». Жижя позвал из очереди. Воду отключили и баночки не освобождали, вредничали, сосали пиво через силу. До разрыва мочевого пузыря. Разливщица их пожалела и нацедила с пеной в кульки. Дитя стал рассматривать билетный конверт с изображением обезьяны. Обезьяна была похожа на помполита Тупикова. «Такая же ехидная», – подумал Дитя.

– Похожа на Нольку Годыну из холодного буфета, – заметил Жижя. – Ты ей нравишься.

– К вам можно пришвартоваться? – спросили. К ним прибился Ценный, электрик. Тоже с пивным кульком.

– Я вас, амиго, бачил в Александрии, – Дитя оживился. Дитя рассказал, что наблюдал электрика неоднократно с борта другого парохода. – И куда нацелились на этот раз? – поинтересовался.

– На «Мценск», – сказано было как-то виновато и обреченно. – А вы с «Героев Зазеркалья»?

– На «Мценске» пора доску привинтить.

– Какую доску?

– На голову:

«Здесь, на т/х «Мценск», плавал и страдал электрик Ценный.

Патриот и старожил. Пароход сторожил...»

– Звыняйте, дядьку, один нескромный вопрос с галерки: что там, на вашем «Мценске», налажена линия контрабанды? Или, если не высокопарно, там говном намазано? Оно, конечно, выглядит гармонично: Ценный с «Мценска». Но я так и не догоняю, почему ты рвался на свободу, а тебя гнобили?

– Меня от бывшей жены инспектор спасал. Хороший мужик.

– Мужская солидарность, понимаю. То есть вялили под заказ. Так бы и сказал.

– Наверное. Кадровик – человек...

- Человечище! Хороший психолог. Бывший смершевец?
- Нет. Он в авиации служил.
- Значит, в дальней.

Он поделился. Экс-жена зарилась на жилплощадь, обложила со всех сторон, в отдел кадров ходила, как на работу, комитет плавсостава на уши поставила, расставила силки, чтобы изловить Ценного по приходу. Инспектор это скумекал и нарочно прятал Ценного за границей. Даже когда тот потерял терпение и готов был сдать, не чаял вырваться, бомбил кадры радиogramмами. А инспектор продолжал его игнорировать. И фактически спас от дрызг и судов. Жена же связалась с мужиком-куркулем, располагавшим излишками жилплощади и небольшой отарой овец, и сама отстала от Ценного.

- Теперь она нового хахалю к ногтю прижмет, - обнадежил Дитя.

Ценный летел в Коломбо. Может, в трудную минуту дефицита кадров вызвался благородно помочь кадрам своей вакантной персоной.

- Я подумал, на пароходе меня знают, я всех знаю, от добра добра не ищут! - рассуждал Ценный. - А на новый пароход придешь - там салажняк... Работать не хотят. Руки из жопы растут. Один салага шабером руку проткнул. Насквозь. Да что там шабер, не умеют шкрябку держать! Не хочу, уже нервы не те.

- Они сейчас дипломы мореходок покупают, чтоб в чистом ходить, - клеймил новую генерацию Жижю. - Плэйбой.

- Бойфрэнды, - уточнил Дитя.

- Это буквально, - согласился Ценный. - Но они дипломы не покупают, они их через цветной ксерокс пиндюрят. Мутанты!

- Я все-таки не догоняю, - снова причалил к Ценному Дитя. - А зачем тебя инспектор потом вялил, когда жинка произвела замену экипажа?

- Инспектор помер.

- Бывает.

- Хороший человек был. Попурри исполнял... На расческе. Попурри это из какой оперы?

- Из твоей. Знаешь, как называется? «Леди Макбет Мценского уезда». В главной роли Ценный. Композитор Шостакович.

– Фамилия кадровика была Звездун.

– За исцеление от звездной болезни!

Чокнулись кулками. Дитятин кулек лопнул, окатило носки, хорошо билеты не искупались. Дитя снял носки, выбросил по-дальше, чтобы не воняло, и шлепал на босу ногу. Как когда-то в Пуэнт-а-Питре. Собака подобрала носок и принесла, чтоб не пропал. Дитя купил в ларьке-батискафе гирлянду сосисок, подхарчил собаку. Пиво тянули через дырочки из Жижиной надутой тары. Собака глядела на них, зажав в пасти сосиску, как сигару. Дитя отломил у собаки кусок сигары-сосиски, зажевал и снова угостил хвостатую. Чтоб не обижалась. Жижя противно чавкал. Дитя оборудовал вторую поилку для себя. Хоть бурдюк был общим, но с персональными сосками. Как для телят.



Катя Капович

Американские истории

Друг президента Клинтона

Наш эмигрантский лойер мне говорит:

– Ты не можешь снова выйти замуж!

– Это почему же?

– Я только что просмотрел твои бумаги, ты до сих пор в браке с предыдущим мужем.

– Я развелась с ним!

– Ничего подобного!

– Клянусь!

– Клясться будешь в суде! Правую руку на Библию – и клянешься. Ты меня слушай, ты – замужняя женщина! Твой муж живет в Израиле!

– Этого не может быть. Мы с ним развелись в израильском суде перед отъездом, там мне дали бумажку.

– Вот именно что бумажку! Ты получила справку в государственном суде Израиля, что они не против вашего с мужем развода и что дело передано в раввинат. Я, в отличие от тебя, могу прочесть, что написано в документе!

Наш лойер – русский израильтянин, живущий в Америке, он знает.

– Что же мне делать?

– Надо поехать в Израиль, найти мужа, пойти с ним в раввинат и попытаться их уговорить ускорить развод.

– Но я уже десять лет живу здесь без всякого мужа, неужели мой брак все еще в силе?

– Он только сильнее стал. Как вино давно минувших дней...

Наш лойер – из Одессы. Одесситы любят цитировать поэзию в самую неожиданную минуту.

– Сколько может занять развод, если я поеду?

– Пару лет. Поживешь в стране, будешь навещать нас.

Меня поражает беззаботность, с которой лойеры говорят о жизненных сроках.

– Неужели совсем-совсем ничего нельзя сделать?

Мой голос звучит так жалостно, что лойер в замешательстве. Ничто не действует так плохо на мужчину, как плачущий женский голос. Он с самого начала не хотел заниматься нашими делами, потому что мы не можем заплатить полную сумму. Обратились мы к нему по протекции знакомого, и теперь он, наверное, локти кусает, что согласился. После длинной паузы, во время которой слышен звук перелистывания бумаг, лойер – зовут его Грегори – говорит:

– У тебя в Израиле мама живет – по документам.

Это так, мама там, она осталась, когда я уехала в Штаты, и предполагалось, что я вернусь после защиты диссертации обратно, найду работу в университете и т. д.

– И не только по документам.

– Остричь будешь потом, в тюрьме. Ты попроси маму, чтобы она похлопотала. Сейчас Трудовая партия у власти, пусть мама напишет в кнессет, попросит за тебя как гражданка страны. Это, конечно, полное безобразия!

– Я тоже так считаю!

– Безобразия, что ты не развелась!

– А-а... – говорю я разочарованно.

Насчет института брака... Считаю его бессмысленным. В нем для некоторых есть, конечно, свои приятности – наследство, дом, счет в банке... Но вред еще большему количеству людей. Он – прихоть для людей со средствами. Это то же, что иметь докторскую степень по плетению макраме. Так вот у меня по плетению макраме уже докторская степень. Я два раза была замужем, каждый раз в собственных же нитках запутывалась.

Первый раз в законном браке я была в Советском Союзе, длилось это два месяца. Как и брак, развод не был желанным – так надо было. Поженились мы с возлюбленным с целью подачи

совместных документов для выезда за границу. После этого его сразу же арестовали за хранение и распространение нелегальной литературы. Разводило нас, строго говоря, КГБ. Позвонили и сказали зайти в суд подписать свидетельство о разводе.

– А если мы откажемся? – спросила я гэбиста по телефону.

– Вы хотите навещать его в лагере?

– Нет, не хочу. То есть хочу. То есть ни в коем случае!

– Хочу, не хочу... Вы уж там определитесь... – пошутил он.

Мы определились, пришли в суд, подписали все. Через две недели он летел в самолете Москва – Рим, а я сидела на балконе в Кишиневе, пила водку, смотрела на падающий снег и размышляла, потревожу ли соседей, если сейчас перелезу через перила и полечу следом.

Второй брак был тоже вынужденный. Причина была аналогичная. Мы должны были вместе с моим вторым подать документы для выезда в Израиль, и для этого – официально состоять в браке. Мы заполнили в загсе заявления, нам назначили дату бракосочетания. Когда срок подошел, я ему сказала, что надо идти в загс расписываться. Он посмотрел на меня как на полоумную:

– Ты же видишь, что я не форме!

– Вижу.

– Что же ты хочешь?

– Хочу выйти замуж и вывезти тебя в Государство Израиль.

– Я даю тебе согласие на женитьбу, но в загс сходи без меня!

– А что? Может, так даже лучше.

– Конечно, дорогая, лучше!

Он открыл бутылку каберне и налил себе и мне.

– За нас!

Я не стала пить, потому что было только девять утра. Не в форме любимый был уже второй месяц, потому что находился в серьезном запое. В обеденный перерыв на работе я купила букет цветов и поехала в загс. Три девушки встретили меня дежурными улыбками, поздравили и спросили, когда подойдет жених.

– Он не подойдет, давайте без него! Вот паспорта!

Они весело рассмеялись. В наши загсы берут на работу таких славных девчат, ведь надо создавать иллюзию веселья хотя бы в пределах помещения. Мы постояли. Я поставила цветы в вазу. За дверью звучали голоса, там собиралась толпа для следующего бракосочетания.

– Не придет он, девочки, запил мой... Ну, вы ж поймите!

Так устроен наш народ. Наш народ не понимает слово «счастье», не поймет и слова «горе», но понимает слово «запой». Они пошептались и расписали нас с моим вторым. Через четыре месяца мы с ним улетели в Израиль, еще через два года я попала в Америку, будучи в полной уверенности, что я свободная женщина. Здесь, в Америке, начала жизнь по новой. Училась, работала, встретила родного человека. Я бы с радостью просто любила и жила с ним без всяких брачных свидетельств. Но он там находился по студенческой визе, которая уже практически истекла. Брачное свидетельство было нужно, чтобы эту визу продлить. Почему людям не верят на слово в этом мире? Кому от этого легче? Ведь лгуны всегда смогут солгать так убедительно, что нам и не снилось. Ложь выглядит гладко, правда – царапает глаз.

Мой лойер меня обнадежил: в связи с приездом Клинтона в Израиль будут всякие помилования по демократической линии. Демократическая линия заключается в том, чтобы отделить религиозный институт от государства. Я совершенно согласна с демократической линией – надо их отделить и развести меня наконец. Я позвонила маме в Израиль.

– Мама, я замужем!

– Поздравляю.

Мамин голос не звучал слишком радостно.

Когда я сказала, что все за тем же, мама захохла. Она у меня человек законопослушный. Моя мама никогда не нарушила никакого закона. Она тридцать лет возглавляла в Академии наук отдел комплектования научной литературы, имела дело с крупными суммами в валюте. Из-за моих диссидентских хождений в народ маму таскали в КГБ, поднимали документацию за много лет, искали хоть какое мелкое нарушение и – ничего не нашли. Моя мама – просто обычный честный человек. Я похожа на отца, отец – человек творческий, с огромным воображением. Отец сидел восемь лет. А мама всегда работала на одном месте, тянула лямку, растила меня. И главное – никогда не осуждала нас с отцом ни за что. Конечно, она бы хотела, чтобы я была немножечко счастливей. И немножечко обыкновенней. Потом она приняла судьбу. Мне кажется, что в какой-то момент она себе сказала: «Я сделала все, что могла.

Что есть, то есть!». Так уж мамы устроены. Мне она говорит, что в целом довольна тем, что получилось. Единственное, что мама с трудом переносит, – это бессилие. «Ну, я им покажу!» – говорит она. Она идет в раввинат, там ей объясняют, что при всем уважении они не разводят мужа с женой по требованию мамы. Мама переживает, она не может помочь мне. Она едет к моему законному мужу, и они отправляются в раввинат вместе. Опять отказ. Мама так переживает, что у нее начинается какая-то рябь в глазах. Давление или что-то еще. Сотрудники на работе говорят, чтобы она сходила к лечащему врачу. Она послушно едет в поликлинику, врач осматривает ее, слушает сердце, измеряет это самое давление три раза и, не найдя ничего по своей части, направляет к глазнику. Глазник проверяет мамино глазное дно, с ним все в порядке. И отправляет ее просто отдохнуть. Уже перед самым ее выходом он говорит: «А вы знаете, что у вас довольно редкая чувствительность зрачков? С такой чувствительностью люди обычно хорошо видят в темноте. Вы хорошо видите в темноте?». Мама хорошо видит в темноте. Она кивает и выходит за дверь. Глазник ее догоняет в коридоре. Мама удивлена, когда он просит ее зайти еще на минуточку для разговора. Они возвращаются, и глазник говорит:

– Стране очень нужны добровольцы – патрулировать город в поисках подозрительных предметов.

Мама недоверчиво смотрит на него, как на тот самый подозрительный предмет. Мама не любит странные шуточки и говорит это глазнику прямо в глаза. Она снова пытается уйти, ей пора на работу. Глазник показывает брошюру, в которой черным по белому справа налево написано про добровольцев с острым зрением.

Она на минуту присаживается на край стула: «Ну что ж, если я нужна Израилю...».

И вот на шестьдесят втором году жизни мама вступает в ряды добровольцев ЦАХАЛа. Она проходит трехдневный инструктаж, делает подробный конспект, получает обмундирование. В него входят бронежилет, шлем и ботинки. Почему ботинки? Потому что у патрульного ноги должны быть в тепле, как у суворовского солдата. Два раза в неделю она служит стране. Только начинает темнеть, как за мамой заезжает пятнистый джип. В нем кроме водителя два солдата с автоматами – по сути, в мамином подчинении. Она сидит

рядом с водителем на переднем сиденье и зорко всматривается во все, что на дороге и вокруг дороги. Я жила в Израиле, это великая страна. Как в любой великой стране, в ней есть великие проблемы. Как и везде, эти великие проблемы решают не политики, а самые обыкновенные люди. Я вижу ее: рост сто шестьдесят четыре сантиметра, рыженькая, такая обыкновенная еврейская мама, и вдруг – бронезилет, каска, на ногах военные ботинки. Она всматривается в сумеречные улицы великого города, разглядывает груды мешков, выброшенные мусорщиками возле центрального рынка. Однообразные груды в черных пластиковых мешках – разве тут углядишь что-то? Ее карие глаза проникают темноту, потому что у нее такие неординарно чувствительные зрачки. И еще интуиция. Она – военная девочка. Когда ей было шесть лет, и грохотала война, и гналась по пятам, бабушка и мама отправились из родного города далеко-далеко. Они остались вдвоем, дедушка не успел на поезд. Их везли в эвакуацию в Среднюю Азию. Первый их поезд разбомбили прямо на территории Молдавии. Где-то они ночевали, ждали, пока не пришел другой поезд. И вот сели... Всю долгую дорогу она выходила на остановках и писала на вагонах поездов, идущих в обратном направлении, к линии фронта: «Папа, мы, мама Рая и дочь Ада, едем в поезде в Киргизию в город Фрунзе!». Она писала это на очень многих поездах и, когда не было мела, то выцарапывала это осколком стекла, камнем, гвоздем на зеленой краске вагона. Повторю эти слова: осколком стекла, камнем, гвоздем. Так делали многие во время войны, и это называлось «вагонной почтой». На одной из станций люди, знавшие деда Наума, прочитали мамино послание. Они прибежали к нему, и дед поехал искать. В Среднюю Азию, в сторону Фрунзе, где ему сообщили, что жена с дочкой в Кара-Суу. Он поехал в Кара-Суу, и там семья, наконец, воссоединилась. Но мы отклонились от темы.

Итак, пока мама после работы патрулирует улицы Иерусалима, я в кафе размышляю над своей долей. Как многие необыкновенные люди с воображением, я – пессимист. Звонит лойер:

- Ну что? Все нормально?
- Да.
- Раввинат дал согласие?
- Нет.
- Что же ты говоришь «нормально»?

– А потому что я так и знала!

Бывает благородный пессимизм. Но мой пессимизм идет от малодушия. Я заранее готова от всего отказаться. Конечно, я бы хотела иметь многое, чего у меня нет. Господи, сколько раз я прокручивала в голове, как однажды, получив литературную премию, поеду путешествовать. Италия? Франция? Я остановлюсь в простой гостинице у моря... Но для этого всего мне не хватало силы духа. Сила духа – довольно важная вещь. Во-первых, она нужна, чтобы не бояться проиграть. Я боюсь проиграть, поэтому малодушно отказываюсь от всего. Мама тоже пессимист, но другой. Мама говорит: «Я сделаю, что в моих силах, а остальное – пусть Бог решает». Такой пессимизм горы двигает.

Мама днем работает в центральной детской библиотеке Иерусалима. На работе ее любят. Она очень организованная и работающая. Сотрудница Шломит полагается на маму, когда ей нужно отпроситься, – мама делает работу за двоих. Еще у них есть охранник, его зовут Ури. Бывший военный. Из-за ранения в спину в последней войне в Персидском заливе вынужден был уйти из армии и теперь стоит перед дверьми в детский читальный зал. Он неизменно там, даже когда ему не может быть. Он очень любит детишек... И он обожает маму, которая патрулирует город по ночам. Мама с ним советуется насчет моих дел и потом передает мне его слова. «Надо добиваться!» Мы обсуждаем с ней по телефону, какой делать следующий шаг. Она уже написала в кнессет Ицхаку Рабину, но ответа не получила. Ждать дальше или писать еще раз? Мой лойер говорит: пусть еще раз напишет и упомянет, что она – доброволка в рядах ЦАХАЛа. Что у нее непутевая дочь, которая живет в Америке, имеет грин-карту, хочет образовать семью, но до сих пор в браке с предыдущим мужем. В общем, чтобы мне помогли.

Я передаю маме текст прошения, как мне его надиктовал мой лойер, и она записывает, чтобы потом перевести на иврит и послать Ицхаку Рабину, Шимону Пересу, в ООН, Господу Богу. Она так не остановится. Потом мы говорим о всяких домашних делах, о том, что я делала позавчера. Позавчера я читала книжку и смотрела сериал по телевизору.

– А ты, мама?

– Тоже ничего особенного. Зато вот вчера час просидела под дулом пистолета!

Она говорит об этом так, как если бы просидела час под феном в парикмахерской. После паузы кратко рассказывает. В библиотеку, в детский читальный зал, вошел парень. Маме не понравилось его лицо, она также заметила, что у него оттопыривается куртка и он рукой придерживает то, что ее оттопыривает. Мама подошла и спросила, какую книгу он ищет. Он достал пистолет, приставил к ее виску и велел сесть за стол и молчать. Он говорит на иврите, не только на арабском. Мама поняла, что он и сам не знает, зачем делает то, что делает. Скорее всего, сумасшедший. Мама попросила его позволить детям уйти. Сотрудница Шломит увидела пистолет и очень расстроилась, настолько, что у нее началась истерика. Ко всеобщему неудобству прибавилось то, что Ури в тот день практически не мог шевелиться из-за своего простреленного позвоночника. Парень с пистолетом продолжал кричать и грозить. Мама его уговаривала не волноваться. Лучше отдать пистолет ей, потому что потом он сам будет жалеть. Сотрудница Шломит легла на пол и смеялась. Мама сказала парню: «Вот видишь, что ты делаешь! У хорошей женщины истерика!». Она опять попросила парня с пистолетом отдать оружие. Он посмотрел на нее странно: почему она с ним говорит так ласково? Она что, не боится? Мама сказала мне, что совершенно не боялась. Она смотрела много боевиков, прочитала кучу детективов и знала, как говорить. И к тому же мама – военная девочка. Она прошла огонь, воду, бомбежки, она помнит лицо немецкого летчика, который пригрозил ей пальцем сквозь стекло кабины, когда горел их поезд и они бежали под снарядами в лес. Мама говорила с больным парнем долго. Она объяснила, что в больнице ему помогут хорошие израильские врачи. Через час он отдал маме пистолет. Она тогда взяла салфетку и, не касаясь пальцами, отнесла пистолет в сейф. В эту минуту в комнату наконец вошли вызванные Ури полицейские и увели парня.

Прошла неделя, другая, на второе мамино прошение ответ не приходил. Я решила признаться жениху, что замужем. Он даже не удивился.

– Дети тоже есть?

– Детей точно нет. Что будем делать?

– Ничего. Значит, не судьба.

Мы – такое поколение, выросшее во времена лжи. Мы – пессимисты.

– Пойдем в бар?

– Пошли.

Мы пошли в бар через дорогу и чуть не пожалели об этом. Люди нашего возраста в одежде офисных работников за длинным столом отмечали что-то. Они произносили тосты. Кого-то чествовали всем отделом: то ли провожали на пенсию, то ли встречали из-за границы с премией. Какая у офисных работников может быть премия? Сейчас все может быть, любая премия по любому поводу. Может быть, не оставлять надежду? Кафка писал в дневниках, что надежда есть, но не у нас. Поскольку октябрь нам дали теплый, то мы с нашим пивом вышли на террасу и сели за стол. Неподалеку на клумбе стояли мужчина и женщина. У него в руках болтался собачий поводок, у ног – собака. Она выглядела странно. Приглядевшись, я поняла, что у нее только три ноги. Мужчина с женщиной разговаривали, не обращая на нее внимания, а трехногая собака смотрела на них снизу.

– Смотри, у нее только три ноги! – сказала я любимому.

– Точно!

Потом подошла вторая собака с полным количеством ног. Две собаки обнюхались и дружелюбно замахали хвостами. У них шел хороший разговор.

– Чем ждешь, пока тебе дадут развод, возвращаешься в Израиль и летишь с мужем в Грецию! – говорит лойер.

– В Грецию?

– Да. В Греции разведут в два счета!

– В два счета – это за сколько?

– За полторы тысячи.

– А за сколько дней?

– Пустяки! Пару недель, месяц. Покупаешься в море, поешь устриц.

Лойеры во всем видят преимущества.

– У меня нет денег, чтобы в Грецию летать.

– Возьми на кредитку!

- У меня испорченное кредитное дело.
 - Одолжи у кого-нибудь, и поскорее. У твоего когда истекает виза?
 - В ноябре.
 - Есть за что зацепиться? Кто-то может его взять на работу?
 - Нет.
 - Ужас.
- Он уже не просто локти кусает, что связался с нами.

После разговора с ним звонит мама.

- У меня история для тебя.
- Ну?
- Вчера я в четыре часа, как всегда, жду свой джип на углу Герцль и Черняховского. Джип опаздывает, чего никогда не бывает. Я уже начала волноваться. Оглянулась и поняла: улица-то наша перекрыта. В это время слева появляется вереница машин и движется мимо меня с включенными фарами. Вдруг одна машина останавливается прямо рядом. Сначала там опустилось стекло, такое затемненное, знаешь. Мужчина по-английски обращается ко мне, чтобы я подошла. Я подошла, спрашиваю: «Что случилось?». В эту минуту дверь машины открывается, и я вижу Клинтона.

- Мама, ты сон рассказываешь? Так у меня нет времени, мне на работу надо.

- Да не сон, не сон... Подожди!
- Ну?
- Клинтон – самый натуральный... Билл. Президент. Понимаешь?
- Не очень.
- Они ехали по Черняховского в кнессет, и тут Клинтон увидел меня в бронезилете и каске и очень удивился, что в моем возрасте я до сих пор служу в армии. Он меня спросил, и я ему объяснила. Такой он все-таки симпатяга и джентльмен... Говорит: «Я – ваш друг! Я потрясен вашим мужеством». Я ему и говорю: «Раз ты мой друг, помоги тогда моей дочери! Она у вас в Америке живет десять лет, нашла жениха, а тут ей не дают развод в раввинате. Поможешь?». Он подозвал того человека и что-то ему сказал. Потом обнял меня, расцеловал и пошел садиться. А тот мужчина задержался, попросил дать ему твое имя и адрес. Я продиктовала, и он все записал.

- Мама, делать им больше нечего, как разводить меня!
- Я вот тоже сначала так подумала, а потом решила: чем черт не шутит, а я сделаю, что могу!

Через два дня я получила по почте письмо: мой запрос о разводе в равнине решен положительно, и скоро я получу свидетельство. Вот такая вышла история. С первым мужем меня развело КГБ, со вторым – друг мамы президент Клинтон.

Позвони мне, позвони

Карпинский и Манин учились вместе с пятого класса. Жили они по соседству, но долго не замечали друг друга. Судьба свела их в начале седьмого класса. Проходя мимо площадки для мусорных баков, Манин увидел, что из контейнера торчат чьи-то ноги. Он их узнал по характерным сандалиям с супинаторами на плоских ступнях. Вытащив Карпинского, Манин спросил:

- Нашел что-то клевое?
- Не нашел. Пацаны из шестого подъезда засунули, – без обиды объяснил Карпинский.
- Это какие же? Гошка, что ли?
- Да.
- Били?
- Били.
- Деньги взяли?
- Ага. И часы папкины.
- Позвони мне, позвони! – промурлыкал Манин. Такая у него была присказка.

Он решительно направился к рыбному магазину «Океан». Магазин недавно построили, на задворках еще стояли ящики, валялись куски изоленты, желтела похожая на грязный снег стекловата. На этих задворках собирался цвет районной шпаны. Найдя там Гошу, резавшегося в очко, Манин попросил того вернуть отобранное у одноклассника. Несколько человек хором предложили ему идти куда подальше. Манин почесал в затылке, рассматривая предложение, а рассмотрев, поднял Гошу, перевернул его вниз

головой и немного потряс. Из карманов игрока посыпались часы «Луч», пачка сигарет «Флуераш», еще одна пачка молдавского «Мальборо», рваный талон на автобус, мятые деньги. Под изумленными взглядами товарищей Манин выбрал из вытрясенной на асфальт кучи имущество Карпинского и отчалил. На следующее утро в школе он вернул деньги и часы «Луч» изумленному хозяину, и с тех пор они стали неразлучны.

Надо сказать, что и внешне, и по содержанию друзья были полные противоположности. Долговязый Карпинский был романтичен, порывист, болезнен, любил музыку, в тетради у него были русскими буквами записаны главные английские песни десятилетия – «Ви ол лив ин а еллоу сабмарин», «Хотэл Калифорния» и все такое. Добродушный круглолицый Манин отличался здоровьем, спокойствием, предпочитал западным певцам родную эстраду. И при этом они не могли жить друг без друга. Многие люди думают, что настоящая дружба нуждается в зрелости, только они, наверное, ошибаются: настоящая дружба бывает и в ранней юности. У Манина с Карпинским был симбиоз: когда Манин казенил уроки, Карпинский худел. Когда Карпинский отсутствовал, Манин скучал. Стоило им соединиться, счастливей друзей не было. Они дополняли друг друга. Карпинский увлек Манина фантастикой. Друзья и сами сочиняли истории, Карпинский оказался хорошим стилистом, но начинал всегда Манин.

– Представляешь, Карп, а что бы было, если бы мы оказались на космической станции?

Карпинский дальше разрабатывал сюжет, обсуждали, не перебивая друг друга. Могли прошататься пару часов, ходя по кругу у дома, расставались неохотно. Манин пел «Позвони мне, позвони!». Расходились по подъездам.

Утром встречались на детской площадке и вместе топали в школу. И снова – те же дела. Разговоры про фантастику, про полеты в другие галактики. Их пытались рассаживать – Манина на первую парту у двери, Карпинского – на галерку. Тогда Манин сидел на уроках спиной к доске, лишь бы видеть друга. Он жестикулировал, корчил рожи, отчего весь класс переставал смотреть на учителя и начинал смотреть на Манина. Родителей обоих вызывали в школу,

ругали на собраниях – два школьника не уважают коллектив. Родители разводили руками. Оба друга учились хорошо, и тут трудно было придраться. Вместе они окончили десятый класс со средним баллом «пять», вместе не прошли из-за пятой графы на математику. Подали на мехмат в сельскохозяйственный институт, поступили, учились, поехали на двухмесячные офицерские курсы. Там Манин понравился, а Карпинский – нет. Один раз вместо «есть, товарищ капитан» ответил «ладно» и попал в черный список. А Манин помогился со сторожевой вышки и – ничего. Его отправили на ночную вахту, он смотался в село, добыл самогон, напоил весь отряд.

Вдвоем как-то перебились, проехали ранние восьмидесятые, практику на заводе холодильников. Манин дома рассказал анекдот: «Работница завода пишет письмо в Комитет госбезопасности: «Взяла на работе запчасти для холодильника. Как не складывай, выходит пулемет».

В восемьдесят восьмом оба подали заявления в ОВИР, перебрались в Америку. К тому времени Карпинский уже был женат и дописывал диссертацию. И он, и жена, тоже физик, быстро нашли работу. Родители дали денег на первый взнос, купили дом в пригороде. Манин отговаривал, потом помогал обустроить, заказывал стройматериалы, приезжал после работы, проверял, хорошо ли положили пол, правильно ли подключили бойлер.

Несчастье случилось в день, когда ремонтировали забор. Весь день копали, вставляли подпорки, устали, как черти. Вечером расположились на кухне, выпили водки и зачем-то заговорили о политике. Манин был большим оптимистом, ждал демократических перемен. Карпинский был пессимистом.

– Чушь собачья! Ты что, Манин, не понимаешь, что нынче демократы – не те демократы, что раньше?

Обозвал Клинтоншу блядью.

Манин бросился доказывать, что, при всем уважении к противнику, Карп – консерватор. Он горячился, говоря про иммигрантов, про реформу медицинского страхования. Про геев, про черных, про бедняков, про налоги, про дорогую медицину. Жена Карпинского умоляла успокоиться. Ничего не помогало, нашла коса на камень. Карпинский затопал плоскими ногами, назвал Манина оптимистическим идиотом. Потом сказал, что из-за та-

ких дураков, как он, скоро стране хана, разворуют все, и будет здесь, как в совке. В конце концов договорился до того, что, может, Манину лучше на Кубу поехать.

– Ну при чем здесь Куба? Ты с ума сошел! – обиделся Манин.
Разошлись врагами навек.

Для обоих начались серые будни, опустошающая душу работа. К чему вкалывать, куда стремиться в этом экономическом раю? Вечером Манин, живший в городе, выходил на балкон, с высоты пятнадцатого этажа наблюдал копошение. Броуновское движение машин. Мельтешение огней. Покажи нам нашу жизнь сверху – мы бы рассмеялись и расплакались.

Утром Карпинский вставал, ехал в офис. Русских коллег сторонился, на начальство смотрел исподлобья. Когда его сократили, он даже обрадовался. Дома на полках с книгами новых модных авторов Карпинский нашел старый томик Лема. Принялся листать любимую книжку, да махнул рукой: слишком все напоминало о счастливых временах.

– Давай пойдем на какое-нибудь литературное выступление?

– Давай! – отвечала Рая.

Она открыла «Русский бюллетень».

– В четверг будет выступать Душкин. Ты знаешь его?

– Да, конечно! Кто это?

– Это сейчас главный эмигрантский писатель! Изобличитель существующего в России порядка.

На выступлении оживленный крепыш рассказывал аудитории анекдоты. Ругал какого-то другого писателя, тоже не известного Карпинскому. В конце выступления полил грязью всех российских прозаиков, назвав их приспособленцами. Потом оскорбил всех эмигрантских авторов, назвав их местечковой массой. В общем, выступление удалось.

У выхода Карпинский наткнулся на знакомого, но никак не мог вспомнить, откуда знает его и как его звать. Продолжая мучиться чеховской проблемой с именами, перебирая и вспомнив наконец – Демидов, Карпинский автоматически протянул руку.

– Привет!

– Привет! Давно не виделись... Как ты? Куда ты пропал?

– Да вот как-то всё...

Карпинский неопределенно вздохнул и зачем-то соврал, что работает, ведет семинар в Массачусетском технологическом институте.

– На тему?

– На тему «Сбывшееся будущее». Про предсказания, сделанные писателями и оказавшиеся полезными для науки.

– Писателями-фантастами?

– Угу.

– Я бы пришел! Вольнослушателей пускаешь?

Карпинскому пришлось выкручиваться, что он уже закончил курс. Что вот новый начнется, он позовет.

– А вообще, как оно?

– Да вроде ничего! – отвечал Карпинский, шумно зевнув.

– Вижу, ходишь на выступления? Интересуешься литературой?

– Да, да, интересуюсь.

– Да, Душкин крут. А ты вот читал Черепанова? Тот вообще жуть.

– Читал, – снова соврал Карпинский.

Он оглянулся, не идет ли жена, и, увидев сквозь стеклянную дверь, что та заняла очередь за автографом, вытащил пачку сигарет и закурил.

– Как тебе его гипотеза? Мощный историк, деконструировал многое, что казалось незыблемым. Интересно ж! Он, кстати, мой соотечественник. Из Сибири. Железные яйца России.

– Дык, – в тон отвечал Карпинский.

– Я до него еще говорил, что это все делает еврейское лобби.

– Что – всё?

До этого Карпинский слушал рассеянно, а тут проснулся.

– Да ты читал или нет?

– Начал, но еще не закончил! – в третий раз за вечер соврал Карпинский.

Он уже и не краснел. С ненужными чужими людьми всегда приходится выкручиваться, врать.

Демидов, вцепившись в его локоть, продолжал пытаться Карпинского новой модной теорией про то, что газовых камер не было.

– Как не было? Что за чушь? – спросил пораженный Карпинский.

– Совсем не чушь!

– Чушь!

– Ну не знаю... – Демидов пожал плечами. – Мне интересно было.

Пожилая женщина вдруг обратилась к ним.

– Молодые люди! Вот вы тут спорите про газовые камеры... Так вот я вам покажу, что у меня на руке.

Она очень волновалась, когда подтягивала рукав кофты. Номер на коже...

Собеседник Карпинского не растерялся.

– Ну я, вообще-то, не с вами разговаривал. И я понимаю, что вы поддерживаете официальную версию.

Женщина разнервничалась от его слов.

– Нас спасли в последнюю минуту. В лагерь вошли войска союзников! – сказала она и взглянула с обидой почему-то именно на Карпинского. Карпинский отвел глаза и отошел в сторону.

– Ну так обменяемся телефонами и мылом? – спросил Демидов.

– Чем?

– Телефонами, мылом...

Карпинский по вежливости характера не смог отказать. Обменялись, короче. Потом вышла жена, неся открытой книгу выступавшего обличителя порядка. Она дула на чернильный автограф. Поздоровалась.

– Привет!

В машине Карпинский затосковал. Глупые равнодушные люди вторгаются в человеческую жизнь, могут небрежно раздавить, а потом еще обидеть, мол, что вы тут стоите на дороге, говорите какие-то жалкие слова? Не с вами же разговаривают. Он не мог ее защитить. Манин, пусть он сто раз не разбирается в политике, врезал бы.

«Позвони мне, позвони!» – пропел Карпинский и улыбнулся в темноте кабины.

США



Леонид Лейдерман

Кеша хороший мальчик

Кеша попугайничал, то есть повторял то, что слышал. Потому что был попугаем, и к тому же говорящим. Думали, что он из волнушек, но нет, из благородных. Благородство же его говорения целиком зависело от того, что говорили ему.

Кешу купили внукам, но им некогда было с ним общаться, поэтому даже не дедушка был главным его собеседником, а бабушка. Как, кстати, и главной кормилицей. Семечки с Привоза привозила и подсыпала Кеше именно она. И, подсыпая, приговаривала:

– Бабушка, бабушка.

Будто приучала его к мысли, что самым важным для Кеши в этом доме человеком была именно бабушка и что Кеша должен это хорошо усвоить. Кеша усвоил, встречал бабушку вполне внятным воспроизведением заветных слов «бабушка, бабушка», за что тут же получал заслуженную похвалу:

– Кеша хороший мальчик!

Заслуженная похвала очень скоро превратилась в нескромную похвальбу, поскольку ее к месту и не к месту уже изрыгал клюв неумолимого Кеши.

– Бабушка-бабушка! Кеша хороший мальчик!

Это было забавно. Живая игрушка, о которой можно было по-человечески позаботиться – покормить, попить. Игрушка, за которой можно – и, простите, нужно! – прибраться после свободных полетов во сне и наяву. А уж это внукам было точно неинтересно! Но и здесь, как на боевом посту, была бабушка. И неудивительно, что из всех домашних Кеша ее выделял. Именно на ее левое плечо

планировал он откуда-то с потолка и долго не уходил, сопровождая старшую хозяйку во всех ее важных – всегда важных! – перемещениях по квартире. Не исключено, что в такие минуты Кеша мнил себя в одной из прошлых своих жизней этакой хитроумной рыбой-прилипалой, которая бесплатным пассажиром путешествует на спине доброй акулы.

В какой-то момент было решено вернуть Кешу в клетку. А поскольку деревянная клетка, в которой его когда-то привезли, была явно тесна, а Кеша уже успел привыкнуть к относительной свободе, ему купили более просторную, круглую с куполом, шикарную «золотую» клетку из сверкающих медных трубок. Сказать, чтобы Кеша был доволен, так этого поначалу не было, поскольку, как известно, неволя и в золоте неволя. Но, как тоже известно, и к неволе привыкают, особенно когда в этой неволе прилично кормят. А Кешу кормили вволю, и шелуха подсолнечных семечек, которую Кеша артистично выстреливал из своего узилища, была тому обильным подтверждением.

Новая клетка, однако, давала Кеше и преимущества. С наступлением тепла клетку стали выносить на балкон. Понятно, что Кеше открылись новые горизонты и море движущихся картинок, причем с разнообразным звуковым сопровождением. Конечно, до него и раньше доносились звуки улицы, но совсем другое дело поворачивать голову в сторону нового звучания и видеть, видеть, откуда оно исходит! Это же совсем другое дело. И по утрам Кеша уже стал нервно суетиться, давая присутствующим понять, что уже можно, давно можно отнести его вместе с клеткой на балкон.

И вдруг однажды во сколько-то часов пополудни, то есть ближе к вечеру, обнаружилось, что на балконе нет клетки с попугаем. Клетка исчезла. Строить предположения не имело смысла – настолько было очевидно, что клетку украли. Да и не мудрено!

Не мудрено. Дом был двухэтажный, то есть Кешин балкон нависал непосредственно над первым этажом. Комнаты здесь были не ахти какие высокие, всего три метра пятнадцать сантиметров. Но весь фокус в том, что первый этаж дома не только не был высоким, не только не был цокольным, а был вовсе даже заглублен.

Объясняли заглублие тем, что бывший рядовой доходный дом якобы закладывался еще во времена обустройства таможни и карантин и изначально планировался и, соответственно, строился как карантинные конюшни. И что, мол, даже коридоры, что проходят по центру квартир дома, первоначально были центральным проходом между стойлами! И заглублие сделано было, чтобы лошадям, когда возвращаются они с работы домой, чтоб им последний переход был легким. Чтобы возвращались они в конюшню в хорошем настроении.

При этом ссылались на дом номер пять по Еврейской улице, где были конюшни цирка и куда с тротуара шел широкий пологий спуск. Якобы специально для хорошего настроения идущих со своей работы домой четвероногих артистов. Что там были цирковые конюшни, так в том нет, мол, никаких сомнений. Потому как когда эта улица носила фамилию мало кому известного человека Бебеля, то от малокультурных одесситов можно было услышать грубое выражение типа «А не сходить ли вам в точно заданный район – на Бебеля, пять, слону спину почесать?». Ну а то, что слоны могут быть только в цирке или в цирковой конюшне, так это и ежу понятно! Хотя, может, и не было на Бебеля, пять, никаких конюшен, а просто это одесские байки.

Но здесь, где была и исчезла клетка с Кешей, конюшня была. А поскольку документального подтверждения этому никто не видел, напирала на косвенные признаки. Например, сколько колодцев канализации нужно жильцам дома со стороны улицы? Понятно же, что одного вполне хватает! Зато совсем другое дело лошади. Которые, не в пример людям, где пьют, там и льют, а пьют они ведрами! И если стойла у них с двух сторон, то колодцев должно быть поровну – что со стороны двора, что со стороны улицы. А на старом плане дома так и есть – поровну с двух сторон. Выходит, действительно были конюшни.

Вспоминали еще зловердных микровампиров – клопов. Их изгоняли керосином и выжигали примусами, только они возвращались снова и снова – на одежде из кинотеатров, в чемоданах из поездов. Но в этом доме был еще один источник клопных нашествий, незаметный и недоступный. Это были пористые

пластины коры пробкового дерева, выложенные у пола в стенах первого этажа. Утверждают, что это наследие конюшен, где пробковое дерево использовали для гидроизоляции. Ну как, мол, в конюшне без гидроизоляции?!

Так или не так, однако факт, что были конюшни или не было их, только первый этаж как бы присел ниже уровня тротуара. Поэтому, в отличие от обычных жилых домов, балконы здесь оказывались как бы притротуаренными – подпрыгни, ухватись руками, подтянись – всё! Махнул ногой – и ты на балконе. Еще и ограда поможет...

И уже были прецеденты. Так сказать, знаки судьбы, предупреждения. То куда-то испарились арбузы в двух авоськах, час назад принесенные на балкон из овощного магазина. Понятно же, что чудеса выглядят совсем не так. А то молодая хозяйка, бабушкина и дедушкина дочь, как-то на шорохи вышла на балкон, а там у окна стоят двое, один уже на кушетке, в вечерних сумерках не видно, кто. Дочь, сама испугавшись неожиданных гостей, командирским, однако, голосом спросила: «А вы что здесь делаете?». Незнакомцы слиняли туда, откуда пришли, но не мигом, а успев оставить на кушетке не высохшее за ночь пятно, из чего следовал вывод, что то были, видимо, подростки. Чем не предупреждение? То есть клетка, подвешенная для Кешиного удобства так, чтобы он лицезрел и общую панораму, и конкретные лица отдельных прохожих, клетка с Кешей как бы сама и просилась в руки этих прохожих. Конечно, если эти прохожие на самом деле еще и проходимцы.

Кеша пропал. Вместе с золотой клеткой. И конечно, как это чаще всего бывает, выплыл тихий вопрос: а не свои ли это постарались? Ведь когда-то давно, когда еще не у всех были сараи, а уголь для топки и дрова для растопки хранились в выгородках на входе в катакомбы, и когда из одной такой фанерной выгородки чудесным тоже образом исчезли девяносто (девяносто!) банок разнообразной закрутки, тогда вопрос так конкретно и формулировался – кто именно из своих постарался? Тут уж точно не прохожих проходимцев рук дело. И подозреваемая была, и милиция с собакой приходила – след искать. Не нашли ни след, ни закрутки, а не пойман – не вор.

Что же касается Кеши, то во дворе поначалу никаких подозрений и не появлялось – настолько велика была уверенность, что клетку сняли прохожие. При этом убедительно объясняли, что снимали, даже не залезая на балкон, просто поддели клетку какой-нибудь примитивной веткой-рогатиной, вот и всё.

Но через год или два шепнула соседка, что ей племянник уверенно сказал, будто это работа Митяши. Митяше в то время было уже лет шестнадцать-семнадцать, ни с кем во дворе он дел не имел, уважительностью не отличался и, что самое главное, являлся бог знает с кем. Его маме было не до него, деньги нужны всем, а за говорящего Кешу, да еще и за красивую клетку, какие-то деньги можно выручить. Так что это Митяша, больше некому. Тем более что соседкин племянник чуть ли не сам видел. Но не пойман – не вор. Хотя осадок был неприятно мерзкий. Каждый раз, встречаясь во дворе или на улице с Митяшей, дедушка сам себе был противен, что не решился когда-то прямо Митяшу спросить – правда ли? Но, с другой стороны, Митяша мог в ответ широко раскрыть очень удивленные глаза... И что тогда? Нет, правильно было ничего не говорить.

Правда, спустя много лет дедушка однажды все же соблазнился на отместку. Спустившись как-то во двор, он наткнулся на Митяшу, здоровенного уже дылду, говорившего с кем-то по телефону. Но что это был за разговор! Неважно, о чем (какое дедушке дело до чьих-то частных разговоров?); его поразило, с какой дерзкой легкостью Митяша сдобривает свою речь заурядной нецензурщиной, еще и во всеуслышание. Дедушка как будто даже обрадовался случаю хоть как-то поквитаться с Митяшей за Кешу и за все переживания. И потому строго спросил:

– Что это ты, Митя, так громко? Будто тут ни тебе женщин, ни детей!

А сам подумал – как же он в школе учился, если без «связки слов» двух слов связать не может?

Только просчитался дедушка. Митяша на скандал не пошел, грубиянничать не стал, напротив:

– Извиняюсь, голос не рассчитал. А с ними, – он поднял вверх руку с трубкой, – с ними иначе нельзя!

Так и остался Митяша безнаказанным. И хотя уверенности в том, что Кешу увел Митяша, не должно было у дедушки быть, – очень, видимо, хотелось ему видеть виновным конкретного негодяя, а не абстрактное множество неизвестных субъектов.

А надо было бы дедушке иметь в виду, что клетку с Кешей мог легко унести любой человек, склонный к воровству, – как было сказано выше, клетка сама просилась в руки. И не только потому, что от тротуара до балкона было, что называется, рукой подать, а еще и потому, что балкон выходил в переулок, практически безлюдный или почти безлюдный. Бери хоть Кешу, хоть арбуз – кто увидит? Никого нет...

Переулок – это, может, громко сказано. На одной стороне два дома, но оба выходят сюда боковыми фасадами, так что номеров домов здесь нет. Второй стороны у переулка вообще нет – вместо нее мощный булыжником спуск. Потому, видимо, и название переулку не понадобилось – зачем? Конечно, из уважения к рассказам старожиллов можно было бы что-то придумать. Например, Старо-Карантинноконюшенный. Тут тебе и отсылка к истории как бы, да и звучит впечатлительно. Но здесь могут быть и противники, поскольку среди некоторых коренных одесситов живет и не умирает другая мечта-идея. Мечта нарастить анфиладу мостов через бывшую Карантинную балку. И в самом деле, Сикардов полумост на Еврейской улице, за ним мост Новикова на Жуковского, дальше мост Коцебу на улице Бунина, за ним Строгановский на Греческой: не хватает для полного счастья еще одного моста – скромного, пешеходного, с улицы Дерибасовской через Польский и Деволановский спуски. Мост именно пешеходный нужен, но, конечно, не такой, как Тещин. Тот очень уж сугубо практичный, сухой какой-то. Не для того, мол, чтобы к теще на блины, а исключительно по делу да чтоб дорогу сократить. Нет, мост с Дерибасовской должен быть продолжением праздника, он должен быть красивым сам по себе и, конечно, арочным...

Так вот, если бы такие мечты вдруг стали явью, то новый мост вывел бы нас как раз в этот самый полупереулок, который стал бы продолжением главной улицы города. И тогда...

Для нас же важно то, что пока мечта всего лишь мечта, переулок этот очень часто безлюден, и потому подозревать Митяшу

в краже, конечно, можно было, тем более что шепнули (а дыма без огня не бывает!). Но утверждать наверняка было нельзя. Потому что не пойман.

Между тем Кешины опекуны были опечалены. К нему привыкли, он стал как бы членом этой семьи. Это понятно всем, у кого в доме жили кошки или собаки, и наступал день, когда с любимцем или любимицей приходилось прощаться. Здесь же к неожиданному – и насильственному! – прощанию прибавился тревожный вопрос: в чьи руки попадет Кеша, будет ли ему там вольготно и легко, как было здесь? А в том, что здесь ему было и вольготно, и легко, и уютно, и тепло, никто не сомневался. Потому что так самозабвенно болтать, как Кеша, могут только счастливые попугаи. В чьи руки он попадет? Будет ли счастлив?

Однако все осознавали, что потеря – это потеря, и что к этому нужно относиться философски. Все проходит, пройдет и это.

И прошло. Прошло много лет, за много лет многое произошло, новые радости и печали затмили – на время или навсегда – старые радости и печали, в том числе обидную и грустную историю с говорливым Кешей. Во всяком случае, если и не навсегда затмили, то вспомниться эта история могла только при случае.

И случай представился.

Одним мартовским утром в квартире, где когда-то проживал Кеша, позвонили в дверь. «Внучка», – подумал дедушка и поспешил в коридор. Правда, звонили не только в их звонок. Слышно было, как сосед говорит жене: «Не беги, там пошли открывать». А дедушка уже распахивал дверь, наигранно проговаривая привычное предприветствие:

– Кто к нам пришел?

Но это не была внучка. Это был рослый мужчина, описать которого дедушка потом затруднялся – не разглядел. То ли по причине ослабевшего зрения, то ли из-за тусклого утра.

Мужчина, поздоровавшись, сказал:

– В этой квартире лет десять назад украли белого попугая. Вы не знаете, у кого именно?

Вопрос был настолько неожиданным, что дедушка на какую-то долю секунды замешкался с ответом. Да и попугай был не белый. Светлый, но не белый.

– Ну... у меня, – проговорил, недоумевая.

– Это я украл, – голос мужчины, только что по-деловому спокойный, дрогнул слезой.

И опять дедушка замешкался. Надлом в голосе мужчины говорил о том, что короткая эта фраза (наверное, до этого не раз мысленно произнесенная) далась ему не так уж и легко.

– Кто вы? – почему-то спросил дедушка.

Потом дедушка объяснял свой вопрос тем, что сразу подумал, будто перед ним Митяша, которого он просто не узнал. Мужчина же вопрос принял и понял его по-своему. Уже твердым голосом он ответил:

– Я тогда употреблял наркотики. И вот... Могу ли я что-то для вас сделать?

Что он мог иметь в виду? Ну не компенсацию же какую-то материальную, ведь так? Не нашел других слов? А какие они должны были быть, эти другие слова? Но дедушка и не ждал от него каких-то других слов. Ему как будто все равно было, какие именно слова говорил этот человек. Перед ним мелькнула картинка, которая уже много лет нет-нет да и возникала перед глазами. Картинка с Привоза. Во фруктово-овощных рядах со стороны Екатерининской улицы торчала из земли водоразборная колонка, у которой можно было и ополоснуть аппетитную попку для немедленной дегустации, и набрать воды, чтобы освежить томящуюся на солнце зелень. К этой колонке к двенадцати часам подтягивались наркоманы: в это время на Привоз привозили заветные дозы. И в это время к колонке никто из продавцов или покупателей не подходил – там священнодействовали зависимые от наркотиков бледные тени молодых людей обоего пола. Некоторые из них, исколов, видимо, до предела вены на руках, обнажали – вены паховые... Люди отводили глаза...

Разговор двух мужчин через порог на лестничной площадке был сбивчивый и короткий. Дедушка заверял, что ничего делать для него не нужно, объясняя это тем, что «в жизни все может быть». Главное, мол, что все вышло на поверхность. Он имел в виду, что вот выговорился человек, признался, и легко теперь будет, потому что в этом главное...

На прощание укравший когда-то Кешу мужчина попросил у дедушки номер его мобильного, но тот опять замахал руками – нет, мол, нет, не переживайте вы так, это, мол, жизнь...

А вернувшись к домашним, дедушка радостно объявил, что объявился настоящий вор Кеши и что Митяшу десять лет назад ни за что оговорили...

Нашли потом фотографию, где Кеша у бабушки на плече. Вычислили тогда, что снимок делался вовсе не десять лет, а двадцать один год назад. Не десять, а два раза по десять лет шел человек от балкона в безмянном переулке к коммунальной квартире со звонком в прошлое. То есть это только кажется, что жизнь топчется на месте. На самом деле она мчится. Она летит. Стремительно. Без оглядки на опоздавших... Блажен, кто успеет.



Поэзия

- 130 **Ирина Дежева**
Из кара-цикла «Земля»
- 135 **Александр Щедринский**
От одного корня
- 138 **Вячеслав Игрунов**
«Как медленно солнце садится»
- 150 **Татьяна Вольская**
«И если было – то со мною ли?»

Ирина Дежева

Из кара-цикла «Земля»

«От Земли, когда она вертится,
Отлетают розовые брызги,
Если смотреть сверху»

От автора

* * *

Мы полюбили в пору лотоса
В позе раскинутых
Как с моста
С брода рваного
Лепестки в шлюз Хроноса
Пущены по свету по бревну
В столетнюю гору Вселенского глотка
В пих-ты, коммунизм, содовую спрятались
Выловили –0– со дна реки
Проза явилась, как Пасха шероховатая
В стане ополченских снов
Когда горит
Земля, прости!
Мы показали слабость
Весну рожать
Не тех любя
Что спишь, душа?
Пощада старит
Замри, смутись, беги, воспряни

Восстанью ближних
Нет конца
Брут оставил Авеля
Брют оставил Каина
Барс оставил воина
Всё и Ничего...

* * *

Ночью
В свету лампочек
Поминая кролика, рыбку, кота
Спесь, ворону, смех
В бабочке остывает
Стоя
В обмороке береста
Спит под шелковой наволочкой
В рабстве
Да здравствуй!
Всё так же властвуй
Вечную створку замкни от себя
Сядь на краюху
Запойное царство
За упокой запоёт за печкою
Растянутая блесна
Вымолчись, мученик, счастливец
Муж, сын, отец
Что-то мое застыло
Мудрое, истое
Чего и в помине нет
Лет ненасытных
Руки в тридесять колеи
Хамского недостоя
Сил к ветке
Тянутся тянутся так тянутся
Если бы знал ты...

* * *

Присесть в соторыжем асфальте
Выйти на станции Carbonne
Сайгон

Шар – шару
Подножка – пассажиру
Зима в плену Аменабара
Levi's
Тот же ёж
Томный гольф
Свойски растаможенные
Весна, вышивка, чача
И мы портки
И лето святцы
И тело-современник уж не краснеет
Меняя букву -х- на пяльцы
Он выскочит
Вдруг
Поздно
Осенью
В западноевропейском театре
Отомрет пауза
Повенчаются и наклеузничают
Явь, сон...
Хотели к воде
Ходили по воду
Хотели по воде
Ходили под воду

* * *

Роза цветет
Наводнение снится
Родись – не родись
В этой дикой и мягкой земле
Всё ближе

Георгий, Геракл, жасмин
Сорится
Мирится
И мы вовне
Равняйся на красную
За краном
За Бодлером
За ночью
За силуэтом
За шкафом в прихожей
Открой и смотри
Как смотрят
Друг в друга
Две белые птицы
И жаждут начала
Как в воду концы
Бабушки снятся
Друзья, кинофильмы
Живи не живи
В этой мягкой и дикой земле
Всё ближе
Георгий, Геракл, жасмин...

* * *

Сверстники – гедонисты
Позолоченные гребешки
Сонники, сваны, портретисты
И ... его знает кто
В общем или короче
Люди, родственники, колонисты
Вверенный остаток
Не знамо чей
Высыпь, вылей, вырыгай
В полусмятку
В платочко кружевно

И в ... его знает что
Так мы ж прицоки
Калеки
Придурочки
Мы ж плохи когда нам не зги
Ни радости, ни мороки
Ни улочки, ни лодочки
Без любви
Кто знает
Как ведает чудо
Обычный крысиный подвал
Как
Можно
Использовать
Блюдо
Блюстя южнорусский квартал...



Александр Щедринский

От одного корня

* * *

не с тобой я ходил этой твердью ночной,
губ чужих не касался своею губой.
птица где-то в ночи на холодном окне
гоготала не мне.

одинокую площадь конвертом сложив
в свой карман, я подумал: наверное, жив.
но тебя никогда, никогда не терял,
потому что не знал.

потому что не знал, что прожить одному –
что залазить в петлю, что залазить в хомут.
что не скажешь о том никому-никому,
ведь и так за хому

тебя примут. ты многое в жизни сказал,
много правды, и всё же не меньше солгал.
ты алкал. и напился и правды земной,
и похлебки дрянной.

здравствуй, милая. на расстоянье столиц,
ничего не горчит, ничего не болит.
ты стоишь и молчишь, я стою и молчу.
«полюби» – «не хочу».

долго-долго еще по земле волочить
свои ноги, чтоб можно хотя бы спросить:
отчего получилось все именно так:
может, кто-то дурак?

может, кто-то умен – оттого и пропал.
говорят, что у времени сучий оскал.
верно, клад не найдет, кто земли не копал
и не падал в провал.

до свидания. имя не вспомню твое.
так взлетает над нами вверху воронье,
будто где-то плита, на которой оно;
рядом – хлеб и вино.

как прощаться еще, коль не в самом конце.
жизнь подобна прямой, что зашита в кольце.
выбирай: новый год, старый год, этот год.
заводи, геродот.

* * *

нужно уметь уйти, отрывая с мясом
каждое воспоминанье, не двинув глазом;
блик в широту лица или ветер в спину.
нужно уйти, пока сам ты не был покинут.
нужно уметь уйти, чтоб не плакать в завтра
о пустоте нераскаянного пейзажа.
чтоб не застали тебя в неглиже рассветном –
дети, собаки, какой-то шансон кассетный.
ход обретається только в движение пяток
жарким асфальтом, как вопли «гори, распятый!».
мир за плечами отбрось, будто царству света
нужно столпов соляных зарядить под смету.
нужно идти – пусть пока что куда не знамо,
по колее от баркова до мандельштама.
как тебе там, между арктикой и китаем?
нужно идти – пока почвы еще хватает.

* * *

ты была моим счастьем, а горем ты стала позже.
тихо катится в пропасть игрушечный южный поезд.
и деревья проносятся по сторонам, как звезды
за бортом космического корабля. для прозы
ты была чересчур прекрасной. твои ланиты
срифмовать по-славянски возможно лишь с «маргаритой».
знаешь, сколько пройти мне пришлось – городов, поэтов,
чудотворцев, поняв условность и тьмы, и света.
знаешь, сколько пришлось свой поезд мне ждать среди станций?
на перроне в тумане слыть изгнанным иностранцем.
так хотеть, чтоб туда, где теплее, меня забрали,
оставляя одни следы на ночном вокзале.
вот и катится в пропасть игрушечный южный поезд.
да, я знаю, вначале мечталось совсем другое.
но отсюда не выбраться – катимся до конечной.
есть надежда лишь, что твой поезд идет по встречной.



Вячеслав Игрунов

«Как медленно солнце садится»

* * *

Вот и всё,
Франция пала...
Остальное
не имеет значенья.
Медленно солнце вползает
в умирающий мир.
Где-то плачет ребенок.
Крякнув, утка взлетела,
оставив круги на воде
остывающей Сены...

* * *

Забудь меня,
как ты забыла лето,
когда ласкал тебя я грубыми руками,
и сладко ныли губы меж губами,
и бесконечно было небо.

Между нами
уже легли дороги и дороги.
Ты ждешь звонков, я жду тебя в тревоге...
Забудь меня! –
и я уйду с порога

* * *

Красивая девушка уснула
у парня на плече.
Едва
подрагивают веки.
И под стук колес
вот-вот взлетят изломленные брови.

Я думаю о том, как я любовью болен
в мои уже, увы,
преклонные года.

* * *

Снегу намело!
И слава Богу! –
нет причин для выхода из дома.

* * *

Я мыслил себя
в садах Академа
бредущим со стаей безусых мальчишек.
Но время прошло –
из жизни моей не сложилась поэма
о дружбе и счастье.
И я –
не учитель.

* * *

Без страха просыпаюсь.
Мне
дано благословенье свыше:
я больше не один –
вот мой ребенок дышит,
потягиваясь сладостно во сне.

* * *

Живи
своею мечтою,
тайною страстью,
ожиданием чуда.
И знай,
надежда напрасна,
свершенья не будет.

* * *

Наша тайна умрет вместе с нами.
С годами
это место травой порастет и кустами
вездесущего тёрна.

* * *

Усталость в суставах и мышцах копится,
она бесконечно ночами мне снится –
и спать не дает.
А я, просыпаясь, листаю страницы
забытых стихов.
Любимые лица
взирают с укором из ночи тревожной
и долго не тают –
как будто мы с ними забыли проститься,
расставшись навеки.

* * *

Вот незадача:
запущен сад, обветшала дача,
нет ни времени, ни сил, ни денег...
в сенях валяется истертый веник,
пыль на полу,
в углах паутина,

жук ползет по любимой картине.
Глаза боятся
и руки бессильны,
душа утопает в пронзительной сини
вечернего неба...
В тоске и печали
я снова мечтаю
о сыне...

* * *

Я вынесу старенький стол
и поставлю под елью,
вынесу кресло и чашку зеленого чая,
сяду на запад лицом
и стану спокойно смотреть,
как медленно солнце садится...

* * *

Шуршание листвы совсем невыносимо.
Мне чуждаются шаги
и голоса... –
там, за стеной, в гостиной...
Меня терзают призраки. И звуки
врываються в мой дом откуда-то извне,
и слышатся беда
в печальном мерном стуке,
и ветра стон
в распахнутом окне.

* * *

Уже теплеть начинается.
За лесом
солнце встает, золотясь за стволами
чернеющих сосен.

Ночью холодной я думал о том,
что же будет меж нами,
когда беспощадная осень
нас разбросает по свету.

* * *

Высох ручей,
но в русле его
ирис болотный цветет меж камнями.
Неужели на будущий год
и ему неостанет живительной влаги,
чтобы вновь зацвести?

* * *

Я уже все написал.
Все,
что без страха возможно доверить бумаге.
Отрешившись от дел,
я из дома могу навсегда уходить,
взявши за руку сына.

* * *

Я думал о доме.
Я думал о себе.
Я собирался в путь к цветущим сливам.
Не выпала мне участь быть счастливым...
на земле.

* * *

Я повстречал себя в дороге
на пути
в страну, откуда нет возврата,
и грустно было видеть,

как мечты
остались в прошлом,
где я жил когда-то.

* * *

пой, пой мне, дождь, молитву,
пой песню радости,
пой песнь любви! –
я буду слушать шепот мокрых листьев
и буду ждать
прихода темноты.

* * *

Мне что-то снится.
Я сна не понимаю:
чужие лица,
чужие города...
мне слышатся слова, которых я не знаю,
и сердце бьется,
и дрожит рука...

* * *

Стихи приходят сами.
Без меня
располагаются, ложась на лист бумажный.
Я лишь слежу за тем,
чтоб их рисунок влажный
изящен был.

* * *

До времени
пошли дожди.
Вобравши влагу слез, тоска моя пустила

побеги новые.
Вольготно им расти!

* * *

Я остался один,
без друзей,
без любимых.
Мне не пишет никто
и никто не звонит мне,
отныне
радость осталась одна у меня –
каждый день видеть сына.

* * *

Солнце садится.
И тени
длиннее становятся,
тянутся дальше и дальше.
Под елью столетней
я пробудился от сна,
коснувшись рукою нечаянно
книжки упавшей.

* * *

Невыносимый зной
и дым
дожди сменили.
Ни радости, ни света, ни тепла...
Проходит день за днем
и жизнь течет уныло
с тех пор как ты ушла.

* * *

Вдруг солнце проглянуло –
и снова облака,
и снова хлынул дождь.
Я в одиночестве по комнатам хожу уныло,
бумаги ворошу на письменном столе,
мне смутно кажется,
что ночью что-то было...
Быть может, я писал стихи тебе?

* * *

Ворох бумаг на столе,
дневники,
черновик недописанной книги,
да и время за сыном мне в школу идти...
Глянешь –
столько нелепых преград на пути!
Видно,
рано мне думать о Боге...

* * *

Не плачь, мой мальчик!
Я буду с тобою всегда...
пока жив.
Ты напрасно проснулся –
я,
ненадолго тетрадь отложив,
вышел.
Дай, я укурю тебя!
Посмотри!
Видишь в окне
вечно Полярная светит звезда?
Так и я
буду рядом с тобою, пока
жив.

* * *

Пусто в моем мире,
и я молюсь о том,
чтоб Бог мне дал спокойствие надолго –
без праздных встреч,
без глупой суеты
я в чтение бумаг уйду, не выходя из дома,
листая даты,
вороша листы,
я стану вспоминать своих любимых,
я книги соберу
и вместе с сыном,
беседуя до полной темноты,
составлю список дел необходимых.

* * *

Ты можешь видеть:
год за годом
уходят дни,
которых так немного отпущено любому человеку,
и жизнь становится бедней и суше.
Когда ты не придешь
и буду я один
и мне останется лишь гулкий ветер слушать,
я растворю окно,
и наступивший вечер
пусть хлынет в дом
и пусть мою свечу
потушит.

* * *

Оставив все дела,
любясь кронами берез и стройных сосен,
я буду наблюдать, как входит осень
в мой опустевший дом.

* * *

Я книгу отложу –
когда печально мне,
мне книга не помощник.
В тишине
я буду вспоминать,
как полон дом мой был,
и буду размышлять о том,
как круг друзей непрочен.

* * *

Роняет ветер птиц в глухие переулки
и листья желтые, и пыль несет с собою.
Среди пустых домов, объятых тишиною,
брожу один.

* * *

В жизни мало свободы,
но той,
которая есть,
достаточно чтобы любить.
Птица любви моей!
ты в кулаке зажата –
так что же
я боюсь тебя отпустить?

* * *

О, сад камней –
сад слов моих упрямых,
тобой могу я любоваться бесконечно!
Среди теней и красок быстротечных
я пристально ищу
скрещенье чувств,
скрещенье смыслов вечных.

* * *

Тропинки в заросшем саду никуда не ведут,
они обрываются в гуще деревьев.
Ручей не журчит,
и в русле давно пересохшем растут
ирис болотный и розовый клевер.
Воздух спокоен,
ни звука, ни ветра,
только листья валяются, и, кажется, где-то
птица вспорхнула.
Белка прыгнула с ветки на ветку.
Изумрудная капля на ели искрится.
Солнце садится...
В доме пустынном один наблюдаю,
как последние теплые дни истекают
бабьего лета.

* * *

День прошел –
ни стиха, ни страницы.
Но зато мы с ребенком собрали сушняк
и следили за тем, как костер разгорится,
как дымок, поднимаясь с поленьев, змеится
и в небо уходит.
Перед дождями
сгребали с дорожек опавшие листья
и беззаботно могли веселиться,
швыряя друг в друга чудесные хлопья,
шуршащие осенью.
Теплый картофель,
испеченный в золе и остывший немного,
был вкусен и сладок.
Хоть к вечеру ветер слегка разгулялся,
из сада
нам уходить не хотелось.
Тревога

моя растворилась бесследно в веселье
ребенка.
Но только на время.

* * *

Так радостно нам было вместе с сыном,
и женой,
и старыми друзьями!
И все, кого мы любим, были с нами.
Давно
мы столько не смеялись в нашем доме...
...Но я проснулся –
за окном темно,
орешник бьется ветками в стекло,
и ветер листья по дороге гонит.

* * *

Я проснулся.
А ночью мне снилось
поле чистое.
Босоногим мальчишкой
я бежал по стерне.

Я проснулся,
и кажется мне,
что с тех пор ничего не случилось,
просто
я ребенком заснул...
а потом
пробудился седым стариком.

Москва



Татьяна Вольтская

«И если было – то со мною ли?»

* * *

Кто я, Господи, откуда я,
Почему в ночи не сплю,
Плечи в старый свитер кутаю,
От простуды водку пью?

Почему дорога лужами
И ухабами полна,
Почему чужого мужа я
Слушать за полночь должна?

Почему трава не кошена,
И удобства во дворе,
Карандашик в сумке кожаной,
В сердце – точки да тире?

Почему, как заговдрено,
Прет – бурьяном – естество:
Как заводишь речь – не вовремя,
Как полюбишь – не того?

И не дивно ли, не странно ли,
Что заплаканной семьей
Облака летят, как ангелы,
Надо мной и над землей?

Зима

Исаакий плодовит и кряжист,
И ангел спит в его коре.
Сутулый Достоевский, тяжесть
Дворцов, построенных в каре.

И тут же – пушкинская легкость –
Свернешь по улице – видна,
Поддерживавшая под локоть
И Майкова, и Кузмина,

И город, весь припорошенный
Тончайшей пудрой ледяной,
Как будто в сердце пораженный
Любовник оперный, со мной

Немного постоит – и рухнет,
Глаза пустые закатив,
Помяв парик, забросив туфли
С большими пряжками в залив.

Французский

Все языки как языки, и только французская речь
Умеет, как мяч над сеткой, летать, бежать, подпрыгивать, течь.
Она похожа на старый парк, на аллею в солнечных пятнах,
На речку – ты можешь ее не знать, и все же она понятна.
Все языки как языки, а этот ты просто пьешь,
В животе появляются пузырьки, в пальцах – легкая дрожь,
Он вьется дорогой вокруг горы, трещит дровами в печи,
А когда Пиаф пропоет – *Rien* – ты в обмороке почти.
Хорошо, что Пушкин на нем болтал, обычаю не перечая, –
Французский лился из всех плотин на мельницу русской речи.
Да нет, не братья, не двойники – а просто зима, темно,
Метель, перепутаны женихи, отчаянный взгляд в окно.

* * *

Надо же, старая перечница, смотри-ка,
Ты еще хочешь жить, любить,
Продаешь квартиру, полную окостенелых криков
Страсти, горя, ненависти – любых.
Вот она, жизнь, откалывается кусками
Ладожского льда, уплывая с шорохом по Неве,
Крутясь под мостами, обещая вернуться, – песенка городская,
Застрявшая в ухе, горло царапающая. Не верь!
Ах, ты не хочешь сидеть, перебирая прошлое,
В мамином кресле, сливаясь с обоями, но пока
Ты спишь, будущее – железной горошиной
Под дырявой периной толкает тебя в бока.
Неужели ты думаешь заковать это каменное болото,
Обойти со спины извивающуюся страну,
Все ее скользкие шеи, ядовитые зубы, вышедший из моды
Пыточный реквизит? Ну-ну.
Ты думаешь, новые стены не будут к тебе суровы,
Из соседних окон на тебя не нахлынет мгла?
Здесь на каждой стене – непросохшие пятна крови,
Запомни, куда бы ты ни пришла.
Этот город пропитан смертью – не до идиллий,
А сестренка любовь – попрошайка, дворничиха, швея:
Разрывая объятия, из каждой комнаты кого-нибудь уводили.
Кто знает, чья теперь очередь. Может быть, и твоя.

* * *

Лене Чижовой

Мы были счастливы вполне,
Когда нам кляп из пасти вынули –
Не зарыдали по стране,
Не оглянулись – руки вымыли.

Мы проиграли, ты и я,
Бездарно прогуляли оттепель.
Наш крест
взвалили сыновья –
Нам уготованный – и вот теперь

Не нам, а им – тюрьма и кнут.
Мы рядом – плачущей свитой
Пойдем, не нас, а их распнут.
Опять. И это мы их выдали.

* * *

Из трав, от ветра пошедших в пляс,
Из лужи, из глины сырой
Господь слепил тебя в первый раз,
А я леплю во второй.

Из мрака, из талого снега, слез –
Ловя губами, леплю:
Плечо проступает, щека и нос,
И губы, то бишь *люблю*.

Из мха, где комар заложил вираж,
Где прель под еловой корой,
Господь слепил меня в первый раз,
А ты слепил во второй.

Уже проступил под твоей рукой
Затылок, висок, плечо:
Я не видала себя такой
Ни разу. Еще, еще!

* * *

Мы будем точкой с запятой на зимней мостовой,
А снег летит, как Дух святой, над нашей головой,
Не спрашивая имени, у века на краю.
Люби меня, прости меня за песенку мою.
Сквозь пригороды страшные вези меня в такси,
Вон шарфик твой оранжевый – заклятье от тоски,
От свирепеющей чумы и от лица земли,
Куда глядеть обречены, пока не замели

Сугробы нас или менты и прочие кранты,
Всегда под боком у беды, что прячется в кусты.
Ночь растворяется в снегу, как кофе в молоке,
Касается замерзших губ и гладит по щеке,
Но вдруг отступит на шагок, на два шажка всего:
На теле у меня ожог от тела твоего,
И на столе пестреет еда, и кажется нежна
Возлюбленная жизнь,
и смерть – законная жена.

* * *

Мои ли это руки, Господи,
Мои ли в зеркале глаза?
А на стекле – дождик оспины,
А за спиной – леса, леса.

И мой ли это голос слышится –
Глухой, дающий петуха?
А где-то пробегает лыжница
Через сосновые меха,

Оранжевое солнце низкое
Садится за микрорайон,
И бабушка с зеленой мискою
Виднеется в дверной проём,

И ты в прихожей – куртка синяя
И запотевшие очки –
Тире и точки, пятна, линии,
Обрывки, сполохи, клочки.

И сколько крови это стоило –
А выплеснулось, как вода,
И если было – то со мною ли,
И если делось – то куда?

Первые шаги

156 Учителя и ученики

Учителя и ученики

Взрослые – детям

Инна Ищук

Разноцветные стихи

От чего краснеют

Зреют яблоки, краснеют,
Помидоры рядом спеют.
У дороги красный мак
Всем кивает просто так.
Красная в саду малина,
Покраснела и Марина,
Вдруг увидев на дорожке
Симпатичного Серезжку.

Ромашки

Солнце – яркий желтый круг.
И цветов полно вокруг:
Желтая в саду мимоза,
Желтые тюльпан и роза.
В платье желтом и Наташка –
Все гадают на ромашках

На Артема, Юру, Мишу,
Сашу, Николая, Гришу.
Кто сейчас вместо Наташи
Съест тарелку манной каши?

Зеленое

Все зеленое вокруг:
Вот растет зеленый лук,
Зеленеют огурцы –
Длинноногие бойцы.
Шелестят в зеленом клены,
И кузнечик весь зеленый.
Песенку поет нам вслух
Он, взобравшись на лопух.
И с глазами на макушке
Сплошь зеленые лягушки.
Вьется по забору в сад
И зеленый виноград.
И зеленые иголки
Нам показывают елки.
А позеленевший жук
Рассердился на подруг.
Мох зеленый у ограды,
Чтобы мягче было падать,
И коленки все в зеленке
У соседской у Аленки.

Фиолетовый сорт

Фиолетовый абрикос,
Фиолетовый помидор,
Фиолетовый альбатрос.
Фиолетовый мухомор,
Фиолетовая картошка,

Фиолетовый натюрморт.
Это наш пятилетний Антошка
Вывел сам фиолетовый сорт.
Фиолетовые две кошки,
Фиолетовые коляски.
Еще много у Антошки
Фиолетовой краски!

Голубой туман

Голубые океаны,
Как веснушки – острова.
Отчего же все в тумане?
Перепутались слова,
И безмолвно Коля тонет,
Вдруг застыв у школьной карты,
В голубых глазах у Тони,
Что сидит за первой партой.

Сложение

Занята делом Маша,
На пальцах цифры считая
Вода и крупа – будет каша.
Две чайки плюс чайка – стая.
Розу, сирень и ромашки
Сложила в большой букет.
Три малыша – тройняшки.
Четыре строчки – куплет.
Пять пальцев – ладошка,
Шесть яблонь и груш – сад,
А белый кот плюс рыжая кошка –
Семь полосатых котят.

Вкусный цвет

Я сегодня на обед
Выбираю вкусный цвет.
Возьму я из кладовки
Оранжевой морковки,
Коричневой картошки
И белой соли ложку,
И свеклы бордовой,
Зеленый лук метровый,
И зеленый огурец,
И горошек наконец.
На доске я покрошу,
В миску все цвета сложу.
Получился на обед
Разноцветный винегрет.

* * *

Люди бывают белые,
Бывают и с черною кожей,
Смуглые – загорелые,
И краснокожие – тоже.
А есть еще и зеленые,
Зеленые и в линейку,
Как присевшая в парке Алена
На покрашенную скамейку.

Белые

За окном снег чист и бел,
К нам из тучи прилетел,
В белом вся земля и крыши,
Белый кот и даже мыши.
И мой папа побледнел
Возле елки, словно мел.

Потому нет на елке
Ни одной уже иголки,
Ни гирлянды, ни игрушки
После выстрела хлопушки!

Ключик

Что случилось с куклой Аллы?
Алла ключик потеряла.
Кукла – самый лучший друг,
Стала неподвижной вдруг.
Не поет и не моргает
По дорожке не шагает.
Ключ искала на полу,
Под диваном и в углу,
Но нашла орех и вилку,
И пропавшую мобилку.
Гайку, молоток и мыло,
По местам все разложила.
В ванну отнесла мочалку.
И на кухню терку, скалку.
А под утро на диване
Ключ нашла в своем кармане.
Куклу Алла завела –
Кукла сразу ожила.
Глазками она моргнула,
Спела песню и заснула.
Рядом с ней легла и Алла.
И спокойно в доме стало.

Дети – взрослым

Максим Толстиков, 14 лет

«Кошкин дом» для одесских котеек

Мы построим «Кошкин дом»,
Чтоб уютно было в нем.
В лютый холод, в снегопад
Теплый дом всем будет рад:
И комфортно будет там
Местным кошкам и котам.
Всем усатым и хвостатым,
С пятнами и полосатым,
Белым, рыжим и буланым
В слякоть, дождь, буран, туманы –
Непогодам всем назло
Будет крыша и тепло.
Утеплим внутри квартиры,
Чтоб мяукалы-задиры
Научились дружно жить
И *котэджем* дорожить.
Три кормушки, когтеточку
Разместили в уголочке,
Вход – как мордочка с ушами –
Как красиво! Любо глянуть!
Мы нальем в поилки воду,
Лестницу приберем ко входу.
Любопытны наши кошки:
В каждой комнатке – окошко.
Летом жаркие денечки,
Хорошо, что дом в тенечке!
И зимой, и в дождь, и в стужу
Кошкам этот домик нужен.
Теплой крышею накрытый,
Будет домик знаменитым!
Наши кошки и коты,

Любопытные хвосты,
Новоселья дружно ждали
И в работе помогали.
Пели песни на кошачьем,
Терлись спинками об ноги –
Им теперь клыки собачьи
Не страшны в своем чертоге.
Вот уже закончен дом
И исследован котом.
Принят кошками двора.
Тут сбежалась детвора,
Нанесли еды и корма,
В десять раз превысив нормы
Для кормления хвостатых,
Гладкошерстных и косматых.
И довольное мурчанье,
Как кошачье признание,
Что мы люди-человеки
Взяли под свою опеку
Всех котеек дворовых,
Не оставили одних.
Ведь одесские коты
От людей ждут доброты
И внимания немножко –
Так хотят коты и кошки!
Если б каждый двор большой
Перед лютою зимой
Для котов построил дом –
Был бы город молодцом!
И Одесским Котоградом
Называть его бы рады
Гиды-экскурсионисты,
Одесситы и туристы!

Юлия Байда, 17 лет

«Одесский художник»

Мы идем с огромным псом,
Пес сопит упрямно,
Машет бубликом-хвостом
С кисточкой задорной.
Этой кистью две недели
Пес в берете и с шарфом
Все рисует акварели
С неподдельным торжеством.
В Горсаду художник важно
Демонстрирует альбом:
Видим чаек бесшабашных,
Видим натюрморт с котом,
Вот буксир, чихая громко,
Тянет в море круг луны,
Вот Одесса в дымке тонкой
Цвета шепота волны.
Мы идем с едой в кармане,
Вдохновились, как могли,
Побывали на лимане –
Это круче, чем Бали.
Холст и краски – пес в работе,
Лишь сопит усердно нос.
Как картину назовете,
Наш лохматый виртуоз?!

Александра Бакуменко, 19 лет

В мышинной шкуре

Жил в доме со своей хозяйкой кот Миня. Целыми днями он спал, ел рыбку и ловил мышей. Последним занимался он с наибольшим удовольствием.

– Мыши, – говорил кот Миня, – бесполезные и наглые воришки. Постоянно воруют зерно с пшеничного поля и крошки с нашего стола. Ловил, ловлю и буду их ловить!

С этими словами кот потянулся и сладко заснул на своей подстилке.

Вскоре кот проснулся и решил пообедать. Пошел он к своей тарелочке, видит – а она стала размером с огромный таз!

– Я сегодня хорошо себя вел, и хозяйка налила мне так много молока, как никогда раньше! Пойду поблагодарю хозяйку.

Миня подошел к хозяйке сзади, начал ей мяукать. Хозяйка обернулась, посмотрела, что это за звуки, и как заверещала, запрыгнула на стол и начала бросаться в кота всем, что под руку попадало! Кот так испугался, что выбежал из дома на улицу и, плача, побежал подальше, в сторону пшеничного поля.

– Зачем же так хозяйка со мной поступила! Зачем кидала в меня вилки и тряпки? – задавался вопросом Миня.

Он проходил мимо лужи, решил попить из нее воды, чтобы прийти в себя. Заглянул в нее – и обомлел! В воде отражалась не морда кота, а мордочка мыши. Кот протер лапами глаза, посмотрел в лужу еще раз – из воды на него смотрела курносая серая полевая мышь! Миня заверещал от ужаса, в панике побежал вглубь поля и рухнул на землю без чувств.

Очнувшись, кот Миня, а вернее, уже мышь Миня, увидел вокруг себя много других мышей. Он по своей привычке хотел вскочить, чтобы отловить пару штук, но тут к нему подошла самая старшая и самая главная Мышь.

– Ты откуда пришел? С какого участка поля? – спросила она.

– Я не с поля, я из дома пришел... – ответил испуганный Миня.

– Декоративный, что ли? – с недовольной мордочкой спросила Мышь. И, повернувшись к остальным мышам, констатировала:

– Декоративные ничего не умеют. Такие мыши просто людей развлекают... Они на нашу работу не годятся.

– На вашу работу?! – удивился Миня. – А какой это работой вы занимаетесь, кроме того, что зерно с полей да крошки в домах воруете?

Все мыши зло посмотрели на Миню.

– Раз ты уж к нам прибился, будь добр поинтересоваться, что мы тут делаем, заодно и поможешь нам – нам лишние лапки не повредят, – строго ответила старая Мышь.

Мине деваться было некуда. В облике мыши домой вернуться он не мог. А здесь, среди мышей, он может чувствовать себя более-менее спокойно.

Сначала старая Мышь повела Миню к полевым грядкам, где ряды пшеницы были реже, чем остальные.

– Видишь, как на этих грядках плохо прорастает пшеница? – обратилась к Мине старая Мышь. – Наша задача – прорыхлить в грядке землю, чтобы почва начала обогащаться кислородом и лучше впитывать дождевую воду. Тогда и урожая будет больше, а значит – и хлеба в домах людей.

Трудился Миня с остальными мышами весь день. На следующее утро – новая работа.

– Видишь, на колосьях поселились букашки-вредители, – обратилась старая Мышь к Мине. – Наша задача – защитить пшеницу от них. Так мы и урожаем спасем, и на зиму съедобных запасов себе засушим.

Весь день наравне с остальными мышами Миня собирал букашек с колосьев и засушивал на зиму.

– Теперь я понял, какую пользу вы приносите! И то, что вы зерно и крошки себе забираете, – это справедливая плата за ваш труд, – сказал Миня мышам.

– И ты молодец, – сказала старая Мышь, – ты показал, что можешь хорошо работать! Ты можешь остаться в нашей большой семье.

Заплакал Миня. При всем уважении к мышам он хотел снова стать котом и вернуться домой к своей хозяйке. Признался Миня мышам, кто он на самом деле, и какое волшебное превращение с ним случилось. Мыши внимательно выслушали Миню и грустно ответили:

– Прости, Миня, но ты не можешь остаться с нами. Пусть ты и в мышинном обличи, но все же ты кот. И твои кошачьи инстинкты и привычки могут быть опасными для нас.

Грустный Миня извинился перед мышами, еще раз поблагодарил их за их тяжелейший труд на благо урожая и побрел куда глаза глядят.

Идет, идет, и вдруг слышит мышиный писк и крики о помощи:

– Ужас! Нас хочет съесть лесная кошка! Срочно бежим по норам!

Миня понял, что это кричит его мышиная семья, срочно вернулся обратно и встал на дороге перед злой и голодной лесной кошкой. Кошка удивилась такому повороту:

– Ты чего это мне мышей загораживаешь? Ты же сам кот, почему ты их защищаешь?

«Кот?! – подумал про себя Миня. – Я снова стал котом!!!» – радостно закричал он в мыслях.

– Да, я кот! И это моя территория, я давно ее занял! Это моя еда! Ищи себе другое место! – зашипел по-кошачьи Миня.

Лесная кошка молча убежала прочь в сторону леса. А мыши, трясаясь от страха, пищали:

– Не ешь нас, пожалуйста!

– Да вы чего, ребята? Это же я – Миня! Я снова стал котом! Но я не буду вас есть, ведь кто тогда будет заботиться о пшенице?

Так кот Миня стал дружить с мышами. Втайне от хозяйки подкармливать их крошками и семечками, помогать им в поле. И других котов не забывал учить такому уважению, а иначе – у них всегда будет волшебная возможность побывать в мышинной школе...



Искусство – ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО

- 168 Галина Манаева**
Дерзновения и всполохи Михаила Латри
- 180 Ева Краснова, Анатолий Дроздовский**
Почти детективная фотографическая история
в старой Одессе
- 188 Юрий Дикий**
«Святая к музыке любовь»
- 202 Леся Орлова**
Кто вы, чекист Блюмкин?
- 217 Александр Дорошенко**
«Отпусти мой народ...»
- 238 Михаил Пойзнер**
«Уже только эти слова меня вылечивают...»
- 246 Евгений Голубовский**
Заложник вечности
- 251 Инна Голубович**
«Из всех крошек самые главные...»

Галина Манаева

Дерзновения и всполохи Михаила Латри

«Художник обязан показывать нам, сколь хороша жизнь. Иначе у нас появились бы сомнения».

Анатоль Франс

Великий маринист Иван Константинович Айвазовский взрастил в Феодосии блестящую плеяду художников, сформировавших впоследствии единственную в мировом культурном наследии киммерийскую школу пейзажа. В ее состав вошли К.Ф. Богаевский, М.А. Волошин, А.В. Ганзен, М.П. Латри, Л.Ф. Лагорио, К.К. Арцеулов, Э.А. Магдесян, А.И. Фесслер, укрепившие фундамент художественной жизни Феодосии 1900-1920 годов. Поскольку некоторые из них уехали за границу, первые пятьдесят лет советской власти существовал негласный запрет на упоминание об их судьбах и творчестве. Только в последние годы появилась возможность вернуть эти имена в культурное пространство.

Выдающимся художником киммерийской школы морского пейзажа и педагогом нового поколения мастеров признан сын старшей дочери И.К. Айвазовского Елены и одесского врача Пелопида Саввича Латри Михаил. Он – выпускник Ришельевской гимназии.

Любимый внук Михаил успешно окончил Петербургскую Академию художеств, где занимался с 1896 по 1902 годы с перерывами в пейзажном классе А.И. Куинджи. Архип Иванович, рассматривая его работы на приемных экзаменах, сказал: «Вот, господа, как надо относиться к этюдам, с такой любовью и так добросовест-

но работать». Михаил учился в Мюнхене, путешествовал по Греции, Италии, Турции, Германии. С 1902 года участвовал в Весенних выставках Петербургской Академии художеств и Венского Сецессиона, «Мире искусства» (Санкт-Петербург, Москва, Киев, 1912-1913 гг.), «Выставке живописи 1915 г.» (Москва). Картины феодосийца Латри репродуцировались в журналах «Мир искусства» и «Огонек».

Михаил Латри стал одним из создателей и учредителей «Нового общества» художников в Петербурге (1904-1915, с перерывами). Полный надежд на удачу, он пишет К.Ф. Богаевскому: «Милый друг Костя! Спешу тебя обрадовать: мы устраиваем, на этот раз решительно и окончательно, с соизволения и разрешения Архипа Ивановича свой кружок и свою выставку!.. Все выяснилось сегодня утром, и теперь дело на полном ходу, плотина прорвана и будет игра не на жизнь, а на смерть». Конечно, ему, молодому художнику, нелегко было выдержать конкуренцию, однако «Новое общество» оставило свой след в художественной жизни России начала прошлого века.

Его имя вспоминает С.П. Дягилев, организатор творческого содружества «Мир искусства», организатор исторических Русских сезонов за рубежом. Сергей Павлович в статье от 1903 года, закрывая свой одноименный журнал из-за материальных затруднений, дает общую оценку российского художественного мира. В частности, экспозиции конкурентов называет «обнаженной бездарностью», «свалкой... старой и новой дряни», «циничной пошлостью». И далее Сергей Павлович пишет: «Причины такого запустения ясны: с передвижной выставки ушли последние



Михаил Пелопидович Латри

оставшиеся там силы – Архипов, А. Васнецов, Виноградов, Пастернак... на академической отсутствуют ученики Куинджи – Рылов, Латри, Богаевский и другие, составлявшие единственную группу, имевшую какую-либо ценность и значение».

Получив диплом и звание классного художника за картину «Осенний ветер», Латри уехал в 1905 году на родину деда, в Феодосию, имение матери Елены Ивановны – Барон-Эли, в двадцати двух километрах от Феодосии. Иван Константинович был крупным землевладельцем, разводил фруктовые сады, имел молочную ферму, паровую мельницу. Всех детей и внуков маринист обеспечил имениями. Барон-Эли – ныне село Каштановка – сохранилось полностью. Но усадьба в окружении каштанов и неумолчного источника пустует.

Из самых ранних работ Михаила Латри, не порывавшего столичные связи, следует отметить картину «Восход солнца на море», написанную в подражание И.К. Айвазовскому. Лучшие произведения внука маэстро посвящены Черному морю, но немало и работ, в которых переданы крымские впечатления от предметов, погруженных в постоянно изменяющуюся атмосферу. Он – один из тех крымских пейзажистов, кто наиболее ярко выразил эстетические принципы Серебряного века, утвердил в искусстве живописный этюд как самостоятельный жанр. Завораживают сочными переливами лиловых оттенков и своеобразным ритмом этюды «Сирень в цвету», «Поле ирисов». Импрессионистический подход характерен для ряда работ, в которых метко схвачено мгновенное состояние природы. Индивидуальность, творческая самостоятельность, высокое мастерство, достигнутое талантом и трудом, – качества, присущие живописцу.

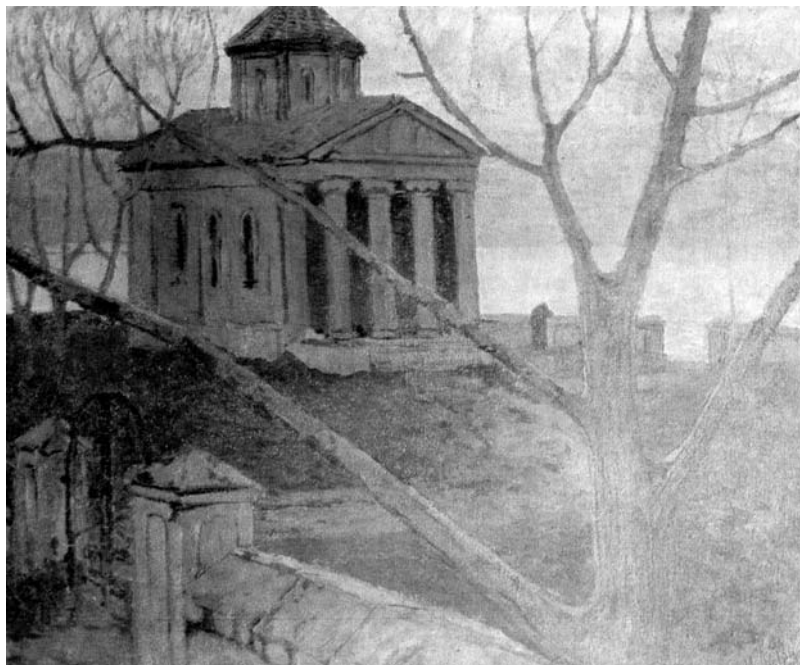
Море присутствует на многих полотнах художника. Море Латри – ребяческое, веселое, пронизанное минорной улыбкой художника («Рыбачья пристань»). В архитектурных и морских пейзажах «Отузы», «Бахчисарай», «Осень», «Дом у залива», «Кипарисы у стены», «Восход луны», «Лунная ночь на море», «Свежий ветер» он использовал для передачи воздушной дымки светлую палитру. Латри в Крыму общался и дружил с художником К.Ф. Богаевским. Они совместно работали в имении Барон-Эли, участвовали в престижных выставках. Так, например, на весен-

ней выставке в Академии художеств 1903 г. М.П. Латри выставил картину «Красный дом», а К.Ф. Богаевский – «Древняя крепость».

В имении Михаил Латри развил планомерную всеохватывающую деятельность: оборудовал сначала живописную мастерскую, занялся организацией сельского хозяйства, иллюстрацией книг, и только изредка показывался в городе. Он принимал Максимилиана Волошина, Алексея Толстого, Константина Богаевского, сестер Аделаиду и Евгению Герцык. Вместе с супругой Ариадной Николаевной Арендт иногда выезжали в свет. Предвоенная Феодосия тогда, по воспоминаниям Анастасии Цветаевой, была полна «уютных семейств, дружеских праздничных сборищ, ожидания гостей, наивного восхищения талантом». Таким был дом Н.А. Айвазовской, К.Ф. Богаевского, где пела Ариадна Николаевна, представительница знаменитой фамилии врачей. Один из них, Николай Федорович Арендт, лейб-медик императора Николая I, находился у смертельно раненного поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Анастасия Ивановна так ее описывает: «У рояля палисандрового дерева – полная женщина лет сорока, русоволосая; большие голубые глаза ее полуприкрыты веками, она поет старинный романс. У нее приятный, поставленный голос... На диване под огромным полотном Богаевского – провалом в Киммерию под огнем клубящихся туч, Сережа (Эфрон. – **Прим. автора**) и Михаил Латри – прообразы пылающей Юности и сухо тлеющего огня Мужественности...». Наверное, сравнение «сухо тлеющего огня Мужественности» осталось самой яркой, точной, в чем-то субъективной характеристикой Сергея Яковлевича Эфрона и Михаила Пелопидовича Латри. Впереди у них – непростая, полная преодолений, разочарований и всполохов жизнь.

Латри увлекался живописью и керамикой, устроил в своем доме две мастерские для занятия обоими видами искусства. Это была первая керамическая мастерская, построенная в Старом Крыму, глины которого славились своим качеством еще со Средних веков. Нередко художник экспонировал на выставках не только живопись, но и свои керамические изделия, в частности, в Салонах Издебского. Владимир Алексеевич Издебский (1882-1965) – скульптор, выдающийся театральный деятель, художник. Под его



М. Латри. Храм над морем

патронатом впервые открывшиеся Салоны в Одессе, в 1909 году, стали ярким опытом совместных выставок новых направлений в русском и западном искусстве. Одесские Салоны взорвали художественную жизнь юга России. Выставки в разных городах России по образцу парижских собирали самых разных художников со всех концов света, вызывали в столицах шумные публичные скандалы. Список течений, представленных на вернисажах, был масштабен – от передвижников до кубистов. На вернисажах присутствовали известные критики, журналисты, проходили консилиумы, лекции, показывались спектакли.

Полностью передоверив выставочные дела К.В. Кандаурову, Латри пишет ему (5 января 1912 г.): «Список картин привожу на отдельной бумажке. Цены решительно не знаю. Очень прошу

Вас поставить – это гораздо виднее там на месте в зависимости от разных условий. Мне все равно, так как я давно уже махнул рукой на продажу. Одним словом, предоставляю Вам на полное Ваше усмотрение. Для того, чтобы не оставить Вас в неловком положении, сим заявляю, что если бы Вам пришлось продать что-нибудь за сто рублей, я в претензии не буду».

Позднее, когда Латри был снова в затруднительной ситуации, и пришло сообщение о продаже его картины, Михаил сейчас же написал К.В. Кандаурову: «Очень обрадовался полученному известию о продаже в Петербурге картины «Бабушкины именины». Напиши об этом словечко, а также намекни, чтобы послали (деньги. – **Прим. автора**) мне скорее сюда».

О жизни в имении подробно рассказывает директор картинной галереи Ивана Айвазовского Н.С. Барсамов в книге «Айвазовский в Крыму». Он приводит воспоминания В.И. Беляева, в прошлом капитана медицинской службы Советской армии, который в молодости с 1910 по 1914 год работал в усадьбе Латри. По сведениям капитана, художник заботился о работниках, входил также во все нужды их семей. Кухня у всех была общая: Михаилу подавали к столу то же, что и рабочим.

У Латри не было детей, но малышей он очень любил и никогда не уезжал зимой из экономии в город, пока не справлял для них елки с подарками на рождественские праздники. Отношение художника к людям, которые окружали его, работали рядом с ним, всегда было глубоко гуманным. В 1914 году, когда В.И. Беляев был мобилизован, художник в течение всей войны ежемесячно высылал ему пятьдесят процентов его зарплаты, что в то время было явлением исключительным.

В начале 1900-х годов Михаил Латри заведовал Феодосийской картинной галереей, но поскольку административная работа пришлась ему, как и другим внукам Ивана Константиновича Айвазовского, не по душе, продлилась она недолго. Михаил мог бы стать единственным внуком, имеющим право носить фамилию деда, но все же отказался от столь почетного права. Его получил брат Александр Пелопидович Латри. Он в 1908 году имел звание корнета 17-го Нижегородского драгунского его величества полка Кавказской кавалерийской дивизии 2-го Кавказского армейского

корпуса. В 1909 году служил в чине поручика в том же полку. А.П. Латри (19 декабря 1883 г., Одесса – 1958 г., Одесса) не был художником, но благодаря ему Иван Константинович, не имевший сыновей, реализовал свою мечту о наследнике фамилии. В трехлетнем возрасте маленький Саша поселился у бабушки в Феодосии. Айвазовскому удалось уговорить родителей внука, чтобы ему позволили усыновить мальчика и дать тому свою фамилию. Художник направил прошение государю: «Не имею сыновей, но Бог наградил меня дочерьми и внуками. Желая сохранить свой род, носящий фамилию Айвазовский, я усыновил своего внука, сына старшей дочери – Александра Латри, ребенка мужского пола доктора Латри, о котором я уже сделал объявление. Осмелюсь просить усыновленному внуку Александру дать мою фамилию, вместе с гербом и достоинствами дворянского рода». Разрешение было получено через месяц после смерти И.К. Айвазовского.

Александр посвятил маринисту стихотворение. Оно так и называется, «Художнику-маринисту И.К. Айвазовскому», и до революции было опубликовано в журнале «Нива»:

...Ревело море... Вал седой
О скалы с шумом разбивался,
И с ветром вой его сливался,
Грозя несчастьем и бедой.
Утихло море... Даль манила
Простором, негой, тишиной...
Но и под стихнувшей волной
Таилась дремлющая сила...

М. Латри признан преданным певцом природы Восточного Крыма. Произведения, хранящиеся в Феодосийской картинной галерее, Военно-Морском музее (Санкт-Петербург), Симферопольской картинной галерее и ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва), свидетельствуют о высокой значимости работ.

В 1920 году художник уехал в Грецию. Вот что записывает Владимир Купченко 22 (7) сентября 1920 года, страница 106 в книге «Труды и дни Максимилиана Волошина»: «Лампси и Латри уехали в Грецию весной... А.Н. Латри осталась в Симферополе...». Михаил



М. Латри. Гавань

покинул Феодосию с третьей женой, гречанкой Анной Орешевой. Она происходила из семьи Рыковских, проживавшей в Феодосии, на Адмиральском бульваре, номер 26. В Афинах художник руководил Королевским керамическим заводом. А в это время, в июле 1923 года, в Феодосии развернулось общественное движение за открытие выставки трехсот картин Латри, обнаруженных в галерее Айвазовского.

В 1924 году художник переселился в Париж, где построил образцовую декоративно-художественную мастерскую. По некоторым сведениям, в ней трудились около тридцати соотечественников, эмигрировавших из России. Латри разрабатывал эскизы, по которым создавались вазы, сервизы, экраны для каминов, фонтаны, шкатулки для украшений и другие вещи, в оформлении

которых использовались элементы русского лубка, греческих и персидских мотивов и орнаментов в стиле ар-деко. Это направление, которому свойственно слияние многих культурных мотивов, сочетало в себе три «Э»: эклектичность, эксклюзивность и экзотичность.

Михаил Пелопидович практически оставил профессиональное занятие живописью, посвящая керамике и декоративному искусству все свое время. Его работы пользовались большим спросом на художественном рынке Америки.

В свободные часы Латри писал трактат о пейзажной живописи, который не успел издать.

Не совсем ясно, как сложились отношения художника со второй женой А.Н. Арендт. По сведениям родственников, сообщенным автору этого эссе, Ариадна Николаевна умерла в Париже. Жила она, скорее всего, у родственников по адресу Rue de Listropad trois, и, по документальным записям волошиноведа В.П. Купченко, Ариадна Николаевна обучалась пению у Полины Виардо.

А первая супруга художника Екатерина Николаевна Грамматикова (1885-1967) – тоже из известного феодосийского рода. Его основатель Э.Э. Грамматиков (1773-1829) прибыл в Феодосию в 1795 году. Юная Катенька пленила Михаила своей красотой, а он ее – своей добротой и наивностью, талантом, мужским обаянием и целеустремленностью. Однако их брак вскоре распался.

После развода двадцатилетняя Екатерина Николаевна становится супругой царского офицера Владимира Георгиевича Васмундта (1872-1941), с которым после революции тоже уезжает во Францию. С 1921 года она жила во Франции. Вокруг рода Грамматиковых сложилось немало легенд, не избежала некоторых из них и Екатерина Николаевна. Однако достоверно известно, что она работала аккомпаниатором в парижской балетной студии Матильды Феликсовны Кшесинской (1892-1971), примы-балерины Императорских театров, возлюбленной будущего императора Николая I. Ее поклонниками были великие князья, а мужем стал Андрей Владимирович, после чего Матильда получила титул княгини Красинской (1926), затем светлейшей княгини Романовской-Красинской (1935).

Екатерина Николаевна соприкасалась со многими известными деятелями искусств, которые часто бывали в гостях у балерины. Вот что пишет Матильда Кшесинская в своих «Воспоминаниях» в главе «Федор Иванович Шаляпин»: «В первые годы, что я открыла студию, ко мне поступили две дочери Ф.И. Шаляпина, Марина – 10 октября 1929 года, и Дася – 8 ноября 1930 года, его



М.П. Латри

любимица и младшая в семье... Как-то раз Федор Иванович стал просить меня станцевать у него «Русскую». Я никогда не любила танцевать в частных домах, но Федор Иванович так умел просить, что нельзя было ему отказать. Я только поставила условие, что соглашусь, если он сам поет. На этом и порешили. Марина обещала станцевать свой вальс, который я ей поставила. На обеде присутствовала моя аккомпаниаторша Е.Н. Васмундт». В главе «Пасхальная ночь у меня в доме с 19 на 20 апреля 1952 года» Матильда Кшесинская упоминает еще двоих Грамматиковых, с которыми она встречала праздник. Это Георгий Александрович и Елизавета Павловна.

До сих пор считалось, что она после смерти В.Г. Васмундта больше не выходила замуж. Но вот недавно удалось обнаружить об этой замечательной женщине новые сведения. И связаны они с ныне забытым именем – Г.П. Гирчичем, человеком необычной и в то же время в чем-то типичной для того времени судьбой. Григорий Гирчич родился в 1875 г. в г. Старобельске Харьковской губернии. Получил хорошее юридическое образование, являлся действительным членом Южнорусского общества акклиматизации, затем статским советником. Как принципиальный неподкупный специалист Гирчич был назначен следователем по делу убийства Г.Е. Распутина. После революции Григорий Петрович эмигрировал в Тунис, французскую колонию, затем переехал в Париж. В эмиграции ученый с 1934 по 1939 год опубликовал

несколько статей по орнитологии на французском языке в журналах «Alauda» и «L'Oiseau».

Видимо, после смерти мужа В.Г. Васмундта в 1941 году Екатерина познакомилась с Григорием Петровичем и вышла за него замуж. Он умер в 1944 году, у Екатерины Николаевны хранился весь архив, который она впоследствии передала родственникам.

Встречалась ли она там со своим первым мужем Михаилом Латри, неизвестно, хотя в Париже они оказались почти одновременно. Екатерина Николаевна жила насыщенной жизнью, уныние ей было несвойственно. В старческие годы поселилась в Русском доме Кормей-ан-Паризи. Как пишет известный французский славист Рене Герра, «на западе от Парижа, в Кормей-ан-Паризи, и по сей день находится большой старческий дом Земгора. Там жили драматическая актриса Е.Н. Рощина-Инсарова (1883-1970), которая играла на сцене Малого и Александрийского театров, и известный художник Н.В. Зарецкий (1876-1959), устроивший там даже несколько выставок своих работ. Позже я навещал художника А.К. Орлова (1899-1979), ученика С.А. Мако и друга С.И. Шаршуна, который меня с ним и познакомил. Также бывал я там у известной оперной певицы М.С. Давыдовой (1889-1987), артистки Театра музыкальной драмы (1912-1918), которая пела в Париже в театре Елисейских Полей вместе с Ф.И. Шаляпиным». Екатерина Николаевна прожила 82 года, похоронена, вероятно всего, рядом с Григорием Петровичем Гирчицем, в Бретани, маленьком городке Ла-Боль.

Работы Михаила Латри находятся во многих музейных собраниях, среди них – Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Лувр. Самая большая коллекция, 523 живописных, графических и керамических его работы, хранится в Феодосии, в картинной галерее им. И.К. Айвазовского. В 2006 году в Москве в рамках выставки «Парижане» москвичи знакомились с неизвестными акварелями художника из частных коллекций. Прямых наследников он не оставил. По инициативе внучатого племянника художника доктора медицины Генри Сэнфорда в Лондоне в 2007 г. с большим успехом прошла выставка-ретроспектива работ мастера, знаменовавшая новый этап его творчества. Есть небольшой фильм об этой экспозиции. Генри



Памятная доска поэтам Серебряного века

Сэнфорд приезжал в 2005 году в Феодосию на конференцию, посвященную 125-летию основания картинной галереи.

Умер М.П. Латри 11 февраля 1941 года, похоронен на Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. Номер могилы – 137. В 2020 году, в октябре, был его юбилей, 145-летие со дня рождения.

Внук Ивана Айвазовского не входил ни в одно из эмигрантских творческих объединений Парижа. Лишенный отеческих корней, пережив всю глубину и трагизм одиночества, отчаяния, он смог в своем наследии передать потомкам свое восхищение миром.



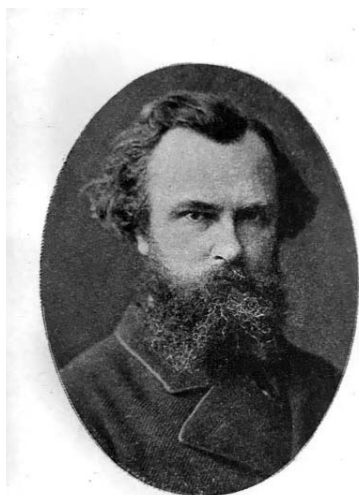
Ева Краснова, Анатолий Дроздовский

Почти детективная фотографическая история в старой Одессе

В 2013 году мы выпустили альбом по истории одесской фотографии, где привели известные нам сведения и коллекционные фотоработы более чем 150 мастеров светописи, трудившихся в Одессе с 1860-х до 1940-х годов. Через некоторое время после выхода альбома наш друг исследователь Виктор Михальченко наткнулся на статью в первой в Одессе коммерческой газете

«Новороссийский телеграф» за апрель 1881 года. Издателем ее в то время был известный в городе архитектор М.П. Озмидов. В двух номерах газеты приведена статья, подписанная, видимо, псевдонимом – Боррисс, описывающая сложные взаимоотношения между маститыми фигурантами одесской светописи того времени: Рудольфом Феодоровцем, Иосифом Мигурским и Василием Чеховским. Статья эта прояснила для нас не совсем понятные ранее обстоятельства жизни этих незаурядных людей.

Для тех, кто не знаком с нашим альбомом, расскажем вкратце об этих людях. Корифей фотографического дела в



Фотографъ Федоровецъ.

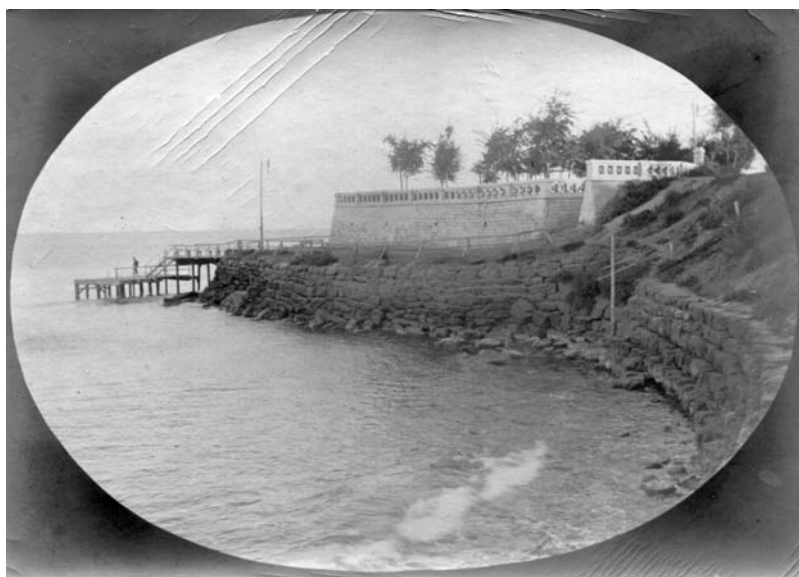
Одессе английский подданный Рудольф Феодоровец, видимо, был не самым предприимчивым человеком. Несмотря на свое высокое художественное и фотографическое мастерство, он долго не мог накопить средства, необходимые для открытия собственного фотозаведения. Поначалу он был гравером в заведении Александра Хлопонина, затем трудился в фотомастерской Мориса Гешелеса, позднее «доводил до высшей степени совершенства портреты, выполненные в фотосалоне госпожи Чечель». Только в 1862 году Рудольф Феодоровец с помощью





своего друга предпринимателя Иосифа Гладышевского сумел открыть собственное фотозаведение в Театральном переулке.

Позднее, в справочнике 1875 года, указано, что мастерская Феодоровца находится на Дерибасовской в доме Новикова. Феодоровцу одинаково хорошо удавались и великолепные портреты состоятельных одесситов, и натурные съемки. Его фотографии одесских видов в характерных овалах украшают нашу коллекцию.



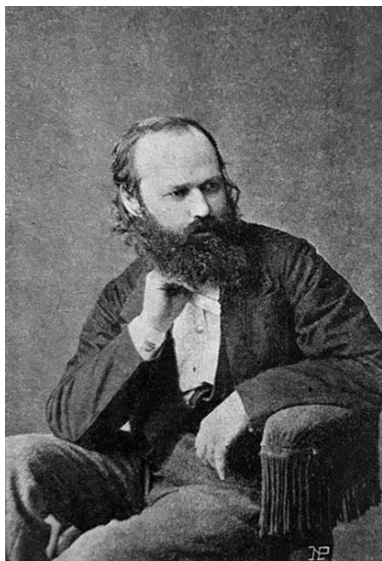
Александр Дерибас в статье о фотографах прошлого писал: «Тут же красавец-поляк Иосиф Мигурский оживленно жестикулирует, убеждая в чем-то бледного всегда спиритически настроенного Феодоровца: оба фотографа, оба чистейшие художники».

Польский дворянин Иосиф Карл Мигурский родился в 1830 году, окончил престижный Ришельевский лицей, в 1855 году открыл Фотографический институт, написал первый в России учебник по фотографии. Мигурский создал прекрасную большую серию производственных фотографий, отражающих ремонтные работы в порту и строительство эстакады.

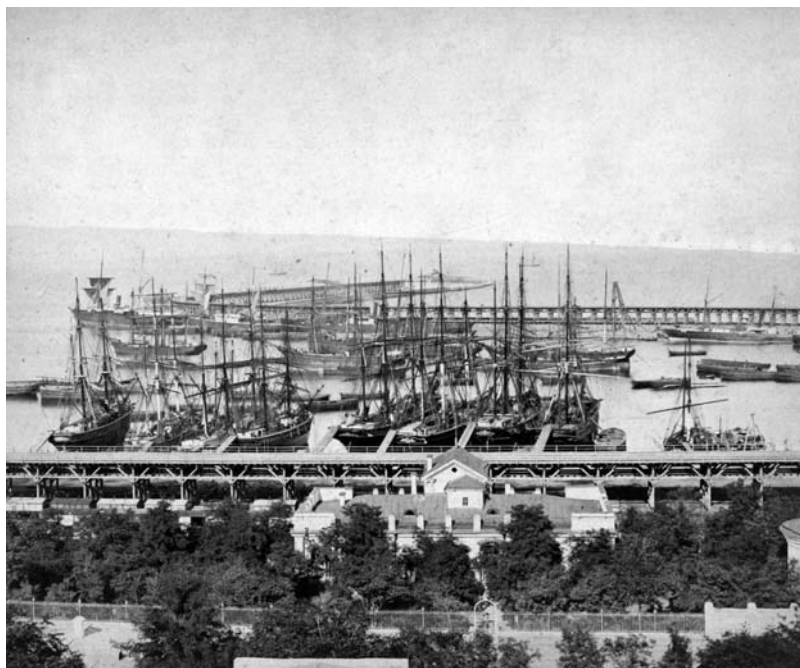
Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Мигурский отправился как фотограф в действующую армию. Пошел ли он на этот поступок из любопытства, или им двигало желание заработать – мы не знаем. Во всяком случае последнее найденное нами упоминание о фотозаведении Мигурского относится к 1887 году, и находилось это заведение тогда вблизи Нового базара. Это говорит о явном недостатке средств после тридцатилетнего труда на фотографическом поприще.

Отправляясь к театру военных действий, господин Мигурский оставил в своей фотографии управляющим Василия Чеховского – сына писца из Балты, предприимчивого молодого человека, выпускника художественного училища, а затем и фотографического института Мигурского.

Наконец мы познакомили читателей со всеми фигурантами дела и подошли к трагическим событиям, о которых хотим



Фотографъ
I. К. Мигурскій.



рассказать. В 1878 году маститый фотограф Рудольф Феодоровец внезапно умер, оставив пятерых детей – четырех дочерей и сына – без средств к существованию. Совершеннолетней была только старшая дочь Евва (так она себя называет в сохранившихся архивных документах). Оказалось, что на фотографическом заведении Феодоровца, которое вроде бы успешно работало много лет, висит долг в девять тысяч рублей. Опекун детей, друг их отца и главный кредитор Иосиф Гладышевский посчитал, что продавать заведение невыгодно, учитывая военное время и падение цен. По соглашению с другими кредиторами он предложил продолжить дело Феодоровца и сохранить фирму отца для детей.

Однако для Еввы Феодоровец эта задача оказалась непосильной. Поэтому господин Гладышевский пригласил на должность управляющего фотозаведением Василия Чеховского, которому



Гладышевский покровительствовал во время учебы.

Управляя заведением покойного Феодоровца, тот использовал его фирменные паспарту с надпечаткой «управляемая Чеховским». Таких фотографий несколько в нашей коллекции.

Автор статьи далее сообщает, что Чеховский обманым путем завладел квартирой Феодоровца, выжив оттуда его детей. За два с половиной года с 12 марта 1878 по 14 ноября 1880 года по отчетности Чеховского 31.000 рублей были истрачены неизвестно куда без оправдательных документов. Была создана комиссия во главе с Иосифом Мигурским, которая должна была выяснить, какой ущерб сиротам и кредиторам нанесла такая деятельность управляющего.

Иосиф Мигурский, вернувшись из армии, четыре месяца бесплатно пересматривал счета, пытаясь найти неучтенные фотографии. Однако Василий Чеховский поначалу отказался от предложения решить дело миром и компенсировать украденное. Наоборот, в обход сирот он попытался заключить договор с домовладельцем





Новиковым, но тот сдал помещение другому лицу. Дело было передано в суд.

Мы не нашли на страницах «Новороссийского телеграфа» и других газет продолжения эпопеи. Но, видимо, некое соглашение сторон состоялось, и какая-то часть денег была возвращена детям покойного Феодоровца, так как Чеховскому скандал был не нужен. Он в это же время открыл заведение на Дерибасовской, 13, в доме Сепича, и разместил рекламу об этом в следующих номерах той же газеты. Фотография В. Чеховского успешно работала на этом месте до 1898, когда он перебрался с женой в Москву, открыв заведение в центре Москвы на Петровке. Фотография в Одессе была продана фотографу Якову Белоцерковскому, который, выполняя соглашение с прежним владельцем, писал на паспорту еще десять лет: «Фотография Я. Белоцерковского и В. Чеховского».

В архиве мы обнаружили заявление опекуна детей Р. Феодоровца дворянина Иосифа Гладышевского о переводе фотографии, бывшей Феодоровца, из дома Новикова (Дерибасовская, 12) в дом Греческого училища (Дерибасовская, 14), написанное в 1882 году. Видимо, это была последняя попытка для наследников фотографа продолжить дело отца, которая успехом, увы, не увенчалась. Мы это знаем из дела в архиве канцелярии одесского градоначальника № 2922 от 18 марта 1883 года, в котором турецкоподанный Иван Антонопуло просит предоставить ему фотографическое заведение в доме Греческого училища, принадлежавшее ранее Феодоровцу.

Автор статьи называет себя «интимным другом» покойного Феодоровца и переживает за судьбу его осиротевших детей. В доступных нам справочниках по Одессе конца XIX – начала XX века фамилия «Феодоровец» не встречалась.

Вся эта история, как она описана Боррисс, весьма некрасива, но в такой ситуации всегда хочется выслушать вторую сторону. Мнение другой стороны мы надеемся еще со временем отыскать.



Юрий Дикий

«Святая к музыке любовь»

К 105-летию со дня рождения профессора Л.Н. Гинзбург



Вряд ли кто-то меня упрекнет в любви к проводившимся официальным юбилеям с хвалебными одами и тысячными залами, с многочисленными тяжеловесными подарками и лестью, разбалтывающими подлинный смысл юбилея как явления и действия. Его

предназначение – как для конкретной личности, так и для эпохального явления – довольно часто обретает юмористический, если не сатирический оттенок, обрастая мифами и анекдотами.

Да не поймут меня превратно и не обидятся многие друзья, заслуженно отмечающие свои круглые даты в атмосфере искренних поздравлений и подарков близких людей. Все они, уверен, обладают незаурядным умом, чтобы определить соответствие подлинности своих внутренних и внешних оценок. Но, безусловно, обидятся немалочисленные отряды тех, чьи устремления увенчивались званиями и наградами в обратной пропорции их возможностям.

К чему это я, подумает читатель, возвращаясь к объявленной дате. А к тому, что растущая дистанция – «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье» – беспощадно устанавливает истину в последней инстанции. Винегрет юбилейных дифирамбов в «текущей культуре», порой откровенный пиар (зависимый от возможностей строителей), получают свое место в нынешнем мозаичном социуме, чтобы мгновенно затеряться в новых и новых привязанностях. Подлинное художественное явление ждет своего часа, чтобы культура проговаривалась вновь и вновь открытыми смыслами, по словам М. Бахтина.

Музыкальное искусство не исключение в ядре культуры, исторически доказало эту закономерность бесчисленными примерами, продолжая тривиальную тему «Моцарт и Сальери» уже в таких разделах, как современное музыкальное исполнительство и педагогика.

Казалось бы, все ясно в данной закономерности, ан нет – раз от раза возвращаешься к послевкусию этих проблем в новых юбилейных числах.

Иное дело 105-летняя годовщина Людмилы Наумовны Гинзбург – для нас повод еще и еще раз оценить пример высокого напряжения в художественном творчестве: будь то ее исполнительская деятельность или результативный педагогический аспект. Здесь имеет место подлинная уникальность в постоянном обновлении самого предмета – материала музыкального искусства и инструментов его воплощения в исторической перспективе.

Просматривая публикации прошлых лет в обозримом диапазоне, невольно поражаешься сопоставимости устремлений разных поколений, различий их творческого потенциала, многочисленности подлинных личностей, стремившихся к «звезде своей неясной» (говоря о музыке словами Бодлера) для генерирования идей индивидуального созидания. Неустанный поиск, порой неудовлетворенность, взлеты и падения отличают таких альпинистов вершин духа, порой мало отличаемых современниками от популярных баловней широкой молвы.

Каковы же их устремления, поиски, задачи и цели не на словах (интервью, теориях и методиках), а в самой их профессиональной жизни?

«Есть в мире примерно двадцать пять миллионов пианистов, – говорит в интервью Полина Осетинская, – каждый из которых сыграет вам это сочинение. Из них не меньше ста тысяч будет просто высококлассных исполнений, а не меньше, скажем, пятидесяти или ста просто сверхгениальные. Но одно и то же сочинение может звучать у всех этих людей абсолютно по-разному. И только у некоторых оно проникнет прямо к вам в сердце. Я выхожу для того, чтобы проникать в сердце. Но я это делаю для себя, а не потому, что я хочу это сделать для вас. Я хочу сделать для себя: высказать через эту музыку то, что мне кажется необходимым и важным. Это не самый простой способ существования на сцене...»

Давайте сопоставим ее мысли с высказываниями Сергея Васильевича Рахманинова с дистанцией практически в столетие:

«Меня спрашивают, думаю ли я, что интерес к фортепиано ослабевает. Зачем задавать такой вопрос? Мастерство в области фортепианной игры всегда представляло большой художественный интерес для всех, кто не совсем безразличен к музыке.

По моему мнению, ни один современный пианист даже не приближается к великому Рубинштейну, которого мне приходилось не раз слышать. Возможности фортепиано далеко не исчерпаны; пока это произойдет, перед пианистами настоящего и будущего будет стоять огромная цель: сравниться в своем искусстве с Рубинштейном и другими великими мастерами фортепиано.

Верно, что общий уровень пианизма поразительно поднялся; он был достаточно высок и во времена Рубинштейна. И это

мне напоминает не лишённые сарказма слова маэстро. Однажды Рубинштейн играл в Москве, на концерте «присутствовали все», и все места были проданы за несколько недель вперед. Вскоре после своего концерта Рубинштейн пошел послушать нового пианиста, который уже прославился своим талантом. Когда после концерта Рубинштейна спросили, что он думает об игре нового исполнителя, он, нахмутив свои густые брови, очень серьезно сказал: «О, теперь все хорошо играют на рояле!».

Как тут не вспомнить слова Томаса Манна, высоко почитаемого Г.Г. Нейгаузом, изложенные в романе «Доктор Фаустус», практически одновременно с С.В. Рахманиновым:

«Говорят, что «музыка обращена к слуху», но ведь говорится лишь условно... ведь поскольку слух, как и остальные наши чувства, опосредствуя подменяет собою *несуществующий* орган для восприятия чисто духовного... (...) Сокровенное желание музыки: *быть вовсе не слышимой, даже не видимой, даже не чувствуемой, а если бы то было мыслимо, воспринимаемой уже по ту сторону чувств и разума, в сфере чисто духовной*» (выделенной мной. – Ю. Д.).

И тут же невольно всплывают в памяти искренние сожаления Якова Мильштейна, высказанные полвека тому о духовном подтексте и обращенные к весьма авторитетному столичному музыканту, утверждавшему: «Подтекст? Да ведь это мистика!» – в противоположность не только Г.Г. Нейгаузу, К.Н. Игумнову... а и Шопену, Листу, Рубинштейну...

Разве художественная иррациональность обошла и их предшественников – И.С. Баха, В.А. Моцарта, Бетховена и Шуберта...

Ах ты Боже мой, разве исчезли или исчезнут шумановские «филистимляне» в борьбе с «давидсбюндлерами» и наоборот... Но с каким разным результатом той или иной эпохи?

Вот почему, на наш взгляд, уместно вновь вернуться к нашей музыкально-художественной действительности и после цитирования П. Осетинской упомянуть одного из классиков современного пианизма – Григория Соколова из недавнего его интервью:

«Несмотря на внешний блеск и кажущееся благополучие, вопреки невероятному техническому уровню мирового пианизма и появлению целой когорты людей, так сказать, столь

«сейсмоустойчивых», что невольно закрадывается мысль о грядущих и в этой области проверках на допинг, – несмотря на все это, исполнительское искусство (будем говорить только о фортепианном искусстве) зашло в тупик» (курсив мой. – Ю. Д.).

Смею предположить, что поиск выхода из тупика (или скорее из лабиринта) современного исполнительства сегодня осуществляют и Г. Соколов, и Э. Вирсаладзе, и та же П. Осетинская, как и многие другие выдающиеся исполнители, возможно, в различной степени успеха в соотношении к предшествующим поколениям. Между тем можно смело утверждать, что данное противоречие в музыкальном исполнительстве (а соответственно, и в музыкальной педагогике) носит вневременной характер *созидательного парадокса*.

История изобилует немалым количеством примеров противоречий и эстетических различий в музыкальном искусстве в подходах к подлинному профессионализму и его художественных уровней.

Настоящий профессионал наивысшего уровня стремится к себе подобному, преодолевая географические и временные расстояния (Бах к Генделю, молодой Ромен Роллан ко Льву Толстому и т. д.). У музыкантов это особенно проявлено в ученичестве к Гениню – Антона Рубинштейна к Листу, Листа и Шумана к Шопену, Г. Нейгауза к Ф. Бузони, С. Рихтера к Г. Нейгаузу, etc.

Все это замечательно и обстоятельно определил Ферруччо Бузони в своей «Новой эстетике музыкального искусства» более ста лет тому, размежевав художников и «законодателей», которые, «не будучи в состоянии возродить ни духа, ни чувства, ни времени, – удержали себе форму, как наиболее удобное средство передать *свои мысли...*» – цитируя гетевского Фауста:

Тут хватит, чтоб зажечь поэтов рвенью,
Дразня гильдейские умы;
Я не могу ссудить вам вдохновенья,
Но платье все ж даю взаймы.

«Законодатели» («филистимляне» у Р. Шумана) лишены постоянной и необходимой художественной динамики, когда,

по словам Шумана, «все человеческое в человеке и в художнике тоже подвержено времени и его влияниям, это относится и к голосу, и к красивой внешности. Но все, что выше этого, – душа, поэзия – сохраняется у любителей богов в неприкосновенной свежести во всех возрастах (...)».

Профессионал-«законодатель» (часто просто ремесленник в обыденном понимании), как правило, самодоволен, ограничиваясь «своим кругом профессионализма», а по существу, репетиторством, как правило, беспощаден к профессионалам-художникам, и это извечная проблема такого противостояния, зачастую не в пользу художников.

«Кого мы встречаем по большей части в наши дни? – сокрушался Ф. Лист. – Скульпторов? Нет, фабрикантов статуй. Живописцев? Нет, фабрикантов картин. Музыкантов? Нет, фабрикантов музыки. Всюду есть ремесленники...»

Однако это противоречие достаточно редко попадает в обозримый круг проблем исполнительских методик, не заинтересованных в исторически противопоставленных методологических принципах.

Ни для кого не секрет, что нейгаузовская педагогика как пример художественной педагогики с сердцевиной экспирации Яворского, посвятившего Нейгаузу малоизвестный рукописный опус с объяснением этого явления, имела кульминационное проявление во встрече двух гениев – самого Генриха Нейгауза и Святослава Рихтера. Благодаря ей и была проявлена нейгаузовская исполнительски-педагогическая идея, воплотившаяся в действительности. Не было бы Рихтера у Нейгауза (при достоинствах всех его выдающихся учеников), не было бы ни явно заметного методологического противоречия в действительности, ни столь значительного противостояния. Впрочем, и до появления Рихтера в классе Нейгауза они локально в консерватории сосуществовали как поляризация мировоззренчески-художественных идей выдающихся музыкантов. Разве только с появлением Рихтера новые художественно-педагогические идеи, эстетические требования в развитии исполнительства обрели плоть в классе Г. Нейгауза или консерваторских кафедрах в целом. Само появление Мастера в Москве и консерватории в 30-е годы, обретение им особой

слушательской аудитории, единомышленников и последователей оказывало свое благотворное влияние на учеников, правда, далеко не на всех и не в той полной мере, которой хотелось Нейгаузу. Его юношеские письма к родителям прекрасно показывают личные эстетические предпочтения в начале XX века, противопоставляя, к примеру, такие европейские фигуры, как Л. Годовский и Ф. Бузони, в дальнейшей жизни определяя «свой круг художника», включающий в себя М.В. Юдину, К.Н. Игумнова, В.В. Софроницкого, Б.Л. Яворского... Такая внутриинституционально-консерваторская поляризация нередко вспыхивала не только на кафедральных экзаменах или между прославленными кафедрами, но и на крупнейших международных конкурсах. Первый конкурс П.И. Чайковского это наглядно продемонстрировал в оценках жюри (прежде всего Г. Нейгауза и С. Рихтера) в адрес В. Клайберна, как и в предпочтениях слушателей.

Одесса не стала исключением в подобном противостоянии. Нечто аналогичное произошло и в классе профессора Л.Н. Гинзбург, истинной последовательницы своего Учителя в Москве. Работая в Одесской консерватории с 1946 г. по приглашению К.Ф. Данькевича, впоследствии будучи авторитетнейшим музыкантом и признанным исполнителем, руководителем большого класса в консерватории, воспитавшим достойную плеяду известных исполнителей, она тем не менее критически оценивала различия местных «законодателей» и различия их достоинств.

«Я не хочу умалить достоинство тех профессоров. Если бы не они, – говорила в интервью М. Найдорфу Л.Н. Гинзбург, – не было бы ничего. Но одними этими профессиональными достоинствами – не будь тогда ситуации, когда все хотели показать Одессу, одесских детей, – не получилось бы ничего».

Профессиональные плюсы нередко оборачивались сомнительными моральными достоинствами коллег. Не раз она вспоминала, какой класс ей подготовили к приезду в Одессу, собрав наиболее слабых (как казалось руководству кафедры) студентов, коими оказались и В. Саксонский, и А. Гончаров, ставшие впоследствии превосходными исполнителями. Наиболее примечательной была история с ректором того периода, который выговаривал Л. Н.: «Коллеги жалуются, что вы переманиваете учени-

ков, хотя я этому не верю... постарайтесь заниматься скромнее!». На что она недвусмысленно реагировала: «Куда я попала?!».

Спустя десятилетия, будучи с Л. Н. уже коллегами в консерватории, мы нередко возвращались к этим различиям с разных сторон – как от различий профессуры в столичных консерваториях, так и в кадровых сопоставлениях кафедр разных консерваторий. Особый оттенок обретал мой интерес к довоенному переходному периоду Л. Н. из класса маститого одесского профессора М.М. Старковой после окончания консерватории в аспирантуру к Г.Г. Нейгаузу. И в этих профессионально-моральных довольно щепетильных оценках обнаруживается не слишком распространенное явление *качественного* преобразования одаренной личности. Л. Н. никогда не скрывала этой переходной субстанции между М.М. Старковой и Г.Г. Нейгаузом, определяя ее одной фразой: «Это совсем другое!» – подчеркивая уникальность и вместе с тем индивидуальное преодоление ею возникших трудностей нейгаузовской педагогики, ее художественной сложности и новизны. Это же описывает и Я.И. Зак (также выпускник класса М.М. Старковой) в интервью А.В. Вицинскому, даже в еще более откровенной форме: «В Одессе личное участие педагога в жизни каждого ученика было очень большим...». А у Нейгауза «мне было трудно, я был потрясен, ничего не мог понять».

Здесь, безусловно, уместно привести воспоминания Г.М. Когана о своем учителе (в том числе учителя В. Горовица. – Ю. Д.) В.В. Пухальском, говорившем: «Батенька, никогда не судите о педагоге по тому, как играют его ученики, *пока они у него занимаются*. О педагоге следует судить по тому, как играют его ученики *через десять-пятнадцать лет после занятий с ним*. Я не готовлю вас к сегодняшнему или завтрашнему выступлению; я готовлю вас к жизни, к деятельности...».

Таким образом прорастает вневременная главная художественно-педагогическая идея – транзит возможностей ученика, его самодидактика, как и масштаб творческого потенциала учителя. И в данном случае уникальная самодидактика Г.Г. Нейгауза и С.Т. Рихтера в их так называемом «ученичестве» есть уникальный и необходимый пример. Поразительно, но пришедший к Л. Н. в класс С. Терентьев обрел место, идентичное Рихтеру у Нейгауза,



Маленькая Люда с отцом и старшей сестрой

практически на таких же основаниях. Нейгауз и Рихтер – Гинзбург и Терентьев, педагогические ожидания практически почти тождественные. И эти явления нуждаются в особом разговоре и анализе, именно как воплощение асафьевского разделения исполнительских направлений: «...внутри исполнительской культуры спорят два взаимно несовместимых явления... два «ответвления»: или она со-творческая композиторству, или она механически репродуцирует по созданным нормам техники нотную запись».

Музыкальные мыслители – Б. Асафьев, Б. Яворский, Т. Ливанова, Г. Коган – продуциро-

вали новые художественные закономерности исполнительского искусства, определяющие его будущее, явленные в художественной практике Г. Нейгауза, С. Рихтера, М. Юдиной и В. Софроницкого, обостряя созидательные противоречия теории и практики.

«Обыватели признают только «житейскую мудрость», практику, эмпирию, «очевидность», «здравый смысл» – некоторые ученые, наоборот, уважают только то, что изложено мудреной терминологией (хотя бы это были совершенные тривиальности или глупости), и не считают наукой то, что опирается на жизненные примеры и изложено всем понятным языком. И те, и другие – в равной степени филистеры, мещане; они есть и в жизни, и в науке, и в искусстве (например пианисты, бравирующие своим теоретическим невежеством, похваляющиеся тем, что не читают книг по своей специальности), и во всяком деле», – писал Г.М. Коган, учитель В.А. Цуккермана по классу специального фортепиано.

Сохранившиеся материалы этих мыслителей и практиков XX века, к сожалению, мало прослеживаются в ворохе диссертационного бума остепененных, но усредненных исполнителей, и ими используются в самой педагогической действительности.

Возможно, поэтому преподавательская и исполнительская работа Л.Н. Гинзбург в Одессе проходила в сложных противоречивых условиях прививки нейгаузовских художественных принципов на одесское консерваторское древо фортепианной кафедры. Процесс отнюдь не безоблачный, если не сказать провинциально склочный.

Разве не аналогичным было явно неудачное вращение в довоенную фортепианную кафедру Теофила Рихтера с западноевропейским уровнем образования? Обнаруживая неверный текст у студентов авторитетной профессуры, самой редко появлявшейся на сцене, Т. Рихтер был довольно быстро оттеснен на задворки общего фортепиано, что возмущало молодого Святослава Рихтера.

Понимая и признавая педагогические и исполнительские различия М.М. Старковой и Г.Г. Нейгауза как «земля и небо», Л. Н., постигнув уникальность обретенного ею художественного метода, в новых условиях совместной работы с уже орденосной довоенной «законодательной» одесской профессурой ей как молодому доценту практически невозможно было теоретически и методически обосновать художественные принципы, не укладывающиеся в общераспространенные правила. Зная заповеди Г.Г. Нейгауза, исповедовавшего принцип «учить тому, чему научить нельзя», вопреки устоявшимся «законодательным» школам, ее педагогический выбор мог ориентироваться только на отклик одаренного студента и собственную исполнительскую практику.

Моя биография в ее классе полностью подтверждает это явление, поскольку не менее остро протекал мой переход из школы П.С. Столярского в консерваторию, из класса Г.Д. Бучинского в класс Л.Н. Гинзбург.

Григорий Дмитриевич Бучинский – выпускник класса прославленного за рубежом пианиста Симона Барера (у нас мало известного по политическим мотивам из-за бегства за рубеж) – был превосходным учителем и администратором. Многолетний

директор школы-десятилетки им. П.С. Столярского (1944-1959), тонкий и чуткий педагог, практически спасший меня для музыкальной профессии с девятого класса школы, был непревзойдаемым музыкальным авторитетом не только для меня. Его педагогический талант и музыкальное отцовство не попадало под малейшее сомнение, а методически безупречное обучение в его консерваторском классе при его многолетнем чтении курса методики для пианистов считалось высокопрофессиональным. Весьма неожиданным для меня и моих родителей стало решение ректора консерватории В.П. Повзуна при поддержке К.Ф. Данькевича направить в класс Л.Н. Гинзбург для дальнейшего совершенствования в вузе. К счастью, никакие попытки моих родителей в Министерстве культуры Украины оставить меня в классе Г.Д. Бучинского не изменили решения В.П. Повзуна и К.Ф. Данькевича, прекрасно понимавших значение своих действий. К слову, в это время заведовал кафедрой новый профессор Е.В. Ваулин, занявший нейтральную позицию и оказавшийся за скобками происходящего.

Только спустя почти семестр трудных занятий в классе Л.Н. Гинзбург постепенно стали проявляться ощущения сродни описанным выше у Я.И. Зака и самой Л. Н.

Возникавшие исполнительские задачи были из другого мира, и это действительно «было другое!» – рационально непонятное в полумистической терминологии интонационности. Именно здесь и сейчас проявилось знаменитое «не верю!» Станиславского в процессе прежнего буквального исполнения музыкального произведения, вне глубин художественного проникновения.

Приезд в Одессу Г.М. Когана в середине 70-х с циклом уникальных лекций красной чертой подчеркнул важность художественных принципов, исповедовавшихся Нейгаузом и Гинзбург, полностью трансформируя представления и задачи, стоящие перед исполнителем.

В музыкальном исполнительстве «верю – не верю» гораздо глубиннее и проникновеннее, чем в театре, потому что это невербальное, необъяснимое интуитивно-духовное ощущение, обнаружение которого дается длительной и сложной духовной практикой, продолжающейся всю жизнь. У верующего «аминь»



В преддверии урока у Л.Н. Гинзбург. Ю. Дикий разыгрывается на рояле

заканчивает молитву, а у исполнителя «аминь» начинает и открывает музыкально-духовный смысл произведения. Дух либо есть в душе – и тогда «верую», либо его нет – и тогда «не верую», но «здорово играю». Музыка и есть звучащий дух, о чем уже выше сказано. Когда же не верую, то нет и Музыки духа, а есть рассуждения снобов о духе музыки.

К счастью, уроки Л.Н. Гинзбург, проходившие в присутствии соучеников и «гостей» (по традиции уроков Г.Г. Нейгауза), быстро установили сравнительные ориентиры абсолютно новых направлений моего художественного поиска. К этому можно приплюсовать скупую оценку Сережи Терентьева в одной из телепередач на вопрос журналистки Н. Резановой:

– Когда вы поняли место личности Л. Н.?

Он быстро ответил:

– Когда она села за инструмент!



Визит Г.Г. Нейгауза с сыном на кафедру специального фортепиано Одесской консерватории.
Сидят: М.М. Старкова, Г.Г. Нейгауз, Л.Н. Гинзбург, С.Л. Могилевская.
Стоят: С.Г. Нейгауз, И.И. Сухомлинов, М.И. Рыбичкая

Но это не только мнение ее любимого ученика, а и беспристрастные восторженные отзывы в слушательской аудитории, отлично обобщенные и публицистикой, и самой восторженной аудиторией.

Известный одесский культуролог Марк Найдорф весьма уместно заметил: «Пианистка Людмила Наумовна Гинзбург (1916-2001) была масштабной независимой личностью и артисткой, я бы сказал, великоватой для города, в котором жила и которому себя посвятила».

И это притом, что ей была неведома регулярная гастрольная концертная деятельность, присущая столичным концертантам, шлифующим свое мастерство в сезонах десятками, если не сотнями концертов, но равнозначно высоко оцениваемых посредственными критиканами. Замечания, «мазала» ли она, лучше или хуже

играла, останутся на их дилетантской совести, ибо, как заметил Сомерсет Моэм: «Только посредственность всегда в форме».

Слышать, что играет «не так», дело нехитрое и любительское... Слышать же, «как играть», – дело редкое, нешуточное и... высокопрофессиональное.

Продолжая мысли М. Найдорфа: «Людмила Наумовна умела величественно и даже как-то снисходительно не замечать мешающих обстоятельств ради того, что считала важнейшим, – ради искусства, которое способно одарять людей радостью открытия и счастьем чувства собственного достоинства, но только если это искусство подлинно артистическое, настоящее».

Ибо важно не то, что тобой или о тебе написано и сказано. Важно, что твоими делами оставлено.



Леся Орлова

Кто вы, чекист Блюмкин?

Заявка на сценарий художественной фильма

Надо разделаться с ним, потому что в изучаемом периоде он лезет из всех щелей, это страшно раздражает и одновременно интригует подробностями. Поэтому я выгружу (длинно, конечно) – и пусть он возвращается дальше гореть там, где горит. Вот почему, кстати, продюсеры-сценаристы-режиссеры ежели чего берут в работу, так непременно истории хороших людей, и потом сидишь у экрана, плотно зажмурившись от стыда. Берите плохих, а? Которых не жалко! Возьмите Блюмкина, ну что вам стоит, тем более – у него, правда, не жизнь, а кино...

Тут же можно вполне по делу использовать в сотый раз самые примитивные сериальные клише – и они раз в кои веки будут уместны, потому как герой этого заслужил. Скажем, пусть фончиком специальную, в самой сути своей профанирующую истинно важное, залихватскую музычку со скрипочкой – такой стеснительный румяный намек, заставляющий зрителя зацепить большие пальцы за жилетные проймы, – или можно позвать, например, хор Турецкого (да! да! мюзикл! вставные номера! каба-ре!). Опять же, вписать этот эффектенский всегда работающий диалектик, где «бички» и «не делай маме нервы». Гляньте, как все подходит: такой себе мальчик-одессит Яша, ровесник века, сын приказчика Гирша Блюмкина, ходил в еврейское училище, Талмуд изучал. Дальше – все как под копирку: участвовал в отряде еврейской самообороны, подался в эсеры, в революцию экспроприировал ценности Госбанка, сильно подружился с Мишкой Япончиком (ну здесь-то, здесь убедила же? актера прям того же самого можно!), подался в ЧК, переехал в Москву.

Увы, в этой серии с «бичками» закончили, надо что-то другое, видимо, балалайку. Потому что в 18-м Блюмкин ладно бы только в ВЧК вошел как влитой, он еще и в литературные круги влез по уши. И стал лучшим другом Сергея Есенина. Каковой Есенин, форся перед девушками, предлагал им буквально следующее: «А хотите поглядеть, как расстреливают в ЧК? Я вам через Блюмкина это в одну минуту устрою!» (вот же вечная пакость на каждом витке, а, какие-то кадры из «Бригады» в голове, честное слово, полузабытые дуры в леопардовом мини, поющие в караоке, и утонченные филологини в качестве секретарш, «ой, Серенький, ааа даааай пастриляааать»...).

К этому периоду относится история, из-за которой я всегда буду восхищаться Мандельштамом. Блюмкин вконец развращен положением пугала, допущенного в круг смешных слабачков-интеллигентишек. Не удивлюсь, если знаменитый эпизод из «Рабы любви», где белый офицер глумится над съемочной группой, на самом деле корнями уходит именно в эту историю. Восемнадцатилетний всемогущий чекист сидит в поэтическом кафе, надрался страшно. Хвастается неограниченными возможностями. Хочу, говорит, и арестую. Хочу – и расстреляю. И вдруг, актерски чувствуя момент, выдергивает из кармана пачку ордеров и принимается быстро подписывать, приговаривая: «Поручик такой-то... rrrрррастрелять!.. Граф сякой-то... rrrрррастрелять!». Все смотрят в шоке, не в силах поверить в реальность происходящего. И тут к Блюмкину подлетает маленький Мандельштам, вырывает у того из рук бумаги и рвет их в клочья. Блюмкин реально трезвеет в секунду. После чего сообщает, что вот теперь, пожалуй, расстреляет уже конкретно Мандельштама.

К счастью, Осип Эмильевич приятельствует с Ларисой Рейснер. Она стремглав устраивает встречу с Дзержинским, со следующими результатами: 1) Мандельштама отмазывают; 2) Жалобы на террористические замашки Блюмкина остаются гласом вопиющего в пустыне (Рейснер еще и журит потом Мандельштама: «На кой черт вам вообще сдался этот граф? Все они шпионы!»); 3) Дзержинский в высшей степени заинтересован Блюмкиным – в положительном смысле заинтересован, как перспективным кадром.

Блюмкин пока еще – левый эсер. И среди людей с какими-то там сердцами и какими-то руками (что-то из этого чистое)

трудится в Отделе по борьбе с контрреволюцией, возглавляя направление противодействия германскому шпионажу. Летом 18-го он ведет дело захваченного племянника германского посла графа Роберта Мирбаха. Ну, дальше все знают: благодаря этому возникает возможность убить непосредственно посла – Вильгельма фон Мирбаха. Лидерша левых эсеров монструозная Мария Спиридонова, традиционно приязненно относившаяся к практике террора, дает благословение на это предприятие, ЦК одобряет с формулировкой «чтобы апеллировать к солидарности германского пролетариата и совершить реальное предостережение и угрозу мировому империализму», Блюмкин пишет прощальное письмо товарищам: «Черносотенцы-антисемиты с начала войны обвиняют евреев в германофильстве и сейчас возлагают на евреев ответственность за большевистскую политику и за сепаратный мир с немцами. Поэтому протест еврея против предательства России и союзников большевиками в Брест-Литовске представляет особое значение. Ведь весь мир должен узнать, что еврей-социалист не побоялся принести свою жизнь в жертву протеста...».

Подробности теракта, едва не сорвавшего Брестский мир, известны – и не лишены жуткой неуклюжей парадоксальной комичности. Лично я, пытаясь как-то отстраниться разумом от кошмара, вообще вижу это в ускоренной перемотке, когда, знаете, все очень быстро прибегают, машут руками, очень быстро убегают, ха-ха, вот умора. Блюмкин с «другом по партии» Николаем Андреевым и с бомбой в портфеле приезжают в немецкое посольство, просто звонят в дверь, и их просто пускает швейцар, ничего толком даже не разобрав из путаных блюмкинских разъяснений на плохом немецком. Уяснив, что товарищи – от Дзержинского, посол их принимает. За стол садятся граф Мирбах, тайный советник посольства доктор Рицлер, переводчик и Блюмкин. Андреев остается в дверях, перекурывая выход. И дальше начинается стыдный бредовый ужас. Минут через двадцать разговор Блюмкин, подумав, достает из портфеля револьвер и последовательно палит в упор в Мирбаха, Рицлера и переводчика, те падают, Блюмкин убегает в соседний зал. Мирбах встает и, согнувшись пополам, бредет вслед за Блюмкиным. Андреев швыряет ему под ноги бомбу, та не взрывается. Тогда Андреев толкает Мирбаха в угол и лезет за револьвером, а Блюмкин хватается ва-

ляющуюся бомбу и с разбегу опять ее швыряет. На этот раз взрыв происходит. Блюмкин прыгает в окошко, при приземлении ломая ногу, карабкается по ограде, из окон начинают стрелять и ранят его снова-таки в ногу. Он повисает штанами на ограде и так болтается. Андреев не спеша добывает Мирбаха, снимает Блюмкина с решетки, грузит его в машину, и они уезжают (сам-то Блюмкин впоследствии будет рассказывать красивую историю, где никакого некомильфотного висения на штанах, ясное дело, нету, а есть – как он полз, раненый, к машине и прочая романтика). Дальше он скрывается под разными фамилиями, его ищут, но – в соответствии с прямым указанием Ленина: «Искать, очень тщательно искать! Но... не найти!». Под это дело большевики преспокойно берут всех левых эсеров прямо во время съезда в Большом театре – обвинив в вооруженном восстании. Ну, дальше там латышские стрелки, разгром «мятежников» и прочее непотребство, но мы не о том, мы о Блюмкине.

Он в своей игре в прятки добирается до Украины. В Киеве привычно развлекается – готовит теракт против Скоропадского, например, а чуть позже, с махновцами, покушение на Колчака. Весной 19-го попадает в плен к петлюровцам, на радостях выбившим ему передние зубы. В финале приходит с повинной в киевское ВЧК, где его приговаривают к расстрелу, но вскоре по настоятельной рекомендации Дзержинского амнистируют. По слухам, кристальный герой Блюмкин выдал большевикам множество товарищей по партии, за что ему левые эсеры вынесли смертный приговор. На Блюмкина неоднократно покушались. Безуспешно: он был пугающе везучим. То в него любимая женщина, страстная эсерка Лида Соркина стреляет на свидании, но как-то, прямо скажем, странно дрогнув рукой, поскольку семь пуль ушло мимо. То в кафе на Крещатике стреляют в упор двое – и он тоже отделяется ранением, вовремя упав вместе со стулом. То в его больницу палату бросают бомбу, а он успевает выпрыгнуть в окно...

Дальше – счастливый билет: наркомвоенмор Троцкий берет Блюмкина к себе секретарем и начальником личной охраны. Они упоенно колесят в бронепоезде по всем фронтам, и Троцкий пишет о Блюмкине ни много ни мало: «Революция предпочитает молодых любовников», – а Лариса Рейснер закручивает с Блюмкиным мимолетный роман (одновременно значительно менее

мимолетно предпочитая, в отличие от революции, немолодого любовника Троцкого).

И уже вскоре Блюмкин снова вертится в кругу имажинистов и тусит в клубе поэтов, взапуск целуясь с Есениным. Маяковский с ним нежен, Якобсон приветлив, разве что брезгливый Мариенгоф считает позером и трусом, но насчет труса – это зря. Очень внешне интересный товарищ – с ассирийской черной бородой, непременно при галстукке, в ярко-рыжих штиблетах. И всегда с револьвером, который достает при любом удобном случае, целенаправленно находя какого-нибудь «хама» («Понимаете, я не выношу хамов», – так он говорит), грозя ему «пушкой» (это он так говорит: «пушка») со словами: «Я Блюмкин! Застрелю, как в Мирбаха стрелял!». Одним таким «хамом» окажется, например, начинающий актер Игорь Ильинский. Этим же пистолетом и этими же словами Блюмкин грозит чекистским патрулям, проверяющим документы, и те его беспрепятственно отпускают. Его подпись стоит рядом с подписями Есенина, Мариенгофа, Колобова и Шершеневича под уставом «Ассоциации вольнодумцев в Москве», созданной Есениным и продвигающей, о, я не могу, «духовно-экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции». Свободный, вишь ты, мыслитель и художник Блюмкин. Жалко, слова «акционист» тогда не было. Как и роскошного анекдота про «Слепцыыы! Это же был перформанс!».

Вскоре он официально становится большевиком и принимается активно искупать вину на фронтах революции. То восстание крестьян в Нижнем Поволжье подавляет, то Еланское восстание на Дону. И славится редкой «кровавостью». И такой он умничка, что направляют его учиться в Академию Генштаба (на факультет Востока), где он получает полноценное специфическое образование: изучает восточные языки, военные науки, экономику и политику (все страны, где ему предстоит побывать, и все операции, им выполненные, я не буду перечислять, там на втором десятке сбиваешься уже). Уже совсем скоро он станет прообразом молодого Штирлица, и его потом сыграет красивый Даниил Страхов, да, – это когда он будет расследовать хищения в Гохране, поедет в Ревель под псевдонимом Исаев (Исаем дедушку его звали), под видом ювелира – и все раскроет, и эту заграничную лавочку одним махом прекратит.

Генштабовские же знания скоро будут применены на практике: Блюмкин принимает самое активное участие в создании Персидской (Гилянкой) республики Советов и иранской компартии, членом ЦК которой его немедля и избирают. Заодно он занимает пост военкома тамошнего штаба Красной армии. Ужасно смешно, кстати: когда партизаны эту самую республику создавали, то поставили «непременное условие о полном невмешательстве в ее дела Советской России»...

Уже летом 20-го (какая же дикая плотность событий!) в Персии Блюмкин знакомится с легендарным резидентом Яковом Серебрянским и по его рекомендации становится сотрудником Особого отдела Гилянкой Красной армии. Знают его там как Якуб-заде, он участвует в боях, получает шесть ранений, а потом и вовсе совершает государственный переворот, приведя к власти Революционный комитет Ирана и заменив одного хана другим, «нашим». В этом месте до гилянцев начинает доходить, и они перестают ощущать Советскую Россию как союзника. А Блюмкин становится делегатом Съезда угнетенных народов Востока. Человек он теперь очень влиятельный – что помогает ему, например, осенью 20-го вытащить из тюрьмы Есенина, обвиненного в контрреволюции. Да и вообще, он неоднократно будет отмазывать имажинистов в трудных ситуациях – все той же лаконичной формулировкой: «Я – Блюмкин!» (так и хочется дополнить: «Ай’м Блюмкин. Яков Блюмкин»). Впрочем, он их тоже использовал вполне цинично – предпочитал ходить в толпе, находясь в центре, что Есенин меланхолично комментировал: Яша боится покушения, а так авось не попадут – и уцелеет. Кстати, Яша Есенину как-то сделал прелестный комплимент: «Я – террорист в политике, а ты, друг, террорист в поэзии». Позже, правда, они друг к другу слегка охладели. Блюмкину не понравится «Пугачев», и он попеняет Есенину, что тот выбрал какого-то дурацкого героя вместо, например, Бориса Савинкова, который куда как интересней во всех отношениях. А так-то они очень хорошо дружили: Блюмкин ревновал своих женщин к Есенину, а сам однажды чуть не изнасиловал есенинскую жену Надежду Вольпин, чудом спасшюся, дотянувшись до звонка прислуге... С женщинами у него вообще как-то странно – скажем, Наталия Сац всю жизнь была уверена,

что в смерти ее юной сестры Нины виноват Блюмкин. Нина, мол, его любила страстно, он ей о чем-то проболтался или чему-то она стала свидетелем, он ее заманил на свидание на юге и задушил на берегу моря. Ни толковых доводов против, ни убедительных доказательств за мне не попало. Блюмкин, кстати, был недолго женат. Татьяну Файнерман, дочь известного толстовца Тенеромо, он как раз в Академии Генштаба и встретил. Сын у них был, Мартин. Что с этим Мартином дальше стало, непонятно, потому что мать сменила ему фамилию в трудное время, и никаких прямых потомков у Блюмкина сегодня нет...

С 23-го Блюмкин (вы следите за возрастом, кстати? это значит 23 ему) по приглашению Дзержинского становится сотрудником Иностранного отдела ОГПУ, возглавляет резидентуру Ближнего Востока и получает оперативные псевдонимы Джек и Живой. С Есениным они по-прежнему очень близки, только Блюмкин все чаще ругает друга за «упадочные настроения». И именно Блюмкин устраивает встречу Есенина с Троцким, на которой нарком предлагает Есенину фактически возглавить всю крестьянскую литературу, открыть издательство, организовать журнал... Но только что-то такое Троцкий взамен потребовал от Есенина, что тот, к страшной досаде Блюмкина, от этого роскошного предложения отказался.

Сам Блюмкин все трудится. В Закавказье недолго рулит, успев подавить грузинское восстание – с реками крови, как водится. А дальше – история с эзотерикой, и это отдельная серия, конечно. Тут много домыслов и споров, но в целом выглядит так. В 24-м Блюмкин узнал об опытах по телепатии и существовании «замкнутого научного коллектива в Центральной Азии, и проекте установления контактов с носителями его тайн». Дальше он правдами и неправдами пробил создание секретной лаборатории нейроэнергетики, чтоб там, значит, изобретать всякое для шпионажа и учиться читать мысли противника на расстоянии. А еще выбил решение об организации поездки переодетых под паломников чекистов и ученых в Тибет, Индию, Синьцзян и в Гималаи, к Шамбале непосредственно. Личным распоряжением Дзержинского на это выделили 600 тысяч долларов. Подготовка велась на дачах спецотдела в поселке Верей. Учили английский и урду, на лошадаках ездить тренировались, а полиглот и мастер восточного рукопашного

боя Яков Блюмкин должен был экспедицию возглавить и заодно заниматься в процессе разведкой. Увы, из-за борьбы внутриведомственных группировок экспедиция не состоялась, но Блюмкин своего все равно добился, просто по-другому.

В сентябре 25-го границу Британской Индии с караваном мусульман-исмаилитов перешел хромой дервиш. В городе Балтит полиция его поймала идущим с почты, справедливо заподозрила в шпионаже, передала военной разведке, где его посадили под замок и пообещали расстрел назавтра. А он сбежал – из охраняемого помещения, да еще с важной диппочтой и английским обмундированием. За ним послали погоню, в которой принял участие и сам переодетый бывший дервиш, ныне – рядовой колониальных войск. Какое-то время погонявший за самим собой, он исчез – и превратился в монгольского монаха.

Который и присоединился к экспедиции Николая Рериха, путешествовавшего по Индии и Западному Китаю. Николай Константинович был человек увлекающийся, если знать, какие жать кнопки, так что совершенно поверил примкнувшему ламе и неустанно пел ему хвалу в своем дневнике. Лама ужжжасно ему нравился! Пророчествует, как заведенный, да так затейливо и афористично, часами разгадывать приходится, был везде, от Урги до Цейлона, для защиты основ веры готов и за оружие взяться, безо всякого ханжества. Все про всех знает, глаз алмаз. А как испаряется и появляется – это что-то! Может на несколько дней исчезнуть. А потом – хоп! – и опять тут. Вообще-то, в это время лама Блюмкин занимался скучной картографией – блокпосты и высоты помечал, километраж замерял, коммуникации и погранзаграждения фиксировал. В какой-то момент даже Рерих что-то заподозрил, но Блюмкин быстро смекнул, что к чему, и дедушка в дневнике совсем забулькал: внезапно оказалось, что лама заговорил по-русски, постиг новое знание прямо на глазах! И даже знает разных общих знакомых! И у них вообще (настало время открыть Рериху новое, он страшно польщен доверием) – мощная и неуловимая странствующая организация лам, охватывающая весь мир!

В общем, Блюмкин с Рерихом реально прошел весь Западный Китай, посетил сотню монастырей, наслушался легенд, преодолел тридцать пять горных перевалов, включая считавшийся

неприступным Дангла, насобирав трав и камней, а также рецептов колдунов и брахманов. Только Шамбалы они не нашли – и не вдохновили тибетцев примкнуть к мировой революции.

В 1926-м они вернулись. Блюмкин Рериха сводил к нескольким доброглазым начальникам вегетарианского типа – вроде Луначарского и Чичерина. Распропагандированный Николай Константинович им уж каких только гостинцев не привез – и послания махатм большевистским вождям, где предлагалось создать Великий Восточный союз республик, и дар от этих самых махатм: ларец со священной землей Гималаев на могилу нашего брата махатма Ленина... А со временем всех, кто как-то терся рядом с проектом Шамбалы, убили, но это уже другая история (интересная тоже).

Тут есть вот еще какой странный поворот, который я не знаю, как вписать в хронологию: с этими расстояниями-то особо не ездишься туда-сюда, щекотливые поручения выполнять. И если в 25-м году Блюмкин всюду путешествовал с Рерихом, то как его можно притянуть к смерти Есенина – не очень понимаю. Тем не менее – притягивают. Ну, допустим, что какая-то из отлучек лампы была связана именно с этим. Потому что, по конспирологическим версиям гибели Есенина, именно Блюмкина вызвали искать пропавшего поэта – тот, сбежав из психушки, намеревался сбежать еще дальше, с высокой вероятностью – в Великобританию. И вроде как лучший друг Блюмкин с товарищем Леонтьевым вычислили его в Ленинграде. Причем вовсе не в «Англетере», бывшем в то время закрытым режимным учреждением НКВД-ОГПУ, где его в итоге нашли повешенным. И, по словам самого Николая Леонтьева, они с Блюмкиным Есенина и того. И вроде бы друг, которому – до свиданья, до свиданья, это как раз Блюмкин... Я такие теории, вообще-то, не очень. Но как-то и мудрым сетевым скепсисом окончательно проникнуться не получается – после всего прочитанного о веселых приключениях и проделках Серебрянского, Судоплатова, Эйтингона и Майрановского в школе и дома я уже не готова отрицать никаких отравленных ручек, несчастных случаев на производстве, самоубийств левой с предсмертными записками правой рукой и неочевидных мотивов устранения почему-то мешающих людей.

1927-й год Блюмкин встретил в Улан-Баторе в должности представителя ОГПУ в Монголии, а заодно главного инструктора по госбезопасности. На новогоднем банкете в ЦК Монгольской народной партии он надрался и лез с поцелуями к местным бонзам, требуя выпить за Одессу-маму. Затем отдал пионерский салют портрету Ленина, на который еще через минуту его стошнило. И ничего. Главный инструктор по госбезопасности все же, мало ли что там им дозволено. Да и вообще он монгольский народный герой, разбивший барона Унгерна.

Впрочем, говорят, в тот период он так увлекся расстрелами, что даже ГПУ сочло нужным его отозвать, и какое-то время Блюмкин маялся скукой. Он не в шутку тронулся на предмет своего величия, чисто эстетически в совершенно рейснеровском духе, кстати: принимал гостей в гэпэушной квартире в шелковом красном халате, куря аршинную трубку перед томом Ленина, всегда открытом на одной и той же странице. Охотно поддерживал беседу о своей роли в истории и покупался на самые примитивные розыгрыши: всерьез, например, поверил Кривицкому и Зоркому, сообщившим, что ему и убийству Мирбаха посвящена целая стена в Музее истории революции. Его стали пробовать в качестве консультанта, сунули было к Каменеву, но ничего не получалось: чванливый, все берега потерявший Блюмкин ухитрился немедленно восстановить против себя нового шефа. Секретари Наркомторга катались по полу, передавая друг другу торжественное и оскорбленное письменное обращение Блюмкина, начинавшееся словами: «Товарищ Каменев! Я вас спрашиваю: где я, что я и кто я такой?!».

И вдруг жизнь снова закрутилась. Дальше – серия, чем-то напоминающая ревертинский «Клуб Дюма». Потому что резидент ОГПУ, курирующий весь Ближний Восток, Яков Блюмкин как-то резко умнеет и опять дает театр одного актера. То он – набожный владелец прачечной в Яффо Гурфинкель. А то – персидский купец-коллекционер-антиквар Якуб Султанов. Он разворачивает резидентскую сеть (с точками под видом, скажем, букинистической лавки). А еще ездит по Европе и не только – и очень-очень задорого продает книги. Да какие: древние еврейские, истинные сокровища! Конфискованные – этакая не стоящая внимания

безделица – чекистами в синагогах, библиотеках, музеях, молитвенных домах и у частных лиц. Это просто ужас, сколько рыцари со своими сердцами и руками, что-то из которых чистое, изъяли тогда, – и старинные свитки Торы, и средневековые сочинения, устраивали целые рейды в еврейские местечки по стране, вырывая книги отовсюду. Специально для Блюмкина, чтоб, значит, хорошо, достоверно ему торговалось. Блюстители народного достояния, да. Казну Блюмкин тогда здорово пополнил. Уж не знаю, оседало ли что где, прилипало ли к чистым рукам в процессе – или так наперебой и падали, по заветам Дзержинского, в голодные обмороки, как кегли. И здесь, кстати, опять можно ту музыку со скрипочкой или хор Турецкого, вот как хорошо и авантюрно-весело.

...А дальше все не весело, а очень странно. Потому что начинается тема двойной агентуры и всяческого сам себя перехитрил, или мощнейшей аппаратной интриги. Летом 29-го Блюмкин приезжает в Москву. Перед этим встретившись с сыном Троцкого Львом Седовым. Тот ему передал письмо отца родным и две книги, где между строк каким-то специальным раствором вписано обращение к оставшимся в СССР сторонникам. Что это было – попытка Блюмкина действительно перебежать к Троцкому или работа на своих? Здесь явные лакуны в хронологии, и никто не берется точно утверждать, когда, почему, самовольно или по поручению и с какой целью Блюмкин начал окучивать беглого вождя.

В Москве он с большим успехом отчитывается в ЦК. Среди прочего рассказывает о скандалах на аукционах, где, надо же, как неловко, то и дело обнаруживались на священных еврейских книгах пометки о том, из какой синагоги или музея их сперли. А еще он рассказывает – и при этом нагло врет – об успехе порученной ему акции устранения сбежавшего секретаря Сталина Бориса Бажанова. На самом деле вместо Бажанова из поезда выбросили другого человека, и, видимо, это было совершенно осознанно спланировано Блюмкиным... теперь уж не узнаешь, даже сам Бажанов до конца не разобрался, но Сталин поначалу поверил, был совершенно счастлив и в педагогических целях широко оповестил общественность, что наши длинные руки завсегда предателей настигнут. В итоге Блюмкина приглашает на домашний обед сам Менжинский и вот тут уже действительно поручает войти в доверие к Троцкому.

Тем временем Ягода был единственным, кто Блюмкину не верил. И насчет Бажанова не верил. И вообще. Поэтому дал деликатное ответственное поручение сотруднице Иностранного отдела Елизавете Горской (Лизе Розенцвейг, если уж на то пошло). Горская была единственной женщиной, к которой Блюмкин что-то чувствовал. Чрезвычайно одаренной агентшей, по словам Судоплатова, – сказочно обаятельной и одной из лучших вербовщиц. Какое-то время в Константинополе она с ним крутила, потом порвала, и Блюмкин так и не понял, что все это время она его пасла. Ну и теперь, когда Лиза сказала, что чувства вернулись, охотно распростер объятия.

Он успел скататься в Турцию, передать Троцкому какие-то секретные материалы. А по возвращении, в ночь на 15 октября его арестовали. Ровно за то, что поручили! За связь с Троцким и троцкистами в СССР. Формальное основание-доказательство – он, мол, попытался завербовать Лизу Горскую. Кто кого перемудрил, уж не поймешь. Главное, что глава Иностранного отдела Трилиссер отдал приказ взять Блюмкина – любимца Дзержинского и Менжинского, легендарного убийцу Мирбаха, обладателя персональной статьи в новой Советской энциклопедии, безупречно вот только что прошедшего очередную внутреннюю чистку с вердиктом «лучший и преданный чекист» и живущего на квартире Луначарского, авторитетного собеседника Молотова, Мануильского и Радека... В Деле № 864И первым красовался доклад Лизы Горской Якову Агранову. Обо всех встречах с Блюмкиным. О том, как он под секретом рассказал ей о своем общении с Троцким. О том, что, опасаясь, что бывшие троцкисты Радек и Смилга его выдадут, собрался бежать на Кавказ.

И почти бежал. Глянула на календарь – и обалдела! Сегодня, друзья! Прямо вот сейчас, в ночь на 15 октября 1929 года. Лиза спустилась с ним на улицу, и ей пришлось сесть в машину, хотя Трилиссер приказал ей этого не делать, но группа захвата задерживалась, и у Лизы не оставалось выхода. Они поехали на вокзал, где Лиза всерьез собиралась в случае чего арестовать Блюмкина с помощью милиционера. Но поезда на Ростов не было, Блюмкин грустно сказал, что теперь катастрофа неизбежна, и они поехали домой.

Забавно, что приказ задержать Блюмкина было реально кому выполнять. В час ночи, когда Трилиссер его подписал, стали искать кого-нибудь из начальников секторов – и нашли в итоге только кассира отдела Ивана Ключарева, который и поехал на задержание. Он рассказывал потом, как группа не застала Блюмкина дома, как ждали внизу, как подъехало такси с Блюмкиным и Горской, как Блюмкин сразу все понял, и такси умчалось. Как гэпэушная машина неслась за такси по пустым ночным улицам и все-таки нагнала у Петровского парка, как Блюмкин, снова все поняв, остановил машину и вышел с криком: «Товарищи, не стреляйте, сдаюсь, отвезите меня к Трилиссеру, я ужасно устал!».

И вот тут эта история набирает предельные обороты, и нам является странное смешение едва ли не шекспировского накала со слезливым апофеозом классической блатной песни-саги. Потому что Блюмкин поворачивается к своей чекистской шлюхе и спокойно говорит: «Ну, прощай, Лиза, я ведь знаю, это ты меня предала». А чекистская шлюха ничего ему не отвечает. И есть как минимум три варианта этого кино: скажем, сидит она, с непроницаемым лицом глядя перед собой; или, скажем, вся сжавшись, смотрит на него в упор с вызовом; или, скажем, лицо ее на секунду подергивается, как рябью, виной, сочувствием и задавленной влюбленностью, потому что такого больше уже никогда не будет (говорят, сильно она изменилась после этой истории, очень жесткой стала). И есть множество музыкальных раскрасок этого эпизода, создающих нужное настроение, – хоть вариация на тему «Мурки», хоть вечно спешащий на помощь Альбинони, хоть той же спекулятивной еврейской мелодии придать нужной ой-вэй-заунывности, хоть неувлимо изменить на лирический лад «Марсельезу»... В общем, как бы то ни было, Блюмкина увозят. Всю дорогу до ГПУ он молчит и только безостановочно курит.

А Лиза, кстати, еще даст прикурить всем разведкам мира. Выйдет замуж за разведчика Василия Зарубина, выполнит миллион заданий разной степени важности. Звездный час ее пробьет в Штатах. Там Зарубиных звали Зубилиными, он был первым секретарем советского посольства, а она – пресс-атташе вице-консула СССР в Нью-Йорке. И когда американские физики, включая двенадцать нобелевских лауреатов, начали работать над атом-

ной бомбой, Зубилина стала прямо вот совсем своей, родной и близкой в доме научного руководителя проекта Роберта Оппенгеймера. И ух сколько всякого передала в Москву. В 44-м их вернули домой, она получила звание подполковника, работала у Судоплатова в разведывательно-диверсионном отделе, но после его ареста в 53-м оказалась на пенсии. Среди тех, кого она завербовала, были личности непростые: и Вилли Леман, и жена Георгия Гамова, и (вот это прямо очень мне противно, я давно знаю эту историю) жена Конёнкова. Умерла она в 87 лет, совершенно в духе... в общем, ее сбил автобус.

Ну а следствие по делу Блюмкина вел его друг, коллега и тезка Яков Агранов, бриковский Янечка, известный предельной жестокостью. Ягода требовал расстрела, Трилиссер просил ограничиться тюрьмой, Менжинский колебался... Сталин согласился с Ягодой, конечно. Расстрел с конфискацией – за контрреволюционную деятельность, повторную измену делу пролетарской революции, измену чекистской армии и шпионаж в пользу германской военной разведки. Есть слух, что Блюмкин, услышав приговор, спросил: а про это будет в «Известиях» или в «Правде»?

Говорят, умер кррррасиво. По одной версии кричал взвуду: «Стреляйте в мировую революцию! Да здравствует Троцкий!» – и пел «Интернационал». По другой отбросил повязку с глаз и сам командовал: «По революции – пли!».

А что потом, а что потом, ты спрашивала шепотом? Ну как... Кто-то выдохнул и обрадовался, кто-то (коллеги, в основном) – ужаснулся. До Маяковского, говорят, что-то окончательно дошло, именно когда он узнал о гибели Блюмкина: мол, ходил полдня со «страшным лицом», никого не узнавая и не здороваясь... но, что характерно, ни словечком вслух на эту самую смерть не откликнулся (а так-то книжки дарил с надписями «Дорогому товарищу Блюмочке»). Потом довольно долго – ничего. Десятилетия спустя Юлиан Семенов напишет «Бриллианты для диктатуры пролетариата», всю эффектную блюмкинскую канву подарив Максиму Исаеву-Штирлицу. Затем начнут просачиваться эмигрантские или вышедшие из подполья мемуары – Бориса Бажанова, Матвея Ройзмана. Потом Катаев, конечно, – в высшей степени талантливо описавший его как Наума Беспощадного в «Уже написан

Вертер» и получивший за это исключительно травлю и обвинения в огульном антисемитизме со стороны трепетной интеллигенции. Смешно, конечно, Блюмкин поржал бы, надо думать.

Странное на самом деле производит он впечатление – неоднозначное, даже по воспоминаниям: то его представляют реальным мясником, то чванливым дураком с полномочиями, а то вполне себе интеллектуалом и полиглотом. То он топит в крови и расстреливает – а то продумывает и реализует по-настоящему сложные схемы разведки и разбирается с непростыми эзотерическими выкладками... Если вдуматься, выходит, что он во многом первый. Первый расстрелянный за связь с оппозицией. Первый монструозный дружок-взасос интеллигенции в стиле «тссс, ма шер, в сущности, в нем есть нечто подлинное, не смотрите на него, авось ему наскучит, и сам уйдет», которая, впрочем, ничему на этом примере так никогда и не научилась. Человек, чья жизнь за короткий срок вместила рекордное количество поразительных событий и мифологических поворотов. (По насыщенности радикально влияющими на ход истории поступками он же всех переплюнул, какие там Пушкины с Лермонтовыми на единицу времени! Так и вижу парадоксальный перевертыш «Неоконченной пьесы», где гладенький чекист изменившимся лицом бежит пруду, крича: «Мне 35 лет! Блюмкина еще в 29 поставили к стенке!!!».) И до отвращения яркая личность, конечно, авантюрист, конквистадор, охотник за головами, расхититель гробниц, подставляй что хочешь. Немного даже жаль, что у него не осталось внучат, к которым он, буде жив, – грудь в орденах и специальных наградных знаках для тех, кто понимает, благостный, зубы передние фарфоровые – приходил бы рассказывать на пионерских сборах про Шамбалу и лам, это был бы, я думаю, самый прикольный дедушка-ветеран в пыльном шлеме, мечта любого тогдашнего внука. На самом деле не понимаю, почему он не стал нарицательным – вполне ведь заслуживает. А с другой стороны – нет, и ладно, и поделом, хорошее наказание при его-то тщеславии.

Ну чего, серий на восемь накидали, да? И всё, всё, теперь всё, пошел вон.

Александр Дорошенко

«Отпусти мой народ...»

Дети нашего двора*



Детство мое!
Мой расстрелянный мир!
Милое детство?!

Иосиф Уткин. Милое детство

Такие глаза – все, что у нас есть!
Наш опознавательный знак,
знак принадлежности к людям.

Если бы удалось обернуть развитие вспять, какой-то окольной дорогой еще раз пробраться в детство, снова пережить его полностью и неохватность, – это стало бы обретением «гениальной эпохи», «мессианской поры», которую су-

лят и которой клянутся все мифологии мира. Моя мечта – «дорастить» до детства. Только тогда и пришла бы к нам настоящая зрелость**.

Бруно Шульц

* Из новой книги.

** Из письма Анджею Плесьневичу, 04.03.1936 г.

Новелла первая Детство человечества

«За чужую печаль
и за чье-то незваное детство
нам воздастся огнем и мечом,
и позором вранья...»*



Что они там такое задумали, с этой продранной картонкой?

Один из них – это я. Мы сидим на пороге нашего дома. Сейчас бабушка позовет меня, крикнув в дворовое пространство, не глядя, где я, зная, что неподалеку. И я, еще маленький, вот такой, как этот, крайний ко мне, побегу на зов. Разве что я был подстрижен короче, и свитер на мне, даже драный, был непременно залатан. Сандалии были такими же, и еще не были изобретены носки с поддерживающей ре-

зинкой. Эра таких продвинутых носков пришла позже, и я до конца школы ходил с резиновыми ножными подтяжками.

Человек за моей спиной, входящий в дом и несущий лучковую пилу, мой дед Гордей. Название «лучковая» образовалось от древней памяти, от натянутой тетивы, от лука**. Мы делали себе луки из подходящих упругостью веток, делали стрелы, и наконецником у них, дающим целевую дальность полета, была намотка из медной проволоки. Но это по возрасту чуть попозже.

* Александр Галич.

** «Лучковая пила» – от лука с колчаном разящих стрел, а украинская цибуля, тоже именуемая луком, как получилась? От огненной пронзающей остроты вкуса?

Делали рогатки с резиновой тетивой, висящей, натягиваемой по силе и дальности полета, с кожаной *сумочкой* для камушка, и это тоже древнее, еще древнее лука со стрелами. Мы как бы проходили весь путь человечества, от его становления до школы, где этот свободный поиск кончался принуждением и неволей.

Так мальчишка Давид однажды вышел навстречу врагу и поразил его из пращи, врага, вооруженного до зубов всей братоубийственной техникой...

Позже мы изобретали первое колесо, и наши тачанки из плоской доски на подшипниках, благо и завод подшипниковый был у нас под рукой, со скрежетом бороздили бульжные поля молдаванских тротуаров. Это называлось «самокат». Какое чудное слово, кто его выдумал, самокат, и только русский язык позволяет такое.

По улицам, там, где позволяет уклон, неслись наперегонки наши деревянные кони.

А это, пожалуй, я где-то в 1939 году, за четыре года до моего реального появления на свет. Точно такая была у меня кепка, точно вот этим взглядом смотрел я на окружающий мир. А насчет дров, так в нашей семье именно я их заготавливал для кухонной печи и грубы. А ниже я снят с корешами у входа в подземелье, где они все тогда жили.

Мои кореша с Молдаванки (это, правда, Варшава, Крахмальная улица, еврейский район). Вход в подвалы, где живут двадцать семь еврейских семей. Буквально дети подземелья. Илья Ильф, когда увидел эту улицу, тоже сказал, что это все Молдаванка.

Мое молдаванское детство. Мы были так одеты и так выглядели. На мне была именно такая кепка, как на этом с краю сидящем мальчишке, рукава свитера вот также выглядывали из рукавов пальто или куртки.

И у меня был вот такой искоса изучающий взгляд.

Катакомбы под ногами, небо над головой. Только это не катакомбы, они там живут, в этой дыре, в подполье, подземелье, там, где виден ребенок, только еще глубже. У нас во дворе были выходы из катакомб, и мы мальчишками предпринимали туда походы, пока однажды не заблудились. И тогда вызывали роту поисковиков-солдат. Нас нашли, и входы эти замуровали.

Они там живут, и сейчас, сидя у входа, греются на солнышке. Ни по одежде, ни по лицам они неотличимы от моих дворовых приятелей. Мне кажется, я слышу их разговор, знаю тему и принимаю в нем живое участие.

Подхожу, сажусь с краю, вслушиваюсь.

По улицам слона водили...

По нашим улицам.

Сапожник-портной, кто ты будешь такой...

Считалка... Мы себя считали не через кого-то, но сапожник был рядом... и портной работал в нашем дворе, на дому... а через дорогу, в доме, рядом с которым была военного времени развалка, работал переплетчик.

*Он любил дровяные склады и дрова. Зимой сухое полено должно быть звонким, легким и пустым... Он ощущал полено, как живое, в руке... С детства он прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в события трамвайный лепет жизни.**



Варшава, Крахмальная улица – Молдаванка Варшавы**

* Осип Мандельштам. Египетская марка.

** И. Ильф. Записные книжки за 1935 год.

*На одном крыльце сидели царь – царевич, король – королевич...
Нельзя поверить, что это всамделишно, не понарошку, такие
лица светлые и этот склеп-подвал, их родительский дом.*

*Так было у меня, на родной Молдаванке, и все мне кажется, что
я среди них сейчас тоже, и я даже слышу, о чем мы сейчас говорим.*

Вход в какой-то подвал, черный, как дыра в преисподнюю, как будто бы здесь все горело, стены, земля перед входом, эти ступени, горело долго, и оставшееся осталось потому, что даже огню, очищающему все в нашей жизни, всю ее грязь и мусор, даже ему наконец опротивело здесь гореть. К этим ступеням, ведущим вниз, страшно даже приблизиться, не то чтобы стать ногой на ведущую в эту дыру ступеньку, – и там внизу живет двадцать семь еврейских семей!

...Мы со сцены ушли,
но еще продолжается детство,
наши роли суфлер дочитает,
ухмылку тая...

Детство – это не возраст, не короткие штанишки, не...
Это не временный переход из немовлят во взросление, из непонимания в знания, из...

Детство – это Страна. Великая держава человечества, где все настоящее, где все чистое и не замутненное прикосновениями наших жадных, наших грязных рук. Это такая страна, которую не завоевать никому, и в которой есть граждане – дети.

Эта независимая Великая держава. Там летают особые бабочки и гудят по-особому шмели, там иной цвет у небес и облаков, там подлинные знания о мире...

– ...жизнь подходит к концу,
и опять начинается детство,
пахнет мокрой травой
и махорочным дымом жилья,
продолжается детство без нас,
продолжается детство, продолжается боль,
потому что ей некуда деться...

Александр Галич. Последняя песня

Продолжается детство без нас.

Наши роли за нас дочитают дети, пришедшие в мир на наши места. Их встретит тот же мир, те же бабочки будут летать, так же будет охотиться кошка за мышкой, те же будут секреты – от нас, взрослых, утративших способность видеть и понимать.

Я иду двором и вижу их, обитателей нового мира, они что-то важное обсуждают. Мы здороваемся. Они ко мне хорошо относятся. Но это иные миры, и мне туда не попасть, никакие знания, никакая память, никакие попытки...

Поэтому я довольствуюсь немногим – здороваюсь. Могу спросить, над чем они там размышляют, без попытки услышать ответ и понять.

Можно изучить новую теорию, как откровение, в физике и математике, в планетарном движении, в построении космоса... но в мир, который тебя покинул, тебя позабыл, тебе не вернуться.



Серьезные дела

Это их беседа у этой ступеньки, их интерес и беспокойность, их слова, они звучат из космоса, и самое главное, они нам недоступны, мы не можем ввязаться и все погубить своим благожелательным участием.

И слава Богу, потому что если и есть надежда, она в их разговоре, в их словах и поступках. И только ради них Господь удерживает свою карающую руку, занесенную над нашими головами.

Почему же он ее не удержал тогда, когда эти малыши гибли?!

Новелла вторая

Накрахмаленные крылья, парусиновые перья

На одном крыльце сидели
царь – царевич,
король – королевич,
сапожник – портной,
кто ты будешь такой?

Это уж точно я, и даже место это, со ступенькой, я хорошо помню, и даже то, что мы там рассматриваем, важное, вспомнил, но вам не скажу. Который сидит, Валька, и девочка, они со второго этажа нашего дома. Вальку позвала мать, и мы эту проблему, над которой думали, тогда не решили. Это и есть основная причина всех последующих неурядиц в мире.

День, как белая невеста,
Ночь, как фрак на аферисте...

Это нас вспоили медом
Те янтарные помойки.
Нам наплакала шарманка.
Молдаванка.

Ночью ломтик лунной брынзы.
Оловянный дождь к обеду.
Накрахмаленные крылья.
Парусиновые перья.

Молдаванка! Молдаванка!
В перстенечках оборванка –
Сине море нежит ножки,
Солнце ниже белый жемчуг.

Всё хлопочем – жить не хотим,
Фонари нахально мочим

Тоненькие финикийцы
И дегтярные хохлы.

Лавочница, каторжанка,
На копейку интриганка,
Молдаванка... *

Это белье, развешанное на канатах, натянутых поперек и вдоль двора, всякие простыни, рубашки, юбки, майки. Под ласковым ветерком колышутся рукава рубашек, и кажется, что эти две, на соседских канатах, летящие рядом, о чем-то говорят, о чем-то неведомом, неизвестном их хозяевам, и только я, вбежавший сейчас с улицы и остановленный дружным взмахом приветственных полотнищ, только я слышу, о чем, и могу различить их голоса.

Они, эти накрахмаленные крылья, на своих надежных и крепких парусиновых перьях однажды взмахнули в последний раз, набрались силы и оторвались от земли, от канатов, от дворовых сараев, и поднялись в высоту неба, смешавшись в веселом объятии с голубями, и потом, приняв правильный облик, ангелами детства они потянулись в небеса, в город, названия которому мы здесь на земле не знаем, и косноязычно, обозначительно говорим, переходя на шепот, – небесный Иерусалим.

Крутится вертится шар голубой,
Крутится вертится над головой,
Он крутится вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсить...

Здесь тембр голоса и интонация, чуть задумчиво, не напоказ. *Кавалер-барышню...* с чуть грассирующим «р», с затягиванием на «а...а».

Мы, дети, пели иначе, не зная источника, мы пили из него без определений, пили чистую родниковую воду, холодноватую, горло чуть схватывало... и делало голос глубже, и делало взгляд...

* Асар Эппель.

Мы пели: *«Крутится вертится дворник с метлой, / Крутится вертится по мостовой, / Он крутится, вертится, хочет узнать, / Чья это лошадь успелать»*.

Это чудесная еврейская песня, но мы, дети, ничего о евреях не знали, мы такого слова не знали, знали Йорика и знали от старших, что у него мать немка, но Йорик был наш, как мы, и к немцам, в которых мы в войну, наши-не-наши, играли, отношения никакого иметь не мог, он играл на нашей стороне... Не могу понять и припомнить, кто играл на противоположной, противной...

А рядом с нами лежали наши верные псы. Были они всех возможных оттенков цвета, как и у нас, их одежды были сшиты из чего пришлось и попало, из всех наличных земных цветов... были они отродясь нечесаны и немыты, жизнь знали, как и мы, не по учебнику, а отражением бытия, как страница Библии, были наши истины и принципы, незыблемыми и ненарушаемыми никогда, до самой смерти,

Мы пускали парусные кораблики, бумажные, после дождя бурные реки текли по обочинам наших улиц и пропадали на углах, в водосливных решетках. Куда они ушли, где теперь наши кораблики, в каких далеких подземных морях? Но, наверное, такой кораблик, сделанный из листочка ученической тетради в косую линейку, проплыв подземные реки и моря, выныривал в самой что ни на есть середине Тихого океана или в Атлантике, мы в те годы тихо знали географию, и там тихо плыл, покачиваясь на удивленных волнах, в сторону Америки, плыл тихо, раздумчиво, и пролетающий морской ангел из любопытства мог прочесть упражнение по арифметике, где 17 плюс 15 равнялось неведомо чему, потому что после знака равенства ответа не стояло. Ангел летел дальше, в сторону статуи Свободы (мы в эти годы знали несколько верных незыблемых клятв-заклинаний, и одной из самых серьезных, намертво то есть, была «век свободы не видать», явно взятая из лексикона эзков. Не помню, как это звучит на идиш.

Мы сидели на ступеньках у подъездов домов, в проходах дворовых и играли в карты, в шашки и даже в шахматы...

Я даже и не удивился насчет трех карт, я знал с детства, с подворотни, на ходу и бегу, это сочетание, тройка-семерка-туз, но провести меня, молдаванского мальчишку, было непросто, я бы

не поддался, потому что коню понятно, это работает, это может сработать, только если ты знаешь заветное слово, а ведь все заветные слова существуют только на русском языке...

Мы знали удивительные тайны о сокровищах, спрятанных в темных позабытых чуланах и сараях, и мы бесстрашно туда проникали, вымазанные в паутине.

Мы жили там, в нищете и скудности, там, где ругаются и говорят скверные слова, и вот странность, только сейчас я ее разглядел и вспомнил, мы никогда между собой не ругались этими грязными словами... Для нас ругательства были проявлением тяжести жизни, а мы не хотели тяжело жить, мы жили легко и воздушно...

Детей в наших громадных молдавских дворах было великое множество. Всех мыслимых возрастов, так что друзей хватало всем поколениям ребятишек. Там жила и плодилась нищета. В квартирах водопровода и канализации не было, и этим целям служил общедворовый, не отапливаемый, естественно, туалет и рядом расположенная водяная колонка. Зимой к ней невозможно было подойти, так она обледеневала и превращалась в ледяную гору.

В сараях держали уголь и дрова – в доме было печное отопление. Идешь, бывало, зимой по нашей улице, и изо всех многочисленных труб на укрытых снежными шубами крышах валит дым. Так щемяще красив город моего детства зимой – глубокий, отдающий вечерней синевой снег, свет запорошенных окон через расписанные морозом стекла, осязаемое тепло жилья.

Только в детстве дарован человеку такой снег! Эти снега былых времен тают со временем, как и наша жизнь.

Только детские глаза видят прекрасное в мире и мир прекрасным. Только глазами ребенка выросший и покинутый богами человек может вновь, пусть на самую малость времени, увидеть прекрасным мир. Несчастен человек, лишенный любви ребенка, он лишен оснований жизни и видит мир искаженным и безрадостным.

Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах.

Исаак Бабель. Конармия. Гедали

Двускатная крыша дома была утыкана трубами кирпичной кладки, их было множество, в два ряда по обоим скатам, и каждая дымила зимой. Зимы тогда были холодными и многоснежными. Печи топились, в каждой квартире была стенная печь-груба и плита. Тепло моего детства было иной природы, живой, осязаемой, близкой. Теперь оно приходит ниоткуда и уходит в никуда.

Чердаки и демоны, и ведьмы, и прочая сатанинская рать.

Был у нас голос, мы слышали его между слов взрослых, он говорил нам о том, что мир не так прост, как нас стали учить дома и в школе. В том нашем правильном мире было место и ангелам, и дьяволу было место, но дьявол был интереснее. Он, дьявол, всегда был интереснее ангела, он был смешной, не пыжился и ничего не требовал. Бывало страшно, он любил нас пугать и прятался по углам темных спален, притворяясь тенью.

Но мы-то знали – мы видели!

Ангелы, нам это растолковали взрослые, обитают в основном в храмах и на небе, и все свое время поют красиво и хором.

А дьявол и его подручные ребята живут среди нас.

И насчет летучей мыши, ведь любому, однажды увидевшему ее полет, становилось ясно, что к нашему привычному миру она не принадлежит, но ведь был мир, из которого она вылетала, внезапно срываясь с коньков крыш, достигая в паденье твоей головы и вновь ракетой взмывая в высоту ночи. Мальчишками мы знали, что опасно таким вечером быть в белой рубашке – она привлекает летучую мышь. А самые крупные летучие мыши назывались вампирами. Что вампирами могут быть не только мыши, но и люди, мы узнали позднее.

И сова. Тот, кто увидел сову, разве забудет ее глаза?!

(Я слышал чудную историю, как мышонок под вечер увидел летучую мышь и бросился к маме с криком: «Мама, я видел ангела!».)

Вглядываюсь и вижу там себя, среди них, таким же по возрасту, таким же по одежде и, главное, по интересам и занятиям этим интересным. Слышу слова бесед, рядом, чуть за спиной, у плеча. Станным образом легко узнаю и различаю их голоса.

Такое чувство, что они тоже меня узнают, разглядывают и заговаривают со мной.

Новелла третья

Это нас вспоили медом те янтарные помойки



Сестры. Экспедиция Ан-кого

Эти глаза закрыть нельзя.
Это невозможно, никто
и ничто, ни Бог, ни время
не властны над этим взглядом.

Это живой взгляд.

Эти глаза на меня глядят
сейчас, сегодня, неважно,
какой был там год, и не су-
щественно, какой сейчас за ок-
ном, на дворе, на улице, в горо-
де, в мире.

Это на меня они смотрят,
это мне они задают вопрос,
что будет, как будет, и будет ли
этот обещанный многократно

и на земле, и на небе, счастливый мир.

Не ходи больше в музеи мира. Не бегай там по залам, причмо-
кивая от восторга.

Глянь в эти глаза, и тебе уже ничего не потребуется для пони-
мания сокровенной сущности нашего земного бытия.

Новелла четвертая

Кореша

– Где душа твоя, сын мой?

– Там, на свете широко, о ангел!

Есть на свете поселок, огражденный лесами,
Над поселком – пучина синевы без предела,
И средь синего неба, словно дочка-малютка,
Серебристая легкая тучка.

В летний полдень, бывало, там резвился ребенок,

Одинокий душою, полный грезы невнятной,
И был я тот ребенок, о ангел.

Хаим-Нахман Бялик

Надо покопаться в этимологии этого слова, «кореша», но я просто так думаю, что это от слова «корень», «корешок», от длинного и узкого коричневого стручка акации, которым по осени устланы наши тротуары – идешь, а они шуршат под ногами, а если наступить, то их запах ни с чем не сравним, неповторим, кроме этих осенних дней и только у нас, в Городе, где тогда их так много, а того, чего так много, не ценишь. А в корешке, как в вагончике, как в длинной и узкой спаленке, спят малыши, спят, набираются сил, чтобы в свой срок выйти-выбежать в этот такой красивый, такой счастливый мир! Выбежать, как мы во двор, мы дворовые дети, поиграть, покричать, посмеяться!

Как вот эти ребята в ... году – как попавшие в объектив Романа Вишняка в 1939, как это было на моей Молдаванке в моем послевоенном детстве.

Однажды я был далеко от Родины, очень далеко и очень долго, и все у меня там было хорошо, дела и коллеги, и даже женщина, чужеземная, и у нее тоже было все, как у всех женщин.

И вот однажды я шел узкой улочкой маленького городка, ухоженного по-немецки, уютного по-нашему, вымытого и вообще... И наступил ногой на что-то подвижное и скользящее под ногой.



Дети бедняков Дубно. Экспедиция Ан-кого



Весь антураж из моего молдавского детства

Даже не наклонив еще головы, не глянув, не разглядев, я ощутил запах – корешка акации. Он был меньше нашего размером, темнее цветом, меньше в нем было семечек-ребрышек, проступающих сквозь плотную чешую, – но запах... ни с чем... никогда... нигде более...

И я, как дурак, на глазах удивленных немцев стоял и вытирал слезы!

Ну-ну, у нас не было песка в супе, разве что соседка соседке, а своим котам мы пели песни, и девочки наши своих кукол-любимцев одевали в шляпки и юбочки.

Это они сидят или бегут, или пускают кораблики, или... или... и на ходу, специально не останавливаясь, говорят о нас, о наших взрослых проблемах, о нашей взрослой жизни, которая для детей, жизнь их отцов во все времена человечества была и должна была быть образцом и примером, говорят... такое... чего нам не следует слышать.

Но, главное, вот в этих лужах, на этих обшарпанных стенах, в этих подземельях, где не столько жить, но куда человек никогда спускаться не должен, они были счастливы, вы только взгляните на них, бегущих улицами гетто, играющих на этих подранных тротуарах...

И как бы ни сгущались краски... как бы ни... это... даже это и даже такое... счастье!

Присмотрись к этим снимкам, внимательно, взглядишь, и ты узнаешь себя.



Бежим с нами! Если зовут играть, значит, видят
меня мальчишкой

Мои кореша

Роман Вишняк не добрался до Одессы. А предстоящая судьба у этих мальчишек и моих молдаванских ребят в этом 1939 году была общей.

Если бы вернуться, к ним, туда, где я был счастлив, где каждый день был первым днем моей жизни, где было так интересно жить, где каждое слово было Словом и открывало мир, где они меня знали, не присматриваясь, не обсуждая, но просто обернувшись ко мне и позвав туда, куда бежали они...

Если бы...



У земных рубежей. Кораблик по луже-ручейку
непреренно выберется к океану



Босиком по краю Вселенной. Отважные пацаны.
Где это они бегут? Может быть, по моей
Молдаванке?

Бобров шел по дороге и думал: почему, если в суп насыпать песку, то суп становится невкусным?

Вдруг он увидел, что на дороге сидит очень маленькая девочка, держит в руках червяка и громко плачет.

– О чем ты плачешь? – спросил Бобров маленькую девочку.

– Я не плачу, а пою, – сказала маленькая девочка.

– А зачем же ты так поешь? – спросил Бобров.

*– Чтобы червяку весело было, – сказала девочка, – а зовут меня Наташа.**

...Катит гром свою тележку
По торговой мостовой,
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

* Даниил Хармс. 1930.

И угодливо-поката
Кажется земля, пока
Шум на шум, как брат на брата,
Восстает издалека...**

Дождь. Свирепый и внезапный, как нашествие полочецкое, в степи поднимается пыль, ничего не видно и никого еще не видно, только испуганный ветер гонит пыль поземом, но...

И вслед за ним, ниоткуда взявшись, из-за угла, наскоком, в косую клетку, вылетает конница и сечет, и рубит наотмашь, яростно и весело, все живое, все теплое, все мягкое, не успевшее спрятаться и убежать.

Мы под дворовыми навесами, за дверьми сарайными, за окнами.

Смех и радость.

Дождю и ветру нужны мы – достать, напугать, заставить бегать и прятаться. Это игра, еще одна игра в ряду наших любимых...

В белые бессолнечные утра, зачерстневшие от холода и погруженные в будничные дела, они незаметно выходят из толпы, ставят на козлы шарманку на перекрестке улиц под желтой полосой неба, перечеркнутой телеграфными проводами, среди оступело спешащих людей с поднятыми воротниками и начинают свою мелодию, не с начала, а с того места, где прервали вчера...

И странное дело, едва зазвучав, мелодия тотчас вскакивает в свободный пробел, на свое место в этом часе и в этом пейзаже,



1937 или 1938 год. Серьезная беседа.
Не раз ношенные, переданные по наследству пальтишки.

Середина века, и он вглядывается в наши лица с надеждой, что мы справимся с предстоящим, что на нас можно положиться...

** Осип Мандельштам. Стихи о русской поэзии. 2-7 июля 1932 года.

*как будто она всегда принадлежала этому задумавшемуся и затерянному в себе дню, и в такт ей бегут мысли и серые заботы торопящихся людей.**

По дворам ходил точильщик. С криком: «Кому точить, ножи ножницы...». И ходил мастер-паяльщик, или как там его, с криком: «А вот кастрюли паять...».

Шарманщика в нашем детстве я видел всего несколько раз.

Под шарманку пели, девичий голосок, пронзительный. Это действовало на наших сердобольных женщин, и они выносили, кто что. Реже деньги, чаще что-нибудь из еды.

Новелла последняя

По тротуару влево дружно шагают по какому-то срочному делу две женщины. Рядом кто-то заходит в лавку, дальше вышагивает в противоположную сторону семейная пара, старый крепкий еврей с торчащими во все стороны ушами пересекает улицу, и вид у него, как остановленное время и неизменно длящаяся вечность, за его спиной закутанные и замшелые какие-то старухи переходят дорогу...

У каждого дело, дела высокой срочности и необходимости, которые отложить нельзя... На самом деле все это суета и бессмыслица, их время здесь остановлено, и остановись оно в любом их прошлом и в любом предстоящем дне, дело это было бы точно такой же длящейся пустотой...

Случайные эти люди попали на снимки помимо своих намерений и воли, так случилось в секунды длящегося снимка, и это все, что от них навсегда осталось... Они, вероятно, об этом так никогда и не узнали. На этих снимках они просто идут по улицам города, стоят на перекрестках, садятся в трамвай и иногда случайно оглядываются в сторону фотографа, его не видя, и так на клочке фотобумаги остаются их лица, полные давно прошедших, всегда непростых забот, радостей и печалей...

* Бруно Шульц. Санаторий под Клепсидрой.



Иногда на таких снимках в далекой перспективе чуть заметна маленькая человеческая фигурка, человек не успел еще войти под высокий уличный навес и исчезнуть в прохладном вестибюле магазинном, но благодаря только этому он и остался в истории мира, это и была вся цена его жизни! Как в живописи новых мастеров, где на человека приходится всего несколько небрежных мазков краски – и становится узнаваем человек, а всеми его радостями и печалью мы наделяем его сами, хорошо зная эту вечную тему, от страниц Ветхого Завета и до сегодняшнего нашего дня.

Все это неживое. Человек покидает мир постепенно, и большая часть живущих даже не догадывается, что на самом деле они мертвы, и многие из них так и не родились.

Здесь единственно важное, стоящее, обоснованное человеческой историей, ее смыслом, – то, на что смотрят так дружно эти молодые девчонки. Что-то они там такое увидели, дружно



Еврейское кладбище в Польше. Памятный камень с фотографиями Романа Вишняка

оглянувшись, что это было такое, кошка ли там перебегает доро-
гу и несет в зубах котенка, собака ли напала на эту кошку, уже
не узнает никто...

Люди не замечают, когда кончается детство,
Им грустно, когда кончается юность,
Тоскливо, когда наступает старость,
И жутко, когда ожидают смерть.

Мне было жутко, когда кончилось детство,
Мне тоскливо, что кончается юность,
Неужели я грустью встречу старость
И не замечу смерть?*

Павел Коган, 1937 год

* Он не встретил старость и не заметил смерть.

Эти дети не заметят, когда кончится детство,
Они не успеют встретить юность,
Но им не грозит предстоящая старость,
А Смерть их обнимет, как Мать.



Михаил Пойзнер

«Уже только эти слова меня вылечивают...»

2 ноября 2020 г. в Нью-Йорке на 94-м году ушел из жизни легендарный одессит, замечательный писатель Аркадий Львов. Увы! Официальная Одесса долгие годы замалчивала это имя, стараясь не замечать его творчество. И, к большому сожалению, Одесса так и не воздала должное таланту этого признанного во всем мире писателя при жизни.

Может быть, он, как никто другой, после Бабеля, Катаева и Жванецкого, своим романом «Двор» открыл глаза всему свету на наш город. Заставил заинтересоваться и полюбить его. Так или иначе, очень-очень многие, не видя Одессы, погружались в ее мир – мир характеров и ярких индивидуальностей, мир с только нам присущей изюминкой.

...2 сентября 2005 г., в День Одессы, во Всемирном клубе одесситов я познакомился с Аркадием Львовым и его женой Диной – коренной москвичкой, женщиной «с морем симпатии». Дина с огромным интересом смотрела (старалась смотреть) на Одессу и одесситов глазами Аркадия Львова, пытаясь вникнуть в нашу специфику. У нее это неплохо получалось...

К сожалению, Дина вскорости умерла, оставив Аркадия наедине с жизнью и бытовыми проблемами. Потом он приезжал в Одессу сам. Останавливался обычно в «Одесском дворике», что на Успенской угол Маразлиевской.

А поводом для более близкого знакомства послужила почтовая открытка из моей коллекции. Открытка довоенная, присланная в Одессу в его родной дом – Авчинниковский пер., 14. Восточка



адресована некой Э.Б. Ага. Эта караимская фамилия сохранена в произведениях Аркадия Львова. Так, в замечательном рассказе «Ошибка Дюка де Ришелье» (1966 г.) фигурируют Николай Христофорович Ага и его сын Жора – первостроитель Ильичевского порта.

В каждый его приезд из Америки мы встречались во Всемирном клубе одесситов, потом бродили по городу. По городу его детства и воспоминаний. Бывало, сидели в уютной уличной шашлычной «У Джамбула» на Александровском проспекте. Часто подходили к его дому, в Авчинниковский. Аркадий всегда останавливался посередине двора, высоко поднимал голову – показывал рукой, где кто когда-то жил. Называл фамилии, описывал характеры соседей – кто кем работал, кто с кем выяснял отношения. Явно он скучал по тому времени, по тем людям, которые так или иначе навсегда вошли в его жизнь. И это особенно ощущается в его романе «Двор». Новые жильцы дома проходили, до обидного не замечая его. Аркадий провожал их долгим взглядом, уже вслед подмечая даже какие-то мелочи в их поведении...

По выходным я заезжал за ним в «Одесский дворик», и мы двигались на Староконный. Он стремился туда, стремился потолкаться с простыми одесситами. Как-то остановились возле мужчины, торгующего обычными советскими значками. Один покупатель что-то долго высматривал среди значков. «*Шо* вы там шукаете?» – заинтересовался продавец. В ответ: «Тá, нужен значок с Энгельсом». Продавец: «Так берите уже, вот он...». Покупатель: «Нет, нет! Это не то... Здесь он с Карлом Марксом». Тогда продавец по-одесски насторожился: «Стоп! Не понял! А чем вам, собственно, не подходит Карл Маркс? А ну-ка, *шо* вы имеете против Карла Маркса?!».

Аркадий Львов громче всех рассмеялся: «Ты слышишь?! На Староконном уже шьют дело!». Теперь всякий раз «вместо здрасьте» он повторял: «А *шо* вы имеете против Карла Маркса?!» – и только после такого приветствия начинал о чем-то говорить. Иногда он замыкался. Может быть, на Староконном перед ним пробегали картинки из прошлой одесской жизни – послевоенные барахолки, похоронки, безногие калеки, попрошайки. Хотя он мог запросто вступить в разговор с кем-то из местных зевак, а как-то, обняв меня, с грустью произнес: «Ты заметил, что раз от раза размеры Староконного расширяются? Теперь уже все идет от Комсомольской... Люди уже выносят свое...».

А как-то после Староконного заскочили ко мне домой, на Южную. Быстро собрали что-то на стол... За столом Аркадий очень масштабно вспоминал о встрече с Константином Симоновым, Сергеем Баруздиным. Много говорил о Валентине Катаеве (читал его стихотворение об Одессе «Поезд», 1944 г.). И очень бегло о своей работе на радиостанции «Свобода». Причем часто внезапно переходил на украинский язык (передачи на «Свободе» он вел и на украинском языке). Надо сказать, что его украинский был красив и сочен, с акцентом, во многом характерным для жителей Западной Украины.

Здорово читал наизусть отрывок из «Евгения Онегина»: «*Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел...*». Мы буквально заслушивались мелодией его речи, расставленными ударениями... Может быть, что-то из Пушкина он примерял на себя...



Говоря о каком-то sereneком московском писателе, с сожалением констатировал: *«У одних есть характер, у других только черты характера...»*. Настолько четко и емко, что сразу же можно было представить этого горе-труженика пера.

А как-то на Приморском бульваре мы присели, прислушиваясь к звукам баяна. Исполнитель протяженно напевал: *«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь...»*. Эти слова, очевидно, были созвучны с его душевным настроем. Тогда, присматриваясь к медленно прогуливающимся молодым людям, Аркадий повторил несколько раз:

Нет, мы еще не старые,
но бродит тем не менее
знакомыми бульварами
другое поколение...

Я переспросил: «Это чье наблюдение?». «Да это, кажется, Валентин Пикуль, – ответил он. – А что, ты как-то не согласен?!» Как же не согласиться...

...Иногда мы ходили пешком через Отраду на Ланжерон, непременно заскакивая перехватить в ресторанчик «Пальма». Наш черноморский бычок (кнут или хотя бы бобырь) и пиво. Все остальное разговоры – о море, Молдаванке, одесских ценностях. Он мог бесконечно говорить со вкусом про фиринку, сарганчика или ставридку.

Он мог перебраться несколькими крепкими словами на идиш. Особенно когда оценивал нашу одесскую эмиграцию в Нью-Йорке. Описывал без снисхождения, не обходя острые углы. Ненавидел местечковость, замкнутость, самовозвеличивание...

Не любил лишний раз вспоминать о гонениях в 70-е годы, когда ему пришивали то сионизм, то шпионаж в пользу какого-то государства, то что-то еще. Когда в 76-м вышвырнули из Одессы. Всегда отмахивался: «Да Бог с ними...».

...Как-то заехали на Воронцовку, о которой он всегда вспоминал с любовью. Бросили машину и пешком прошли от Алексеевской церкви и базарчика мимо стены 2-го Христианского кладбища аж до Люстдорфской дороги. Шли медленно, под разговоры



о старой Одессе, оккупации, людях с большой и малой буквы... Чуть задумавшись, он как бы подвел итог: «Играть кого-то другого намного легче, чем быть самим собой...» О себе говорил: «*Всем нужен, а по-настоящему никому...*». Я, конечно, возражал... А как-то весело про какого-то хитреца-приспособленца в литературе: «*Это разве Троянский конь?! Оставьте меня – это всего лишь Троянский... пони*».

...На первом томе шеститомного собрания сочинений (2002 г.) он написал мне: «*Михаилу Пойзнеру... который знает за космос столько, что автору остается только немножко добавить за нашу Одессу, за одесситов и всех других людей на Земле, чтобы картина сделалась чуточку полнее...*». И он таки хорошо добавил за Одессу! А я же навсегда запомнил его высказывание (а может, перефразированную им мысль какого-то философа): «*Настоящее искусство всегда завершает то, что оставила незавершенным природа*». Не этому ли принципу всегда следовал Аркадий Львов в своем творчестве?!

...Последний раз я говорил с ним 9 марта 2020 г. – в день его 93-летия. К телефону подошла женщина. В чисто одесском стиле: «Это кто? Зачем он нужен?». А потом: «Аркадий, это из твоей Одессы, какой-то Пойзнер...».

Аркадий долго подходил. Болезнь брала свое... Я пытался подбодрить: «Аркадий, брось! Все болеют, только зацепи... Лучше вспомни за наши походы на Староконный. А Ланжерон с Аркадией?! А Авчинниковский?!». Аркадий прервал мои перечисления: «*Дорогой мой! Спасибо! Уже только эти слова меня вылечивают...*».

Одесса всегда перед глазами!

Одесса всегда манила, напоминала, ждала!

Одесса – эта незаживающая рана...

Таким был Аркадий Львов, обычный необычный одесский человек с американской пропиской. Большой художник, классик не только одесского масштаба. Гордость Одессы, ее слава. Этот неисправимый романтик, он был американцем только на бумаге, оставаясь навсегда одесситом, не изменив ни времени, ни себе.

...Как-то Аркадий заговорил об Америке, о других странах, где приходилось бывать. При этом он с грустью пошутил как бы про самого себя:

Жил отважный капитан,
Он объездил много стран
И не раз он бороздил океан...

Жил! И продолжает жить в наших сердцах.
Аркадий Львов не может быть забыт.
Память о нем должна быть увековечена в Одессе.



Евгений Голубовский

Заложник вечности

Стало страшно открывать ленту Фейсбука. Каждый день потери. Увы, очень значительные. В конце ноября 2020 прочитал сообщение Андрея Коваленко, что умер Олег Волошинов (1936-2020).

Мы дружили много лет. Я писал о нем. В моей книге «Глядя с Большой Арнаутской» большой очерк.

Вот одно из моих эссе об этом талантливом художнике.

Когда-то к Пабло Пикассо обратились с вопросом – зачем менять манеры, если они уже понравились зрителю, для чего все время искать? Пикассо был категоричен: «Я не ищу, я нахожу». Фраза яркая, запомнившаяся многим арт-критикам. Поиск, преодоление собственных успехов – это свойство характера, темперамент творца. А всегда ли он приводит к удаче, к находкам – непредсказуемо. Но большой художник (думается, что и поэтому, в частности, он большой) всегда пытается идти дальше, не останавливаться.

Да, человечество не может изобрести вечный двигатель, но вечный поиск – право (не обязанность, а право) настоящего художника.

Обо всем этом размышлял я, разглядывая коллекцию картин одесского живописца Олега Волошинова, собранную на протяжении многих лет Михаилом Кнобелем, а затем пополненную Музеем современного искусства Одессы. И, что важно, перейдя восьмидесятилетний возрастной рубеж, зрелый мастер остался в творчестве молодым, продолжает искать ту высшую, может, и недостижимую, степень выразительности, к которой стремился все шестьдесят лет творчества.

Достаточно было увидеть на выставке «Абстрактная Одесса» три небольшие его картины самого последнего периода, чтобы

убедиться, что Олег Волошинов не повторяет сам себя, а прокладывает новую тропу. Возможно, такой же путь проходили и другие живописцы, но это никого не должно останавливать, тут главное – не позволять душе лениться, помнить, что так же, как отличаются отпечатки пальцев у всего человечества, отличаются и человеческие души, а значит, искреннее отражение своей души на холсте всегда будет неповторимым.



Олег Васильевич Волошинов родился в семье художника. За плечами отличное образование – Одесское художественное училище, а затем ленинградская Академия искусств. Преодолеть «академизм» ему помогли одесские художники-нонконформисты. Нет, ничему они его не учили, но самим фактом своего существования, своей внутренней свободой Александр Ануфриев, Владимир Стрельников, Валерий Басанец, Люда Ястреб побудили его к поиску своего места в многоцветной палитре Одессы. Легче было выживать, объединяясь в группы, неформальные сообщества. Олег Волошинов всегда был сам по себе. Дружил, общался, обсуждал, но творчество – процесс сугубо личностный, у мольберта перед холстом он оставался один на один со своим мировосприятием, со своими переживаниями, своими мыслями, быть может, главным воспоминанием в жизни – воспоминанием детства.

Детские впечатления – море, запах стружек при постройке яхт, раскаленный песок и животворящее солнце. Это осталось в нем навсегда и всю жизнь определяло его творческие поиски.

«Иногда я вспоминаю отца. Отец весь в белом. Белые брюки, белая рубашка, белые парусиновые туфли. А я, загорелый до черноты, южное дитя, живу под водой, дружу с рыбами. Даже отец не догадывался тогда, как мне не хотелось выходить на берег...»

Не этот ли белый цвет в воспоминаниях детства преломляется, озаренный лучезарным светом, в мужской фигуре у старого дома, в ослепительной белизне штукатурки стен домов, старого маяка и многих других образов Олега Волошинова?..

Белый цвет, усиленный синевою моря, озаренный благодатью солнечного света – вот одна из самых ярких, самых впечатляющих доминант живописного бытия в картинах Олега Волошинова.

Нужно ли удивляться, что зал Олега Волошинова на выставке живописи в Музее западного и восточного искусства в 1980 году запомнился парусами яхт, маяком на выступающем мысе, палящим, но не испепеляющим солнцем.

С того времени по день сегодняшний Олег Волошинов для меня – искренне и неистово влюбленный в свет солнцепоклонник. Казалось бы, романтик, но не только и не столько. Он рационален в своих поисках выразить мир знаками красоты, иероглифами счастья.

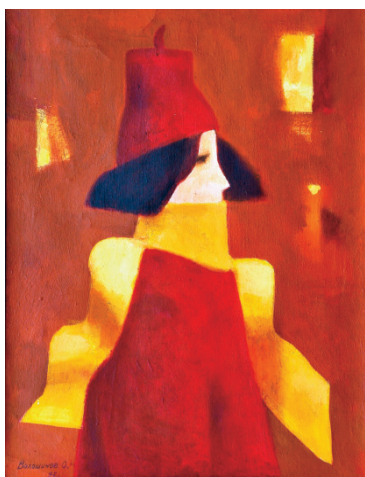
10 апреля 2010 года на вернисаже в МСИО я обратил внимание на небольшую работу Волошинова 1970 года «Многофигурная композиция». Соединение фигуративной живописи и абстрактного мышления. Никаких подсказок зрителю, гармония форм, локальный цвет. Филологи могли бы заняться расшифровкой иероглифической письменности древних землян, населявших наше побережье. Мне же кажется, что Олег предложил нам обобщенный знак гармонии, уравновешенности, сосредоточенности на диалоге с самим собой.

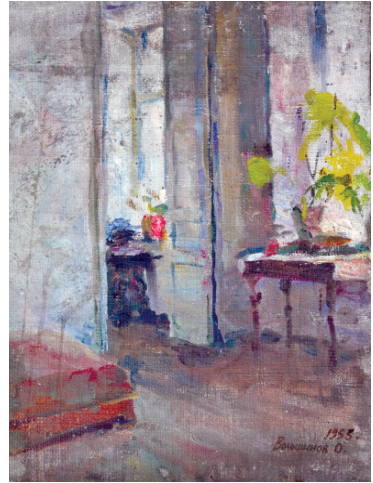
Если окинуть взглядом, пусть даже мысленным, произведения живописца, нельзя не вспомнить завет Бориса Пастернака:

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну –
Ты вечности заложник,
У времени в плену.

Редко кто с такой интенсивностью и преданностью реализует эту поэтическую формулу, как Олег Волошинов, ощущая себя «заложником вечности».

Есть зрители, как и читатели, кто может подумать, что создание знаковой гармонической картины, тем более абстрактной, – уход от активного присутствия в реальной жизни. задумайтесь,





тогда почему тоталитарные режимы – и советский, и фашистский – так преследовали художников, уклонявшихся от академических канонов, тем более абстракционистов. Искусствоведы в штатском давно осознали, что абстрактная живопись может активно воздействовать на зрителя. Поэтому и пресекали.

А такие художники, как Олег Волошинов, кто был все годы в поиске, перепробовал сложнейшие гармонии – на грани фигуративизма и абстракции, хоть и не выступал с программными манифестами, но находился на острие борьбы за творческую свободу.

В 2009 году я, как и многие, надеялись, что Волошинов покажет на выставке и свои самые новые картины. Художник решил, что еще не пришло время. Но именно тогда я побывал в его мастерской. К сожалению, уже не в прежней, на Канатной, где он когда-то работал. Ту мастерскую разрушили строители, и ему пришлось срочно перебираться в одну из клетушек в здании Союза художников.

Рассматриваю новые работы. И думаю, какой энергетикой нужно обладать, чтобы в семьдесят лет решиться на еще один поворот руля, не уйти от себя предыдущих лет, а поставить перед собой еще более сложную живописную задачу.

– Хочу избавиться от хаоса на плоскости холста, от усложненности форм.

И правда, новые работы запомнились тем, что цвет – чистый, плоскость – чистая, от символов пейзажа остались лишь намеки на фигуративность. Художник избавляется от сюжетности, хочет решить художественные, формальные задачи, и лишь потом ввести минимальное количество фигуративной информации. Если раньше зритель смотрел на флажки, яхты, и ему казалось, что он понимает живопись, то теперь художник ищет «своего зрителя» среди тех, кто эмоционально воспримет его картины, почувствует глубокое переживание живописца не по угаданному знаку, а по цвету, солнечному ожогу. Это уход от того, что когда-то замечательный одесский художник Александр Ацманчук называл «ползучим реализмом»...

Если определять последний этап творчества Олега Волошинова, я бы назвал это минимализмом. Кстати, этот термин недавно стали применять в оценке новой прозы и новой поэзии. Мастер стремится к тому, чтобы минимизировать художественные средства, и именно этим достигает максимальной выразительности своих работ. Как

когда-то в портретах, по сути, еле намеченных, в выжженных солнцем пейзажах – знаком ощущалась эмоция, я бы сказал, страстная любовь, так теперь в композициях цветных плоскостей прочитывается любовь к недостижимому земному раю, любовь к самой жизни.

На выставке «Абстрактное искусство Одессы» Музей современного искусства показал три из новых картин Олега Волошинова. Вечный поиск продолжается. Удивительно скупыми средствами художник заставляет нас не искать подсказки в сюжете или в изысканной, пусть будет и абстрактной форме, а только вчувствоваться в цвет. И эмоционально откликнуться на этот поток цвета и света.

Моя ли только это субъективная реакция? Нет. Вот как недавно для альманаха «Смутная алчба» Олег Волошинов рассказывал о своей работе:

«Мне кажется, что в основе идеи картины, плоскости, лежит цвет. Вот какой ты цвет заложил... Человек стоит перед этим цветом, и этот цвет на него уже психологически влияет. Он сам как-то еще не сообразит, а уже ощущает. Там нет никакого изображения. Мы призывали, когда висит картина, человек начинает сразу носом искать, где же там чего-то там за предмет, за сюжет или за что-то там. А мне просто так: исключить это – и пусть человек смотрит на этот цвет, в него проникает. Ну, тот, кто дает этот цвет, это передатчик, а кто воспринимает – приемник, ну, у него тоже должны там какие-то шаррики работать, душа какая-то... Он спокоен должен быть... Ну, вот такая идея, если так, примитивно... Но тут можно потерпеть поражение. Но я так подумал: я уже столько написал, в конце концов, я, по программе, уже должен сматывать удочки? Но у меня не воплощенных несколько идей есть, которые, если я для себя это не сделаю, мне уходить туда рановато. И это не дает мне покоя. Какую-то веру в меня вселяет. Я этим занимаюсь, психую. Это жизнь».

Да, такова жизнь настоящего художника.

После сообщения о смерти Олега Волошинова Музей современного искусства Одессы провел поминальную экспресс-выставку из своего собрания. Но завершатся ковидные локдауны, и уверен, что мы увидим большую выставку работ мастера: его любили, собирали одесские коллекционеры, как же не показать эти картины из собраний Семена Верника, Евгения Деменка, Феликса Кохрихта, Анатолия Дымчука и многих других одесситам?

Инна Голубович

«Из всех крошек самые главные...»

Одесские страницы жизни и творчества Владимира Пяста
в эго-документах

«Таточке и Наточке. В. П. – Радости мои,
детки мои славные!

Из всех крошек самые главные. В. П.»

Дарственная надпись Владимира Пяста приемным дочерям
Татьяне и Наталье Стояновым на книге М. Сервантеса «Нумансия»
Пер. с исп. В.А. Пяст. – М., 1940.

«В 1823 году в Одессу в ссылку прибыл Александр Пушкин. В 1933 году в Одессу в ссылку прибыл Владимир Пяст. И те, и наши времена были еще «вегетерианскими», говоря словами Анны Ахматовой, которая любила Пушкина, и которую высоко ценил Владимир Пяст, власти еще позволяли себе ссылать поэтов на Юг, к Черному морю» (Голубовский, 2003). Так емко, соединяя нити Золотого и Серебряного веков русской литературы, высказался об одесском периоде жизни Владимира Пяста известный одесский журналист, литературовед, культуролог, вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский. Мы приводим цитату из предисловия к подготовленному им сборнику стихов Владимира Пяста «Предчувствие ограды» (Пяст, 2000), который стал частью серии иллюстрированных сборников стихов поэтов начала XX века, связанных с Одессой, – забытых, исчезнувших и в конце XX – начале XXI века возвращенных читателю (Ю. Олеша, А. Фиолетов, В. Инбер, Н. Крандиевская-Толстая, альманах «Ковчег» (1920, Феодосия) со стихами одесских поэтов). Название «Предчувствие ограды» отсылало к первому поэтическому сборнику самого

Владимира Пяста «Ограда» (Пяст, 1909). Е.М. Голубовский назвал такое переиздание своим нравственным долгом, долгом не только общекультурным, но и в значительной степени личным. «Была тут и личная причина. Много лет я знаю Наталью Филипповну Полторацкую. В 1953 году она учила меня, студента политехнического института, английскому языку. Потом, познакомившись с ее мужем Николаем Алексеевичем Полторацким, я вошел в их дом, в круг их друзей. И тогда узнал, что, приехав в 1933 году в Одессу, Владимир Пяст женился на свояченице профессора Аркадия Ивановича Скроцкого – Клавдии Ивановне Стояновой, став приемным отцом и Наталье Филипповне, и ее сестре Татьяне Филипповне. Основываясь на материалах семейного архива Полторацких, я писал об одесской жизни в местных газетах «Комсомольська іскра» и «Вечерняя Одесса», впервые в советское время опубликовал портрет поэта работы Юрия Анненкова... Но время печатать стихи поэта пришло только сейчас» (Голубовский, 2003).

В данной публикации предлагается продолжить начатый в Одессе же около двадцати лет назад разговор о годах, проведенных Владимиром Пястом в «южной ссылке», и сосредоточить внимание на одесском комплексе архивного наследия поэта, переводчика, мемуариста, незаурядного и пока еще недостаточно оцененного представителя Серебряного века. А главными героинями нашей исследовательской разведки станут приемные дочери Владимира Алексеевича – Татьяна Филипповна Стоянова-Фоогд (1922-2010) и Наталья Филипповна Стоянова-Полторацкая (1925-2000), те «самые главные крошки», чьими подвижническими усилиями и благодарной памятью сохранены и введены в научный оборот многие произведения и документы жизни В.А. Пяста. Безусловно, подвигу любви, страстной энергии и этической ответственности памяти они учились у своей матери – последней жены поэта Клавдии Ивановны Морозовой-Стояновой (1890-1973), чей образ является незримо доминирующим в этой работе. Данной публикации не было бы, если б несколько лет назад ко мне не пришла дочь Натальи Филипповны, сотрудница Одесского литературного музея Анна Николаевна Полторацкая (1951-2013) вместе со своим мужем Анатолием Николаевичем Катчуком с предложением сотрудничества в работе над обширным семейным архивом. Мои

скромные изыскания посвящая светлой памяти Анны Николаевны. Также выражаю глубочайшую благодарность внучкам героинь данной публикации Алене Овсянниковой-Фоогд (Амстердам) и Екатерине Мальцевой (Одесса) за моральную поддержку, за разрешение публично представлять материалы семейного архива и за помощь в уточнении значимой информации.

О Владимире Алексеевиче Пясте (Пестовском) (19.6.(1.7)1886-19.11.1940) на сегодняшний день существует уже довольно значительный, однако весьма недостаточный корпус исследовательской литературы, преимущественно в виде статей, часто энциклопедического, справочного характера. Профессор Еврейского университета в Иерусалиме Роман Тименчик подготовил к повторной публикации в серии «Россия в мемуарах» знаменитые пястовские «Встречи» (Пяст, 1929) – воспоминания о литературном быте эпохи символизма и акмеизма, статьи о Белом, Блоке, Брюсове, Вяч. Иванове, написал вступительное слово, представил обширный комментарий, вовлекающий в научный оборот ряд ранее не опубликованных мемуарных и эпистолярных источников (Пяст, 1997). Именно он откликнулся глубокой и весьма критичной статьей-комментарием-рецензией «Заметки комментатора. Казус Пестовского» (Тименчик, 2017) на недавнюю пилотную публикацию ранее не изданных поэм, хранящихся в одесском архиве поэта (Пяст, 2016), осуществленную, прежде всего, усилиями А.Н. Катчука и Юрия Фоогд-Стоянова. Р. Тименчик указывает на то, что в 1997 году в Амстердаме он познакомился с частью архива Пяста, привезенного из Одессы и хранившегося у Татьяны Филипповны Фоогд-Стояновой (Тименчик, 2017, 293). Мы бы хотели хотя бы в первом приближении представить одесский архив в целостном виде на фоне истории «южной ссылки» поэта, истории, которая существенно дополняет и в ряде случаев кардинально меняет сложившиеся представления об одном из ярких представителей Серебряного века, внесшем, к слову, свой вклад в закрепление этой «металлургической» метафоры.

Как чаще всего дается интродукция-представление Владимира Алексеевича Пяста? «Мои действительные друзья – Женя Иванов, А.В. Гиппиус, Пяст, Зоргенфрей» (из записной книжки А. Блока, 28 июня 1916 г. Цит. по: Фоогд-Стоянова, 2004, 37).

Поэт-дилетант, лингвист-любитель, постоянно одержимый какой-то идеей, странная фигура в вечных клетчатых штанах (Г. Иванов «Петербургские зимы», 1928 (Иванов, 1952)). Поэт, переводчик, мемуарист, автор «Встреч», потомок (по семейной легенде) польского королевского рода Пястов, «Рыцарь-Несчастье», «вечный неудачник», «старомодный эксцентрик в клетчатых панталонах», «безумный» Пяст, стихоман, адепт «мистического эстетизма», «поэт огромных, внемерных потенций», «звезда второстепенной величины», «нищий трагический чудак» (Тименчик, 1997). Сам Пяст в «Автобиографии» отмечает: «К символистам я не принадлежу, а я без направления модернист, считающий себя импрессионистом, а следовательно, реалистом» (Фоогд-Стоянова, 1962, 696). В письме к Сталину он охарактеризовал себя так: «поэт, декламатор, переводчик (поэзии – с испанского, французского, немецкого, шведского, английского – которыми, в разных степенях, владею)» (Пяст, 2016 (1), 466). И, наконец, аннотация к «двойному» изданию, где представлены под одной обложкой воспоминания Татьяны Фоогд-Стояновой о Владимире Пясте и одесские эго-документы поэта, его девятнадцать писем, прежде всего к «милой Таточке»: «...поэт-символист, ближайший друг Александра Блока, переводчик Франсуа Рабле и Тирсо де Молины, Сервантеса, Лопе де Вега и др. Исследователь русского стихосложения («Современное стиховедение», Изд-во писателей в Ленинграде, 1928 год), декламатор, мемуарист. Отчим Т.Ф. Фоогд-Стояновой и Н.Ф. Полторацкой» (Фоогд-Стоянова, 2004). Последуем именно за этой интродукцией-приглашением.

До сих пор в исследовательской литературе одесский период жизни Владимира Пяста почти не освещен. О нем не упоминает Р. Тименчик в своем вступительном слове к републикации «Встреч». Е. Обатнина ограничивается краткой справкой: в 1933 сослан в Одессу, здесь он женился на К.И. Стояновой. В 1936 году вернулся в Москву» (Обатнина, 2005). На самом деле «одесским» можно считать весь последний период жизни Пяста до его смерти в 1940 году в Москве, поскольку с ним все это время была его третья жена, одесситка Клавдия (Клотильда, как он называл ее) Стоянова и две ее дочери Татьяна и Наталья, ставшие для поэта родными, о ком он думал и заботился до последних дней, будучи

уже тяжело больным. Т.Ф. Стоянова-Фоогд подтверждает в своих воспоминаниях тот факт, что с Одессой поэт не порывал до самого конца: «В конце 1936 года Пяст получил возможность жить в Москве и приезжал в Одессу на короткие сроки. Мама же месяцами бывала в Москве. Там они ютились, снимая комнаты, то на Солянке, то на Мясницкой. Последний год они снимали полдомика у какого-то железнодорожника в Голицине. Там незадолго до кончины Пяста был оформлен их брак» (Фоогд-Стоянова, 2002, 114).

Обращаясь ко времени, проведенному в Южной Пальмире, мы приведем краткую его характеристику, данную Е.М. Голубовским: «Итак, жил в Одессе в середине тридцатых годов удивительный человек, «безумный Пяст», как говорил он сам о себе. Литература из Одессы «уехала», а он был последним мостиком, последним осколком Серебряного века, который ОГПУ подарило Одессе. Здесь он переводил пьесы, готовил «голосовую партитуру» для спектакля Мейерхольда «Борис Годунов». Всеволод Мейерхольд и вытащил в 1936 году Пяста в Москву. А в 1940 году Владимир Пяст умер от рака легких и горла – мистически предопределенная смерть для блестящего чтеца и поэта. Кстати, за рубежом сообщения о его смерти и некрологи появились много раньше: друзья считали, что он покончил с собой в сталинском ГУЛАГе» (Голубовский, 2003).

Однако больше всего об одесском периоде и последних годах жизни своего отчима написала Татьяна Фоогд-Стоянова (25.12.1922-29.06.2010). Прежде чем дать ей слово, представим краткую биографическую справку: родилась в Одессе в 1922 году. С 1933 года в жизнь ее семьи вошел В.А. Пяст. Он познакомился с Клавдией Ивановной Стояновой в доме Александра Михайловича де-Рибаса, в 1922-1924 годах директора Одесской городской публичной библиотеки, внучатого племянника одного из основателей Одессы адмирала Хозе де-Рибаса (русифицированное – Иосиф Дерибас). Женат А. де-Рибас был на Анне Николаевне Цакни, первой жене Бунина. «У них был салон, там по субботам собирались художники, ученые и литераторы, люди, «чувствующие искусство», вроде мамы» (Фоогд-Стоянова, 2002, 114).

К. Стоянова и ее дочери были с Пястом до конца его жизни. И лишь потом старшая приемная дочь стала по-настоящему

осознавать масштаб личности отчима. С 1944 года Т.Ф. Фоогд-Стоянова живет в Голландии, профессионально занимается славистикой, до выхода на пенсию в 1987 – преподаватель, старший научный сотрудник Амстердамского университета. Вместе с мужем – славистом и священником Алексеем (Алавейном) Фоогдом создали Свято-Никольский православный приход в Амстердаме, процветающий до сих пор. Состояла в тесном духовном общении с владыкой Антонием Сурожским, рукоположившим в священники А. Фоогда. Многолетняя дружба и интенсивная переписка связывала Т. Фоогд-Стоянову с одним из самых выдающихся европейских славистов, переводчиков, страстным популяризатором русской культуры в Италии – Этторе (Гектор Доминикович) Ло Гатто, профессором Римского университета. Она – автор статей о Владимире Пясте, Святославе Рихтере, Марии Юдиной, Николае Полторацком, Алексее Фоогде. Линия Пяста стала главной в научных и мемуарных публикациях Татьяны Филипповны. В своих воспоминаниях она приводит разные поводы, побудившие ее уже в достаточно зрелом возрасте (как минимум с 1962 года) обратиться к наследию своего выдающегося, но к тому времени полузабытому, особенно на своей родине, отчима. «Я достала с книжной полки толстую книгу «Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver» – «Сборник статей в честь Этторе Ло Гатто и Джованни Мавера», 1962 г. Издательство Сансони. Рим. В сборнике статьи корифеев международной славистики. Почти в конце (благо что имена авторов идут по алфавиту), на 693 странице публикация Т. Фоогд-Стояновой «Восемнадцать писем Пяста». Отказаться от участия в сборнике, не огорчив юбиляров, было нельзя – мы были знакомы с ними почти десять лет... Я мучилась этим до тех пор, пока наш добрый друг Карел ванн хетт Реве, не менее искушенный в славистике профессор Лейденского университета, не убедил меня опубликовать письма Пяста ко мне, написанные между 1938 и 1940 годами. Так они были напечатаны в Риме...» (Фоогд-Стоянова, 2004, 7)*.

* Публикация эго-документов Владимира Пяста была для Т.Ф. Фоогд-Стояновой инициирована Э. Ло Гатто. И так случилось, что именно в поисках эго-документов самой Татьяны Филипповны – ее писем к выдающемуся ученому в его личном архиве, хранящемся в Национальной библиотеке Италии в Риме,

«Мой долг по отношению к Пясту и в связи с ним к моей маме, его жене Клавдии Ивановне Стояновой, – опровергнуть прочно вошедшую в историю литературы и зафиксированную в «Литературной энциклопедии» легенду о том, что Пяст покончил с собой. А кроме того – исправить неточность Н.Я. Мандельштам. Дело в том, что я познакомилась с Надеждой Яковлевной уже после выхода в свет ее «Воспоминаний» и объяснила ей, что с мамой моей она никогда не встречалась, а спутала ее со второй женой Пяста Н.С. Омелянович, которой в «Воспоминаниях» не поздоровилось» (Мандельштам, 1982; Фоогд-Стоянова, 2002, 112).**

Однако эти версии – от публикации по случаю юбилея до осознания нравственной миссии, соединяются воедино в личной внутренней автоисповедальной стратегии коммеморации по отношению к своему герою, которую выстраивает Т.Ф. Фоогд-Стоянова. При этом единая «линия Пяста» превращается для нее в две взаимопересекающиеся (не «расходящиеся»!) тропки – ее собственные эго-документы: воспоминания (наброски воспоминаний, как она сама пишет), мемуары, а также забота об архиве отчима – публикация писем, прежде всего, обращенных к ней, передача части одесских документов в архив Музея-квартиры Андрея Белого.

В центре нашего внимания в данной публикации – история пястовского архива, драматические фрагменты которой отчасти представлены в многочисленных публикациях, осуществленных Т.Ф. Фоогд-Стояновой. После смерти В.А. Пяста в г. Голицино Звенигородского района Московской области 21 ноября 1940 года

дочь Татьяны Филипповны Алена Фоогд-Овсянникова нашла в описи архива указание на наличие письма (или писем) Владимира Пяста. Правда, пока самих эпистолярий обнаружить не удалось, поскольку наследники личной коллекции Этторе Ло Гатто передали римской библиотеке далеко не все документы. Однако вполне возможно, что будущих исследователей еще ждут открытия, в том числе связанные с Владимиром Пястом. Предполагаем также, что в архиве знаменитого европейского слависта бережно сохранялись копии тех самых писем, которые опубликовала Т.Ф. Фоогд-Стоянова.

** Как подчеркивает Р. Тименчик, падчерица Пяста Т.Ф. Фоогд-Стоянова всю жизнь боролась с версией, что ее отчим «покончил с собой» (Тименчик, 1997, 292). И действительно, эта версия (Чертков, 1971) исчезает из справочных изданий (см., например, соответствующие изменения в статьях Е. Обатниной разных лет).

главной наследницей его стала К.И. Стоянова. Архив В. Пяста его вдова привезла в Одессу. О том, что он содержал, рассказала в своих публикациях Татьяна Фоогд-Стоянова: поэма «По тропе Тангейзера. Поэма в отрывках», часть «Поэмы о городах», две обширные автобиографии, стенограммы докладов Пяста в ГОСТИМе по постановке «Годунова» и занятий по чтению трагедии «под руководством тов. Мейерхольда и проф. Пяста», переводы «Отелло» Шекспира и поэмы Стриндберга «Летняя ночь», письма. Конечно, в воспоминаниях было упомянуто не все, что хранилось в Одессе.

Значительный корпус материалов из личного архива В. Пяста был передан его приемными дочерьми в дар музею Андрея Белого в Москве (Государственный музей А.С. Пушкина, отдел «Мемориальная квартира Андрея Белого»). Среди этих документов – автографы и авторизованные машинописные копии поэтических произведений В. Пяста (фрагменты поэм «О трех городах», «Поэмы о городах», «По тропе Тангейзера», «Поэмы в тонах», поэмы из «Утренников»); переводов Стриндберга «Летняя ночь», Шекспира «Отелло»; тезисов по практике декламационных навыков в театральном искусстве, стенограмм доклада Пяста в Гостеатре им. Мейерхольда по постановке «Бориса Годунова» и занятий по чтению «Бориса Годунова», проведенных Пястом и Мейерхольдом (апрель 1936 г.); маленькая книжечка стихотворений Пяста, переложенных для голоса в сопровождении фортепиано.

Наследницы постарались сделать все возможное, чтобы одесские архивы В.А. Пяста стали доступны исследователям. Теперь дело за теми, кто возьмет на себя нелегкий и кропотливый труд освоения «исследовательского ландшафта» пястоведения.

Владимир Пяст в своих обращениях в Наркомвнудел так описывает свое пребывание в Южной Пальмире: «Работоспособность моя в Одессе, несмотря на трудные материальные условия и моральные удары вроде полученных мною в названных учреждениях, и несмотря на малое количество лет, протекших с моих заболеваний в 1930 г. (в Москве и Бутырках и рецидив в Вологде) (имеются в виду обострения психического заболевания), о тяжести и характере которых Наркомвнуделу, думаю, в деталях известно, – творческие силы мои и работоспособность в Одессе в 1934-35 гг. никак не находились в упадке. В этом городе я мог пользоваться

богатой библиотекой, получать доброкачественную эстетическую пищу, посещая театры, музеи и художественные выставки и слушая порой первоклассных артистов-гастролеров, а также мог несколько поправить нервную систему и бороться с ревматическими и прочими «болячками» надорванного организма, пользуясь разнородным купанием – лиманами, морем, солнцем» (Заявления, 1935, 3). Основываясь и на своих личных воспоминаниях, и, возможно, на этом документе, Т.Ф. Фоогд-Стоянова утверждает, что последний период жизни Владимира Пяста, начиная с 1933 года, духовно и душевно был гораздо более уравновешенный и спокойный, чем период между началом Первой мировой войны и ссылкой. Болезнь перестала его терзать, он всегда был в форме, отличался огромной и многогранной работоспособностью (Фоогд-Стоянова, 2004, 45-47).

Как мы уже указывали, старшая падчерица Татьяна (Тата) Стоянова (Т.Ф. Фоогд-Стоянова) не только активно способствовала сохранению архивного наследия отчима, но и сама опубликовала его часть – восемнадцать, а затем девятнадцать писем уже тяжело больного В.А. Пяста периода 1938-1940 года. 16 писем адресованы ей, одно – сестре Наталье Стояновой, и еще одно – Марии Вениаминовне Юдиной (Фоогд-Стоянова, 1962, 2004).

Мы в силу ограниченности объема публикации сосредоточим внимание на одном фрагменте автобиографического осмысления феномена Пяста самой Т. Ф., фрагменте, который может показаться незначительным, но, как нам представляется, выводящим на метафизику и глубинную онтологию не только самого поэта, но и всей плеяды представителей Серебряного века. Я намеренно привожу два варианта, чтобы показать, как трансформировалось, переинтерпретировалось, рефигурировалось исходное переживание, удаляясь от феноменологически-экзистенциального полюса к полюсу онтологии и метафизики культуры Серебряного века. «Мне было 13 лет, когда в 1935 г. я в первый раз увидела у нас Владимира Алексеевича Пяста. Теперь, когда я думаю о наших первых встречах, мне кажется – я боялась его, и он мне был неприятен. Я думаю, это случилось оттого, что он часто смотрел перед собой, куда-то вдаль. И даже если он смотрел на меня, мне казалось, я стою между ним

и чем-то другим, каким-то предметом, на который он смотрит, и смотрит сквозь меня. Я ему нисколько не мешаю. Он даже разговаривает со мной, но мне кажется, это не он говорит, а кто-то другой за него. А сам он где-то далеко: там, где останавливается его взгляд. Всегда хотелось повернуться и посмотреть назад, в надежде, что увижу там что-нибудь. Но оборачиваться было неловко – боялась его обидеть» (Фоогд-Стойнова Т.Ф. о В.А. Пясте (Без названия). Автограф и Машинописная копия // Личный архив семьи Стояновых-Полторацких). И второй вариант – уже из опубликованных воспоминаний: «Думая о моих первых встречах с Владимиром Алексеевичем, я тягочусь чувством вины перед ним. Я боялась его, боялась его взгляда. Казалось, он видит что-то за моей спиной. Впечатление это было настолько сильное, что неудержимо хотелось повернуться, чтобы увидеть, на что он смотрит. Теперь я знаю: он, безусловно, ощущал двойника, как многие из его поколения, и даже прямо об этом сказал: «Но тупо мой двойник глядел» (Фоогд-Стойнова, 2003, 114).

Сам комплекс опубликованных Т.Ф. Фоогд-Стойновой писем открывает нам другую грань личности В. Пяста – заботливого, любящего, настоящего воспитателя, возделывающего душу своих питомцев. Итак, одно из восемнадцати писем адресовано Марии Вениаминовне Юдиной, от 28 августа 1940 г., за два месяца до смерти (Фоогд-Стойнова, 2004, 98-99). Однако оно тоже касается старшей падчерицы: «Мне родная, милая девушка, одесситка Татяна Стоянова, попала ученицей к Вашей «почти ученице» – Финкельман (Костырке)*. Последнее обстоятельство, вероятно, будет причиной того, что милая Таточка, как я называю ее (в 1935 в Одессе было ей едва 13 лет), приобретет многое, что не лежит поперек Ваших концепций. Примите потом, прошу Вас, Мария Вениаминовна. Таню к себе. А пока... до свидания, всегда Ваш, В. П.» (Фоогд-Стойнова, 2004, 98).

А в письме к 16-летней Таточке от 28 августа 1938 года, мягко предлагая ей целую стратегию музыкального образования – сначала учиться в Одесской консерватории, в «знаменитом на весь

* Финкельман-Костырко Раиса Марковна - преподаватель Одесской консерватории.

мир своей музыкальностью городе», а потом усовершенствоваться у какой-нибудь знаменитости в Москве (Нейгауз, Зак, Флиер, Юдина), он предлагает конкретный жизненный пример, пример Марии Вениаминовны Юдиной. «Одна из известных пианисток – человек, занимающийся философией, – и это налагает на ее игру особый отпечаток, дающий всем понимающим слушателям особое наслаждение. Так что развивайте себя как можно больше, но не забывайте ежедневного, многочасового труда по специальности – которая, думаю, у Вас уже есть, – что и есть большое счастье. Все остальное к этому счастью, как говорится, приложится» (Фоогд-Стойнова, 2004, 68). Судьба распорядилась так, что у Татьяны Филипповны Фоогд-Стойновой действительно были очень глубокие отношения с великой пианисткой и религиозной подвижницей. Она оставила изумительные воспоминания о ней, где отметила, что, внимая совету Юдиной, семья Фоогд-Стойновых познакомилась с Антониом Сурожским, встреча с которым кардинально изменила траекторию истории всей семьи (Фоогд-Стойнова, 2003, 133-149).

И еще одно письмо, которое не было опубликовано в Риме, адресовано другой приемной дочери – Наталье (Наточке), полное любви и заботы, также написанное за два месяца до ухода из жизни. Он благодарит младшую приемную дочь за то, что та без паспорта и билета добилась заказа в Ленинской библиотеке в Москве. Пятнадцатилетняя Ната оказала неоценимую (и незаметную для посторонних) помощь: для тяжелобольного отчима она переписывала в библиотеке большие фрагменты текстов на незнакомых ей тогда французском, испанском языках, для того чтобы Владимир Алексеевич мог до конца своих дней трудиться над задуманными и переводами. И зная о своем скором уходе, поэт напутствует Наточку: «Вы – такая милая девочка, что я вполне полагаюсь на свое убеждение в том, что из Вас выйдет настоящий ученый, и Вы оставите вклад в науку и в этот бездонный колодец человеческих знаний, одно из отверстий которой – Ленинская библиотека. Но что еще лучше, в Вас будет всю жизнь живо сердце чистое и любящее. Я уверен, что Вы завтра добьетесь свидания: не имеют права не пропустить приезжую к тяжело больному близкому родственнику, тем более что Вы нарочно приехали,

чтобы со мной видеться и мне помогать. И немалую мне оказали помощь, как взрослый человек. Люблю я Вас бесконечно» (Фоогд-Стоянова, 2003, 100). Все, кто так или иначе встречался и общался с Натальей Филипповной Стояновой-Полторацкой за всю ее долгую и полную треволнений жизнь, согласились бы, что лучше и глубже о ней не сказал никто: «В Вас будет всю жизнь живо сердце чистое и любящее». Именно такой она и была.

К архивному комплексу, связанному с Н.Ф. Стояновой, мы еще вернемся.

Обратимся теперь к младшей из «крошек» – Наталье Филипповне Стояновой (9.06.1925-29.10.2000). Она не оставила письменных свидетельств ни о себе, ни о Владимире Пясте, но без ее безмолвного подвижничества сохранение памяти об отчине, сбережение архива и публикация хранящихся в одесской коллекции поэтических произведений не были бы возможны. Жизнь Натальи Филипповны была тесно связана с Одессой, которую она никогда надолго не покидала, выезжая уже после падения железного занавеса только в Амстердам к сестре или в Париж, с которым была связана первая половина жизни ее мужа – Николая Алексеевича Полторацкого, незаурядного человека, ставшего центром притяжения лучших духовных и интеллектуальных сил Одессы в 1960-1990-е годы.

Основные вехи жизни Н.Ф. Полторацкой. О начале ее взрослой жизни во время оккупации Одессы документальных свидетельств не сохранилось. Судя по рассказам самой Натальи Филипповны, в 1942 году во время оккупации она вместе с сестрой Татьяной поступила на факультет романо-германской филологии в Одесский университет. Перед освобождением Одессы от нацистов преподаватель итальянского языка в университете – консул Италии в Одессе – предложил лучшим студентам эмигрировать с ним на Запад. Наталья Филипповна категорически отказалась, так как считала, что жить нужно на Родине (Золотарева, 2019). В 1949 году она окончила трехгодичные курсы по отделению английского языка как переводчик-референт, затем в 1957 году – Одесский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности преподавателя английского языка. С 1946 года работала на кафедре иностранных языков Одесского

политехнического института. В 1959 году уволена из института как не прошедшая по конкурсу. С 1960 года работает в знаменитом Одесском институте глазных болезней имени В. Филатова как преподаватель иностранных языков с почасовой оплатой и как младший научный сотрудник временно. В 1981 году вышла на пенсию. В этом сухом перечне фактов обращает внимание увольнение (не прошла по конкурсу) и отсутствие постоянного места работы. Действительно, из-за своей неблагонадежности с формулировкой «потенциально идеологически невыдержанный элемент» Наталья Филипповна была уволена из института и потом перебивалась лишь временными заработками и переводами. Она стала неблагонадежной не только из-за сестры, живущей в Голландии, но главным образом из-за мужа, встреча с которым стала главным событием ее жизни.

Николай Алексеевич Полторацкий (1909-1991) – один из интереснейших представителей Парижского православного богословия, член и позднее председатель созданного в Париже Братства Святителя Фотия, нацеленного на возрождение православия на Западе, секретарь Религиозно-философской академии Н.А. Бердяева, ответственный секретарь Благочиннического Совета Русской православной церкви во Франции под юрисдикцией Московского Патриархата, член Дурданской группы Сопротивления во время Второй мировой войны. Друг и собеседник В. Лосского, Е. Ковалевского, Л.А. Успенского, м. Марии (Скобцевой), Ю. Скобцева, М. Цветаевой, С. Эфрона, Г. Флоровского и многих других выдающихся деятелей российской эмиграции. В 1948 году вернулся в СССР по приглашению Московской Патриархии. Вместо Москвы оказался в «южной ссылке» в Одессе, стал преподавателем Одесской духовной семинарии (постоянно изгоняемой по указке властей), переводчиком в отделе внешних церковных сношений РПЦ.

Они поженились в 1950-м и прожили вместе сорок один год, разделяя судьбу неблагонадежных и «чуждых» в родной стране. Поселилась молодая семья на улице Нежинской, где до революции семье Стояновых принадлежала большая квартира на втором этаже. При советской власти осталась лишь комната в коммуналке. Вспоминает Валентина Голубовская, литератор,

преподаватель истории искусств: вместе со своим мужем Евгением Голубовским, поэтом и психологом Борисом Херсонским и многими другими проходили в этой комнате «школу» свободы и достоинства, погружения в тот неведомый советским молодым людям мир, который казался утраченным навсегда. «О, эта комната в коммунальной квартире, разделенная книжными (до высокого потолка!) шкафами со старинной мебелью, с картинами на стене, с «барыней», как называли настольную лампу, основанием которой была фигура фарфоровой дамы, с висящими на зеркале трюмо бусами, ожерельями, лежащими на столике перед зеркалом браслетами, которые так любила и так умела, как никто другой, носить Наталья Филипповна... эта комната была полна людей, любящих этот дом, его обитателей, и всегда находивших здесь сердечное тепло, интеллектуальную утонченность – словом, ту интеллигентную среду обитания, которая даже в те уже далекие года встречалась среди советского житейского моря не часто» (Голубовская, 2004, 171).

Это та квартира, где бережно хранился архив В.А. Пяста, – и в недрах книжных шкафов, и в старинном деревянном чемодане и даже на кухонных полках, где бесценные и опасные бумаги хранились за непроходимыми рядами пустых стеклянных банок, ставших надежной охраной от возможного внимания непрошенных гостей. Такова, видно, судьба архивов Пяста – спастись среди кухонного скарба еще со времен «базарных корзинок» Мандельштамов. В разделе «Базарные корзинки» своих «Воспоминаний» Надежда Яковлевна вспоминает о том, как они с Осипом Эмилевичем вынесли, зная о грядущем обыске, в базарных корзинах единственный «перебеленный» экземпляр двух поэм Пяста, оставленный им на хранении в семье, как ему казалось, с устойчивым и налаженным бытом (Мандельштам, 1982). Эта история «банок» и «корзин» достойна пера самого Владимира Пяста, о котором Р. Тименчик написал: «Владимир Пестовский-Пяст был поэт, действительно понимающий души вещей, как человек эпохи Метерлинка, и умеющий вещь вписать в мифологему» (Тименчик, 2017, 295). Это та квартира, где произошла символическая встреча Серебряного века российской литературы с Серебряным веком российской философии и богословия, восприемни-

ком которого был Н.А. Полторацкий. Н.Ф. Полторацкая незадолго до своего ухода обмолвилась родным: после меня вы найдете среди бумаг кое-что интересное. Итак, что же так бережно, вдали от чужих глаз и даже от своих самых близких хранилось в открытом доме Полторацких? Это более десятка папок разного объема с рукописными и машинописными фрагментами (разрозненными «отрывками», как называл их сам автор) поэм: «По тропе Тангейзера» и «Поэма о городах». Это тексты (рукописи и авторизованная машинопись) пястовских переводов: А. Стриндберг «Летняя ночь (Канун Троицы)», Лопе де Вега «Валенсианские безумцы» (или «Таковы в Валенсье сумасшедшие»), «Собака садовника» (более известное название «Собака на сене»); М. Сервантес, «Нумансия», это несколько тетрадок, исписанных авторской рукой, письма Пяста и несколько неатрибутированных писем его корреспондентов, его заметки о шахматных турнирах, публиковавшихся в периодической печати, заявка на киносценарий «Город Солнца»*. Рукописные документы самого Пяста почти нечитабельны, он писал летящим и прыгающим почерком, часто карандашом. Как нам известно, именно Наталья Филипповна перепечатывала тексты отчима на печатной машинке, научившись расшифровывать закрытые для чтения письма и сохранив, таким образом, их для потомков и будущих публикаторов.

Среди карандашных писем на пожелтевшей бумаге, для расшифровки которых нужен дар Натальи Полторацкой, есть очень теплое письмо отчима к ней (4.09.1938 г.) с вопросами о Натинной марочной коллекции и пожеланиями почаще бывать на море в Аркадии, а также с сообщением о том, что начал писать «книжку прозой о поэзии, так что скучаю только по вечерам, так как здесь ложатся спать большинство с курами, а я так не умею» (Личный архив Фоогд-Стояновых-Полторацких). В Москве у Пяста не было своего угла, он часто подолгу жил у друзей и знакомых. В семейном архиве хранятся два письма наших главных героинь, адресованные Пясту в Москву, которые являются живым свидетельством о нем.

* В пилотном издании «Поэмы» (Пяст, 2016) изданы по материалам семейного архива поэмы «По тропе Тангейзера», «Поэма о городах», а также перевод со шведского поэмы А. Стриндберга «Летняя ночь (Канун Троицы)».

Письмо Татьяны (не датировано):

«Здравствуйте, дорогой Владимир Алексеевич. Как давно мне хотелось написать Вам, но глупое чувство неуместной гордости всегда останавливало меня на первой строчке. Так обидно, что вместе с Наточкиным письмом Вы никогда не прислали мне весточку. Отчасти я не писала вам потому, что не было особенного ничего хорошего и интересного. Успехов блестящих в школе и в своей домашней работе я не делаю; все идет по-нормальному, тихо и спокойно. В чем действительно я переменялась, так это в музыке. Не знаю даже, как назвать то чувство, которое уже в продолжении целого промежутка времени не позволяет мне отойти от пианино. Бывают дни, даже очень часто, что я играю по шесть часов в день. Учительница очень довольна мной и даже думает отдать меня в консерваторию Столярского, если я буду продолжать так дальше. Через некоторое время напишу более последовательно и детально. Таня».

Открытка Наташи (датирована: 17.01.1940): «Милый Вл. Ал. Целую Вас все крепко, очень грустим, что так далеки от Вас. Мама поправляется после тяжелой болезни, и мы отправляем ее в конце января к Вам. После больших трудов сегодня, наконец, узнали Ваш точный адрес. Очень хочется и нам Вас повидать. Не падайте духом, надеемся увидеться. Шлем привет из любимой Одессы от многих одесситов. Живем воспоминаниями о Вас. Ваша Наташа» (Личный архив Стояновых-Полторацких).

В архиве хранится письмо на обороте телеграммы, посланное Клавдией Стояновой из Москвы в Одессу в 1940: «Очень прошу Таня сохранить аккуратно письмо-поэму твоего преданного любящего тебя по-настоящему друга-человека! Пиши ему часто, он просит и ждет, пиши чернилами обязательно. Вряд ли ты увидишь его (нзб) здоровье его ухудшается. Пиши, милая, умоляю. Вл. Ал. хотел тебя увидеть хоть на 1 час. Большое большое спасибо за память. Очень тяжело» (Личный архив Фоогд-Стояновых-Полторацких).

Действительно, Татьяне больше не довелось увидеть отчима, она приехала в Москву ровно в день смерти Владимира Алексеевича, не успев попрощаться с ним.

Вернемся к взрослой Нате, ставшей женой опального «одесского парижанина». Наталья и Николай Полторацкие очень много занимались переводами, часто составлявшими единственный их заработок. И так же, как Пясту, им часто доводилось переводить «в стол», без всякой надежды на публикацию в обозримом будущем. Произошло символическое повторение профессиональной судьбы Владимира Пяста.

«Когда-то голландский русист Кейс Верхейл привел Иосифа Бродского в Амстердаме в гости к падчерице бедного поэта, и земляк его по дому Мурузи огласил ей свой экспромт:

How do you do Mr. Pyast!
I'm your future, you are my past.

(Тименчик, 2017, 301)

Мы попытались показать, что для «самых главных крошек» Владимир Пяст стал отнюдь не *past*, но *future*, тем смысловым горизонтом, в котором феномен Пяста, подлинный масштаб личности «Рыцаря-Несчастья» все больше открывался в будущем, во взрослой жизни каждой из них, так до конца и не открывшись ни им, ни нам.

Библиография

Голубовская В.С. Любовь к родному пепелищу // Голубовская В.С. На краю родной Гипербореи. – Одесса: «Печатный дом», 2004, с. 169-179.

Голубовский Е. «Бессмертье бросим и ему» // Новая Юность, 2003, № 5 (62).

Обатнина Е. Владимир Пяст // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь в 3-х т. / Под ред. Н.Н. Скотова. – М.: ОЛМА-Пресс Инвест, 2005. Т. 3. П-Я, с. 149-152. Режим доступа: <http://nashgazeta.ch/news/les-gens-de-chez-nous/7559>

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. Париж: УМКА-Press, 1982.

Пяст В.А. Автобиография. Машинописная копия // Личный архив Фоогд-Стояновых-Полторацких.

Пяст В. Встречи. – М.: Издательство «Федерация», 1929. – 300 с.

Пяст В. Встречи. Сост., вступ. ст., науч. подгот. текста, коммент. Р. Тименчика. – М.: Новое литературное обозрение, 1997. – 416 с.

Пяст В.А. Десять писем // Фоогд-Стоянова Т.Ф. Вспоминая Владимира Алексеевича Пяста. Владимир Пяст. Десять писем. Сост. А. Полторацкая, Е. Мальцева. – Одесса: Друк, 2004, с. 67-118.

Пяст В.А. Заявление в Наркомвнудел СССР административно высланного в город Одессу Пяста Владимира Алексеевича. 23 ноября 1935 г. Копия. Современная машинопись. 5 л. // Личный архив семьи Стояновых-Полторацких.

Пяст В.А. Ограда. 1-я кн. лирики / Портр. авт. работы Ю. Анненкова. – Берлин, Пг., М.: Изд. З.И. Гржебина, 1922. – 108 с.

Пяст В.А. Письмо И.В. Сталину, Одесса, январь 1936 г. // Пяст В.А. Поэмы / Сост. А. Катчук. – Одесса: Optimum, 2016, с. 460-466.

Пяст В.А. Поэмы / Сост. А. Катчук. – Одесса: Optimum, 2016. – 472 с.

Пяст В.А. Предчувствие ограды. Сост. и предисл. Е.М. Голубовский. – Одесса: Друк, 2000. – 96 с.

Тименчик Р. Рыцарь-Несчастье Пяст В. Встречи. Сост., вступ. ст., науч. подгот. текста, коммент. Р. Тименчика. – М.: Новое литературное обозрение, 1997, с. 5-20.

Тименчик Р. Заметки комментатора. Казус Пестовского // Литературный факт. 2017, № 4, с. 291-316.

Фоогд-Стоянова Т.Ф. В воспоминание о Владимире Алексеевиче Пясте / Петербург 1886 – Голицино 1940. 1996 г. Машинопись // Личный архив семьи Стояновых-Полторацких.

Фоогд-Стоянова Т.Ф. Восемнадцать писем В.А. Пяста // Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver. Roma. 1962.

Фоогд-Стоянова Т.Ф. Вспоминая Владимира Алексеевича Пяста. Владимир Пяст. Десять писем. Составители: А. Полторацкая, Е. Мальцева. – Одесса: Друк, 2004, – 120 с.

Фоогд-Стоянова Т.Ф. О В.А. Пясте (Без названия). Автограф. 5 с. Машинописная копия. 4 с. // Личный архив семьи Стояновых-Полторацких.

Фоогд-Стоянова Т.Ф. О Владимире Алексеевиче Пясте // Фоогд-Стоянова Т.Ф. «Что пройдет, то будет мило...» (наброски воспоминаний). – Одесса: ВМВ, 2002, с. 112-116.

Фоогд-Стоянова Т.Ф. О Владимире Алексеевиче Пясте // Пяст В.А. Поэмы / Сост. А. Катчук. – Одесса: Optimum, 2016, с. 424-439.

Фоогд-Стоянова Т.Ф. Неопубликованная статья В. Пяста о не вошедшей в печатную редакцию «Бориса Годунова» // Dutch contribution to the 5th International Congress of Slavists. Sofia. 1963. S. 155-162.

Письма и документы В.А. Пяста (1938-1940) из архивов Т.Ф. Фоогд-Стояновой. Вступительная статья, подготовка текста и публикация Т.Ф. Фоогд-Стояновой. Послесловие Т.В. Цивьян // Антропология культуры. Вып. 3. К 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. – М.: Новое издательство, 2005, с. 333-358.

Фоогд-Стоянова Т.Ф. «Что пройдет, то будет мило...» (наброски воспоминаний). – Одесса: ВМВ, 2002. – 184 с.

Фоогд-Стоянова Т.Ф. «Что пройдет, то будет мило...» Мемуары. – Одесса: Optimum, 2003. – 286 с.

Публикации

- 270 Теодор Томаш Еж (Зыгмунт Милковский)
Одесские воспоминания
Публикация Стеллы Михайловой
- 285 Моя семья, мои друзья
Публикация Андрея Добролюбского

Теодор Томаш Еж (Зыгмунт Милковский)

Одесские воспоминания

Варшава, 1893 год

Зыгмунт (Сигизмунд) Милковский (также известен под творческим псевдонимом Теодор Томаш Еж) – польский писатель-романтик, публицист, общественный деятель и политик, который боролся за независимость Польши в качестве лидера Польской лиги.

Родился 23 марта 1824 года. Учился в Ришельевском лицее г. Одессы (1843-1846) и в Киевском университете (1847-1848). Принял участие в венгерском восстании 1848 года. После восстания интернирован в Турцию, а затем эмигрировал в Англию. С 1961 года проживал в Румынии.

В 1863 году во время Польского восстания организовал отряд повстанцев, который должен был со стороны Болгарии пройти через Румынию и Бессарабию и двинуться на Подолье для объединения с другими повстанческими отрядами и продолжения освободительной борьбы.

По замыслу несостоявшейся операции, отряд Милковского должен был объединиться в Одессе с высадившимся здесь заранее отрядом Менотти Гарибальди.

Одна из последних фраз книги: «Скорее бы рука бы у меня отсохла, чем я бы в Одессу бросил камень», – объясняется, скорее всего, ответом на упреки в его адрес о причинении вреда городу.

В битве под Костангалией (Румыния) отряд потерпел поражение, был сдан румынскими войсками правительству Австро-Венгрии и заключен в тюрьму г. Лемберга (Львова).

В 1864-1866 годах жил в Белграде, в 1866-1872 годах – в Брюсселе. С 1872 поселился в Швейцарии, где прожил до конца жизни.

Еж был одним из основателей Польской лиги и Польской национальной лиги, которая возникла в рамках Национально-демократической партии. Он был редактором газеты «Wolne Polskie Słowo», выходящей

в Париже. Автор романов, переводов, историко-публицистических работ, политических буклетов, биографий деятелей польской эмиграции.

Вниманию читателей представляем впервые переведенные на русский язык «Одесские воспоминания» Зыгмунта Милковского, изданные в Варшаве в 1893 году.

Стелла Михайлова

О, да! Молодые годы – это весна, улыбающаяся очарованием, трезвонящая предсказаниями, домыслами и надеждами, представляющими будущее в виде идущего в бесконечность триумфального похода. О препятствиях не думается. Или, скорее всего, о них думается, но даже не допускается мысль, что на жизненном пути возникнет преграда, которую преодолеть или растоптать было бы невозможно. Нет такой преграды! Что может противостоять той бурлящей силе, которую ощущает в себе девятнадцатилетний юноша?

Мне было девятнадцать лет, исполнившихся в мае, когда я впервые ступил на одесскую брусчатку. Давно это было – ох! Уплывшие года промчались очень быстро – в движении и труде, а когда еще год пройдет, будет этих лет, которые сегодняшний день отделяют от того – для меня памятного, ровно пятьдесят. Да, пятьдесят. А это значит – полвека.

Мы ехали из Немирова в Балту, из Балты в Ананьев, а дальше степями и чумацким трактом. За Балтой начинался для меня край неизвестный. Попал я в места, где «воз, словно лодка, в травах тонет». Настоящая степь – широкая и играющая миражами. Что-то похожее, но не совсем то, можно было где-нибудь встретить на Украине. Украинские степи во времена, о которых я пишу, характеризовались хозяйственной деятельностью человека, которая лишила ее изначальной девственности. Тут же эта деятельность проявлялась редко и даже вызывала удивление, представляясь как нарушительница гармонии, господствующей между небесным сводом и просторами, покрытыми самородными травами. Трава выглядела засохшей. При дуновении ветра она издавала удивительный, какой-то нежный и певучий

металлический шелест. Среди нее возвышались торчащие бурьяны – одни важничали тюрбанами, другие же развевались своими хвостами. Вдоль дороги прыгали суслики, точно так же, как увиденные мною позже в море дельфины. Дальше, как будто ряды воинов, сбитыми массами занимали свое положение стаи дроф, присматриваясь к нашей повозке с явным пренебрежением и с недалекого расстояния.

Не помню, где мы делали привалы и где ночевали. Запомнились мне только ответ еврейки в Байталах, и то впечатление, которое на меня произвел Куяльницкий лиман.

Молодой и красивой еврейке, которая нам принесла какую-то еду, я задал какой-то не деликатный вопрос, на который она мне отрезала: «Не будь пан такой любопытный, а то быстро посеедешь!».

Когда я впервые увидел Куяльницкий лиман, то решил, что это море. Мои спутники вывели меня из этого заблуждения. Из любопытства я даже попробовал вкус воды. Море же представало передо мной на следующий день, как только мы тронулись в путь после ночлега, проведенного в пяти верстах от Одессы на постоялом дворе такого типа, в котором я раньше не бывал. Не представлял я себе, чтобы на земном шаре существовали еще другие, кроме еврейских, постоялые дворы, то есть не имеющие конюшни и под общей крышей с гостевыми комнатами. Везде по дороге, вплоть до Севериновки, мы въезжали в строения, как в туннель. Казалось мне, что так Бог их создал. Велико же было мое удивление, когда бричка остановилась перед отдельно стоящим домом и затем, когда мы из нее вышли, отъехала в конюшню, построенную в глубине двора, обнесенного досками.

«Другой мир...» – решил я про себя.

О, да! Другой. Главное отличие подтвердило, в первую очередь, море, которое мне сразу, после выезда с ночлега, бросилось в глаза, а затем и сам город.

Вид моря обманул мои ожидания. Я мечтал о бескрайности, об устремлении взгляда вдаль и не находящего в этой дали границы, на которой мог бы он остановиться. А между тем граница показалась уже при первом взгляде. Массу воды окружало обручальное кольцо горизонта. Солнце ярко светило, вода сверкала

скользящим отблеском. Было ее много, очень много – больше, чем в видимых мною когда-либо больших прудах. Но это обручальное кольцо фантазию мою сжало, как будто клещами, говоря: «Всегда и всё имеет границу, мой мальчик».

Граница эта мне эффект испортила.

Я чуть было не закричал, как тот крестьянин, который точно так же, как и я, впервые увидел море: «Ого, сколько воды! Не поместилась бы она в нашем ставке!».

Город мне эффект немного исправил.

До этого момента самыми большими городами, которые я видел, были Умань, Немиров, Брацлав, Балта, Винница. Они не превосходили своими размерами Тульчина. Тульчин, находящийся сегодня (как я слышал) в упадке, служил мне мерой сравнения. С Бердичевом я познакомился позже. Так же, как и с Киевом, и Житомиром. Поэтому не было тогда для меня другой меры сравнения, чем Тульчин, – побрякивающий еще эхом давнишней славы, которую ему придавало то обстоятельство, что был он столицей великого и известного пана (скорее всего, речь идет о Станиславе Щенском Потоцком. – **Примечание переводчика**) и украшали его: памятник, дворец, общественный сад и лучшие, чем в других местах, заезжие дворы. Я представлял себе, что большие города отличаются от Тульчина только лишь своими размерами. Одесса же меня совершенно потрясла. Я оказался в городе по-настоящему европейском, полном восхитительных строений, улиц, покрытых брусчаткой, с тротуарами, бульварами, памятниками, магазинами, в которых покупателей обслуживала элегантная молодежь. Такие особенности не могли не произвести впечатления. Я разглядывал все это, как позднее разглядывал различные чудеса, встречаемые на свете. Не могло быть иначе. После наших городов, после магазинов, продающих товары на аршины, я привык к образу серьезного, в «цицеле» хозяина лавки, который торговался до последнего и тараторил, как будто у него во рту мельница вертелась. Как же я мог не удивиться, когда в функции «балабустых» увидел наполненных шармом, напомаженных, надушенных, по последней моде одетых молодых людей, обслуживающих покупателей с салонными манерами. С удивлением глазел я на все эти и на подобные чудеса.

Однако, поскольку не только для разглядываний я в Одессу приехал, то надлежало их на более поздний срок отложить. Предстояло мне заняться поступлением в лицей на один из трех факультетов, входящих в его состав: камерального, физико-математического и юридического. Последний – с отделением секции восточных языков. Кандидаты в слушатели делились на две категории: на тех, для которых поступление было открыто без экзаменов, и на тех, которые должны были экзамен сдавать. Я отнесился ко вторым – нас было около двадцати из различных гимназий и разных национальностей. Приехало и несколько человек из нашей гимназии в Немирове.

Перед сдачей экзамена необходимо было записаться на факультет. Я должен был выбрать один из двух. Либо юридический – чтобы выполнить желание отца, или на математический – чтобы угодить себе.

Я сомневался и после долгой борьбы с самим собой склонился в сторону пожелания отца. Записался на юридический. Как кандидату на юриста мне полагалось сдать экзамен, который я сдал с триумфом.

К экзамену подготовился надлежащим образом и сдал бы его и без помощи, которая совершенно неожиданно ко мне пришла. Помощь появилась, когда я, сидя на лавке, задумался о переводе на язык Вергилия отрывка, продиктованного нам экзаменатором.

Я мысленно размышлял, как лучше и грамматически правильней перевести фразы на латынь, когда один из членов экзаменационного комитета встал из-за стола и сел рядом со мной. Показалось мне, что его целью было контролировать нас вблизи. Пододвинувшись, я продолжал дальше свою работу. Какое-то время он сидел спокойно, потом повернулся ко мне, придвинул к себе мои листки и заданный мне перевод написал по-латыни одним взмахом! Сделав это, пододвинул ко мне лист. Мне оставалось только переписать. Я не упустил возможность воспользоваться этим облегчением, которое чрезвычайно меня удивило. Позже лишь я узнал, что моим неожиданным помощником на экзамене по латыни был Симонович – профессор политической экономии. Почему он это сделал? Никогда я об этом не узнал.

Допускаю, что была это с его стороны просто фантазия, а допущение это тем более правдоподобно, что Симонович относился к категории профессоров-эксцентриков, допускающих чудачества, не обязательно совместимые с профессорским достоинством. Об этом, однако, напишу позже, когда по очереди приступлю к описанию характеров личностей, которые формировали мой разум. Сначала закончу об отделении.

Итак, тогда я поступил на юридическое. После окончания всех вступительных формальностей я познакомился с внутренним распорядком учреждения и с расписанием. И когда начались занятия, просидел в аудитории, в которой изучались предметы, не помню сколько часов до и после полудня.

«Я на юридическом? На юридическом?» – повторял я беспрерывно, напрасно пытаюсь придать этому событию красоту поступка, основанного на желании угодить отцу.

«Я на юридическом?» Удивляло меня это и грызло. Терзало и не давало спокойствия. В таком настроении я заснул. «La nuit porte conseil», – гласит французская пословица. Ночь разрешила для меня выбор отделения, вернее, разрешил его сон. Приснились мне похороны математики, и такую во мне это вызвало тоску по покойной, что я внезапно разрыдался. Во сне я рыдал, как бобер, смочив слезами подушку. В слезах я проснулся и, вытерев их, сказал: «*Alea jacta est*».

Написал в дирекцию лица заявление, в результате которого я еще в течение этого дня перевелся на отделение физико-математическое.

«Почему не на камеральное?» – спрашивали у меня приятели.

Почему? Трудно ответить. Наверное, интерес к этой отрасли науки. Скорее всего так. Должен, однако, сказать, что интерес этот не с неба мне на голову свалился. Он вытекал из особенных способностей к математике. В этом последнем не было ничего необычного. Природа одарила меня смышленостью. Я учился математике с такой же легкостью, как и истории, географии и другим наукам. Если способности особенные и проявлял, то в области литературы, к которой вовсе не стремился. Литературная карьера не привлекала меня, я ее даже не рассматривал. Стихи писал для себя – для удачного и выразительного высказывания чего-то, что

исходило из самого сердца. Чтобы ее избрать своей специальностью, сделать карьеру и придать этому научный характер – ничего похожее мне и не снилось. Мою тягу к математике приписать не могу ничему другому, как только влиянию того же человека, который меня к юриспруденции подталкивал, но при каждом случае о математике выражался с большим уважением. Откуда же это противоречие? А противоречия в этом не было никакого, поскольку, с одной стороны, шла речь о зарабатывании на хлеб, а с другой стороны, речь шла о науке. Математику с заботой о будущем сына отец посвящал более доходной профессии.

Однако он невольно математику разуму моему и сердцу привил оказанием ей большого уважения. Таким образом, породил он во мне к этой науке интерес. Факт этот доказывает силу родительского влияния в вопросах воспитания.

Симонович считал, что движение денег – и есть основа жизни. А в доказательство этого доставал из кармана рубль и пускал его вращаться на столе, показывая при этом на него пальцем и восклицая: «Смотрите, господа, как он крутится и бежит. Что за жизнь, что за движение мчится!». Был противником моды. А когда говорил о влиянии ее на промышленность и торговлю, то (помимо того, что употреблял досадные эпитеты) к тому же сбегал со своей кафедры, на голову надевал цилиндр и, оборачиваясь, высмеивал для наглядного примера свой личный фрак и головной убор. Основным предметом его насмешек были полы фрака. «Зачем они нужны?» – спрашивал он, стоя к слушателям спиной и разнообразно перекладывая эти украшения мужской одежды. Интересные вещи рассказывал и о женских костюмах.

Как я уже упоминал выше, он относился к типу профессорско-эксцентриков, что имело большое влияние на учащуюся молодежь. Эксцентричность делала популярным и его, и преподаваемый им предмет. Благодаря ему политическая экономия вошла, так сказать, в общественный оборот. Почти каждая лекция Симоновича становилась предметом обсуждений и дискуссий между слушателями всех отделений.

К числу эксцентриков относились еще двое из профессоров – Мурзакевич и Кароль Брун. Первый преподавал историю рус-

скую и древнего мира. Второй – чистую математику. Эксцентрисность Мурзакевича состояла в увлеченности археологией, особенно предметами античности, найденными на Таврическом полуострове. Археология заслоняла ему горизонт, кроме нее, он ничего не видел. Даже историю. Сухость преподавания не оживляла его лекции и не вызывала заинтересованности предметом в такой мере, в какой может заинтересовать античность. Что же касается К. Бруна, то его эксцентрисность относилась больше к внешности, которой его одарила природа, – высокому росту, внушительному животу, полному лицу, короткому носу и великолепной лысине. Предмет свой преподавал хорошо и увлеченно. С увлечением, которое уносило его так далеко, что иногда возле доски, обливаясь в летний день потом, он той же тряпкой, которой вытирал доску, вытирал и свое лицо. Это добавляло ему необычайно интересный внешний вид. Из аудитории выходил, как будто с мельницы – обсыпанный белым порошком с ног до головы, а на его круглом красном лице виднелись полосы, смешно отпечатанные от больших серебряных очков.

О других преподавателях не очень много можно рассказать. Некоторые в наших глазах считались знаменитостями. Такими были и Нордман (естествознание), Хассхаген (химия) и Филип Брун – родной брат Карла (всемирная история). Не завоевали они, однако, славы за пределами Одессы. С их фамилиями никогда не встречался позже, когда присматривался к научному миру за границей. Не были они известны даже в Киеве. Кто-то из них преподавал лучше, кто-то хуже. Очень хорошо читал лекции Михневич (философия), не хуже Левтеропуло (физика). Я также слышал хорошие отзывы о Бекере, который преподавал римское право. Были, однако, и такие, которых лекции явно утомляли. Старались их прочесть, чтобы поскорее избавиться, как будто отработывали повинность.

В общем, профессорское обучение в Одессе если и отличалось от учебы, с которой познакомился за границей, то ненамного. Все в мире университеты систематизируют знания, указывают направления на пути научных открытий, ставят директивы. Одесский лицей заданию этому соответствовал в том разрезе, в котором его выполняют «малые университеты», занимая положение

между средней школой и такими крупными научными учреждениями, как, например, Сорбонна или университеты Берлинский и Венский. И даже когда я впоследствии слушал лекции в этих университетах, вспоминались мне одесские преподаватели, и некоторые из них из этих сравнений выходили с триумфом. Несомненно, одесскому лицу недоставало многих вещей с точки зрения научной помощи – не было библиотеки, музея и лаборатории. Но в те времена это не являлось ни исключением, ни особенностью. К. Вогт рассказывал, что этими же недостатками пятьдесят лет назад страдали и немецкие университеты, даже Берлинский.

Многонациональность среди студентов отражалась и среди преподавателей. Нордман – рыжеволосый человек невысокого роста, хромой, возбуждающий в студентах большое уважение к своей личности, – был финном, Хассаген, который преподавал по новой на то время системе Берцелиуса, был учеником Берцелиуса и его соотечественником. Брюны (один и другой) – немцами, Симонович – сербом, Левтеропуло – греком, Петровский (астрономия) – кажется, поляк.

К учебе я сразу приступил с энтузиазмом. Однако энтузиазм натолкнулся на препятствия, которые преодолеть или обойти мне не позволяло мое любопытство. Ох уж это любопытство!

Деньги не составляли больших сумм. Жизнь в те времена была намного дешевле, чем сейчас. Человек, который располагал 10 рублями ежемесячно, мог иметь порядочную комнату и приличное питание. Была это средняя цена проживания и питания. Отец мне содержание это определил, наказывая, чтобы я точно его придерживался. Любопытство отбирало у меня рубль за рублем и быстро опустошало кошелёк, вызывая непредвиденные расходы в составленном в Немирове бюджете, такие, например, как театр, кондитерская, концерты и т. п. В театр я ходил с удовольствием. Итальянская опера живо увлекла меня из-за пения и из-за певиц, две из которых в Одессе производили фурор и делили общество на два противостоящих лагеря: на сецци-корсистов и скалесистов. Одни были поклонниками Сецци-Корси, женщины немолодой, но – как утверждалось – имеющей высокую школу. Другие – Скалеси, молоденькой и очаровательной девушки, поющей сопрано и выступающей с отцом, который пел басом.

Я присоединился к последним. В театре бывал столько раз, сколько Скалеси фигурировала на афишах, и аплодировал ей так, что у меня руки болели. Восхищались ею многие, среди них и один зажиточный шляхтич с Подолья, который взял ее в жены, и которому она, как слышал, нарожала кучу ребятишек.

Восхитительна она была в «Севильском цирюльнике», исполняя роль Розины, в то время как отец ее играл Фигаро. Каковым же было мое удивление, когда двадцать четыре года спустя я вновь увидел на сцене в Париже старого Скалеси в той же самой роли! Вспомнилась мне его дочка, вспомнились мне букеты, которые ей преподносил.

Расходы эти, в моем бюджете не предвиденные, помимо других, таких же непредвиденных расходов, сильно исчерпывали мои финансы. Вынуждало это меня к написанию красноречивых писем отцу. Кто знает, возможно, именно эти письма породили во мне литературный талант. Отец стиль их хвалил и наверняка за стиль деньги мне досылал.

За этими расходами следовали и другие: потеря времени повлекла за собой то, что я запустил учебу. Дошло до того, что за исключением математики, которую я редко пропускал, на других лекциях – почти не присутствовал. На ботанику, например, я заглянул несколько раз в самом начале, а затем вообще не ходил. Удовлетворение любопытства в отношении множества предметов и случаев, с которыми столкнулся сельский житель в большом городе, полностью поглощало мое время и мое внимание. Интерес исходил из интереса, дневные часы, во время которых ничего интересного не происходило, мелькали с молниеносной скоростью, вечером же, если погода позволяла, любопытство увлекало меня либо на бульвар, расположенный над морем возле памятника Ришелье и «гигантской лестницы», спускающейся на берег среди обломков скал (слышал, что на их месте сегодня располагаются сады); либо же в «Пале-Рояль», в котором в определенные дни играл военный оркестр и кружилась элегантная публика. Элегантная публика, чудесные наряды, благоухание, образы и прикосновения прекрасных женщин, через толпу которых необходимо было протискиваться по пешеходным дорожкам, – оказывали пьянящее воздействие,

изгоняющее из мыслей не только ботанику, но даже и математику. Согласно всему окружающему, уравнения складывались иначе, чем в аудиториях. Скорее всего, окружающий меня мир и его увлечения превращались в аудиторию, наполненную учебой и поэтапными подсказками. Эту учебу и подсказки математика складывала в формулы, включая в них данные не только из элегантного мира, но также и из того мира, который, составляя основу общества, тяжело работает на станках, на улицах, в складах, в промышленности, в торговле, в сельском хозяйстве и заливается водкой по шинкам.

В этом направлении любопытство подталкивало меня к наблюдениям и желанию получить ответы на вопросы. Те ответы, которые я напрасно бы пытался найти на лекциях Брунов, Мурзакевича, Нордмана, Михневича и других.

Нельзя сказать, чтобы это не имело своей пользы. Польза зависит от некоторых определенных условий, и не каждому она может пригодиться.

Школьный год пролетел для меня, как будто одна минута. Пришел май, а с ним и экзамены. Переход на второй курс разрешался только при условии удовлетворительной сдачи экзаменов.

«Смогу ли перейти?» – спросил я сам себя.

Совесть давала мне отрицательный ответ, но рядом с совестью находилось упрямство, которое можно объяснить наличием шляхетских амбиций.

Никогда в жизни я не трудился так много и с таким усердием.

В подготовке и учебе проходили мои дни и ночи. Я лез из кожи вон и сдавал экзамены один за другим.

Помню, что перед физикой я не спал несколько ночей подряд. Еле доплелся до кабинета физики, и когда наконец сдал экзамен, то дошел до дома, держась за стены и с передышкой. Мои силы немного укрепил сон: я проспал без перерыва двадцать четыре часа.

Наступил экзамен по ботанике. Поскольку правила позволяли не сдать один из предметов, я предназначил на это разрешение ботанику. Не готовился к ней вообще. Вместо того, чтобы корпеть над записями, я ездил на хутора, бродил по рощам, проверял правила очередности морских волн, прислушивался к их шуму,

наблюдал за кораблями, которые показывались и пропадали на горизонте, следил за полетом чаек, купался в море, вечерами устремлялся в оживленную толпу благоухающих дам. Вечером перед экзаменом пошел в театр, поел как следует, выспался и на завтра явился на экзамен с чистой совестью и с принятым решением – его не сдать. Случай распорядился таким образом, что я сел на скамью возле В. Д., моего товарища, который ботаникой очень интересовался. В. Д. принес с собой несколько книжек, а также большой букет цветов и растений.

«Знаешь, я ведь совсем не готов», – прошептал я ему.

В. Д. пожал плечами.

«Не мог бы ты мне что-нибудь показать?» – спросил я у него через минуту.

«Ладно. Что-то я тебе покажу, – ответил он, – возьми хотя бы и посмотри это».

Он пододвинул ко мне книжечку по ботанике, которую я открыл и попал на классификацию растений. Классификация меня заинтересовала. Я прочитал ее один раз, затем второй и захотел узнать, как на растения распространяется принадлежность к классам и семействам. В. Д. продемонстрировал мне ее на каком-то цветке и на бодяке. На этом ограничивалось все мое обретенное в течение пятнадцати минут знакомство с ботаникой. С этим запасом знаний, когда моя фамилия была названа, подошел к столу, на котором лежали карточки с вопросами и охепками растений, вытянул вопрос о классификации, распознал класс на бодяке и удивил профессора.

«Никогда я Вас в аудитории не видел», – проговорил он.

«А я вот господина профессора видел», – ответил я уклончиво.

«Хм, видно, что ботаникой Вы занимались».

На это замечание я промолчал.

В моем дипломе стояло по ботанике «отлично».

По этому поводу угрызения совести терзают меня по сей день. В последующие годы несколько раз пробовал выучить ботанику; в Женеве какое-то время ходил на лекции. Однако другие занятия меня отвлекали и не позволили расплатиться за молчание, которое когда-то обмануло Нордмана. Закончу свои дни с этим угрызением совести.

Однако отставляю в сторону свои размышления по этому вопросу, а вернусь к Одессе и опишу ее с той стороны, с которой мне тогда представилась ее общественная жизнь.

Хочется вспомнить об одном человеке, забытом поэте, одаренном настоящим талантом, который блеснул и пропал, как огонек на болотах. Произведения его вышли в особом издании. Некоторые из них опубликовала «Русалка» – ежегодник, издаваемый Александром Грозой. Большая часть пропала, а может, где-то и прозябает в рукописях. Этого поэта звали Юзеф Котони. С его поэтическим талантом сочетался талант музыкальный – как исполнителя, так и композитора. Одна из его мазурок, исполняемая во всех домах, где только было фортепиано, до сегодняшнего дня звучит у меня в ушах, когда вспоминаю свои молодые годы. Помню несколько куплетов. Первый начинался так:

Эй же, братья, ближе в круг,
Кто где может, пусть садится.
Прочь от нас грусть навек,
Вместе братья – и весело!

К веселости взывая, сам, однако, примером ее не являлся. Истории его жизни не знаю. Согласно звучанию его фамилии допускаю, что на нивы наши привели его судьбы, подобные тем, в результате которых расцвел на них Шопен. Скорее всего, отец его или, может быть, дед прибыл к нам из-за Апеннин и, женившись, свил здесь семейное гнездо. Внешность его не указывала на иностранное происхождение. Имел вид обычного украинца: среднего роста, сухой, смотрел на мир голубыми глазами, лицо его украшали пышные усы палевого цвета. Несколько лет он жил в Лещиновке под Уманью, работая учителем музыки. Слышал я в то время рассказы о нем. Котони считался нелюдимым. С домашними соприкасался только настолько, насколько необходимость этого требовала, гостям не показывался вообще. Ни за какие сокровища невозможно было уговорить его сыграть в салоне на фортепиано.

Послушать его игру можно было лишь украдкой, стоя под окнами, где он жил и играл для себя на своем фортепиано.

После лекций он уединялся – читал, писал, играл и совершал уединенные прогулки. Покинув Лещиновку, стал проживать в Одессе, на концертах не старался выделиться, но лекции его были чрезвычайно востребованы.

Не припомню, как мы сошлись и каким образом между мною и ним завязалось более близкое знакомство. Кажется, что студентов Котони не сторонился (так, как гостей в Лещиновке), и охотно принял мое приглашение отведать пасхальную свяченную еду, которую мне прислала мама в полном комплекте и в таком количестве, что я ее вместе с коллегами за неделю с трудом мог одолеть. В первый день праздника собралась у меня довольно большая компания; все разместились, где только могли, а затем, после вкушения Божьих даров, мы разошлись. Котони, я и небольшая компания моих друзей вышли вместе.

«Не зайти ли нам ко мне?» – спросил Котони, когда мы проходили мимо его жилища. Мы зашли, продолжая разговор, который завязался между нами. Все заняли места на стульях и диване. Котони медленно ходил, время от времени что-то говоря, а затем замолк. Наша беседа стала угасать.

Один из студентов начал тихо насвистывать мелодию какой-то украинской думы. Наступило молчание. Неожиданно раздался голос Котони: «Эх, сыграю я вам...».

Он сел к фортепиано и, нарушив покой клавиш, сыграл одно музыкальное произведение, затем – второе.

Мы слушали его игру замороженные, по той причине, что в том, что он исполнял, выразительно звучала привычная и знакомая каждому тема.

Играя, повернулся и сказал с грустной претензией в голосе: «Слышите? Французы нас обворовывают».

Произведения, которые он играл, были произведениями Шопена. Он не знал, и мы тоже не знали, что произведения эти вовсе не являлись кражей. О национальности Шопена в то время в наших краях еще никто не знал.

Если бы я фамилию Котони написал и ничего бы больше о нем не рассказал, его бы также считали иностранцем. Шопен был и останется в памяти. А о нем забыли. Занимал он места мало,

и место это было скромным. Скромным оттого, что талант свой Котони скрывал.

Что с ним случилось? Где его останки покоятся? Оставил ли после себя какое-то наследие?

На все эти вопросы ответить не умею и не могу. Кто-то, однако, должен что-то знать. Мазурка на слова и музыку Котони звучала в те времена в ушах целого поколения.

С Котони я виделся редко. Вообще, знакомства с жителями Одессы не отнимали у меня много времени и не отвлекали от учебы.



Моя семья, мои друзья

Мария Гаврииловна Добролюбская-Фукс (30 мая 1913 г. – 11 мая 1998 г.) – кандидат химических наук, доцент Одесского инженерного-строительного института (1953-85 гг.).

Муж – Добролюбский Олег Константинович (1915-1987), профессор-химик, известный одесский книжный коллекционер. Вышла замуж в 1937 г., жила в семье профессора-историка Константина Павловича Добролюбского (1885-1953) до войны в доме на углу Бунина и Гарибальди, после войны и до смерти – по ул. Успенской, 7, кв. 5. Дочь – Добролюбская Ксения Олеговна (1943-1994), сын Добролюбский Андрей Олегович (род. 1949 г.) – профессор-историк.

Мой отец Гавриил Григорьевич Фукс. У него две биографии: действительная и подтасованная. И о той, и о другой я мало что знаю.

а). Фальшивая. Родился 10 августа 1872 года в г. Ровно. учился в Юрьевском университете (Тарту), после чего был присяжным поверенным в г. Киеве. Эти данные всегда фигурировали в анкетах.

б). Действительная. родился 10 августа 1880 г. в г. Бердичеве. Отец его Альтер Герш Фукс занимался каким-то мелким предпринимательством. Мой отец был в семье не то вторым, не то третьим ребенком. Его братья: Моисей, Самуил, Борис (отец Жени), был еще, кажется, Меир, но точно я не помню. Сестры: Нехама, Фаня, Цецилия и Густа. Циля стала в дальнейшем Сохор, мать Арика (впоследствии профессор, доктор искусствоведения Арнольд Наумович Сохор (1924-1977)). Густа (Ардашникова), Фаня (Мах), мать Яши Маха, моего ровесника.

Они жили в Проскурове, потом в Одессе на Отрадной. Фаня и младший сын Миша погибли в Одессе в 1941-42 гг. Яша Мах закончил химфак в университете, работал в военно-химической академии. Умер он в 1954 г., и его жена Гитя Краснова и две ее дочери уехали в Израиль.

Где папа занимался, я не знаю, но в начале XX века он имел уже юридическую контору в Киеве по железнодорожным претензиям и был уже довольно богатым человеком, помогал своим братьям. Моисей, насколько я помню, жил с семьей на Кузнечной улице в Киеве, не очень богато. Самуил жил на Большой Васильковской (Красноармейской), у него была красивая жена Берта и двое детей: Мэри и Мирон, они были чуть старше меня, и мы дружили. Чем занимался Самуил, я не помню, но папа помог ему получить образование, и он был состоятельным человеком. Во время революции они эмигрировали, и Мирон стал, по слухам, в Америке известным шахматистом. Борис учился в Германии, закончил какой-то инженерный институт в Миттвайде, потом жил в Москве, во время нэпа весьма преуспел, но потом стал рядовым инженером. Женя и Ира – его дети от первой жены Софьи Борисовны, которая в 1934 г. погибла, попав под поезд.

Циля каким-то образом оказалась в Ленинкане, где вышла замуж за Наума Соломоновича Сохора – врача, Арик родился там же. Потом они жили в Ленинграде.

Густа была замужем за журналистом Ардашниковым, попала вместе с ним в Германию, находилась в Данциге (тогда немецком порте, после он стал польским). Ардашников умер там, а она добилась возвращения в СССР, по очереди попыталась жить у всех родственников (и у нас), но была всеми отвергнута и поселилась у Циля, которая ее призревала, несмотря на протесты своего мужа. Ей пришлось зарабатывать, преподавая английский язык.

Моя мать Рахиль Давидовна Удалевская родилась в г. Балте 2 октября 1882 г. в большой многодетной семье. В раннем детстве лишилась родителей. У нее были сестры: Ревекка, Фаня, Клара, Цецилия (Чука). Все дочери были очень красивые. Были и братья: Соломон, Самуил, Лазарь и Исаак (моло-



Мария Гавриловна Добролюбская, Олег Константинович, Ксана и Андрей

же мамы, она была самая младшая девочка). Воспитывались мама и Исаак у тети Клары, в замужестве Котляр, она была лет на двадцать старше мамы.

Ревекка, в замужестве Берщанская, жила в Одессе, рано овдовела и всю жизнь нуждалась. Дочь ее Лиза – Елизавета Давидовна – была очень красивой, но не особенно удачливой: у нее было три мужа, и все они, недолго прожив с ней, умирали, а потом на ней уже боялись жениться. От первого мужа, Комаровского, у нее была дочь Берта (Беба) и сын Марк (Митя), от второго мужа был сын Давид (Видя), который погиб на войне. Третьим мужем ее был отец знаменитой в 20-е гг. опереточной актрисы Клавды Новиковой, он тоже умер, оставив ей сына Шуру. Фаня вышла замуж за Якова Попика, вдовца, жившего в Николаевке-2. У него была дочь Соня от первой жены, и совместно они породили: Давидку, Бетю, Лелю, Клару и Анюту. Чука вышла замуж за Аккермана, уехала в Швейцарию и жила в Цюрихе. Ее дети Берта и Аннали – богатые люди.

Клара впоследствии переехала в Одессу, где ее муж Лейзер Моисеевич Котляр (толстый благообразный блондин) стал владельцем гостиниц: «Виктория» – ныне общежитие университета на Пастера угол Преображенской, а во время нэпа – «Большой Московской» на Дерибасовской. У них еще был дом на Большой Арнаутской, не знаю какой. Во время оккупации тетя Клара ходила к губернатору Одессы, чтобы дом вернуть, так как после революции у них все отобрали, ее муж умер, и она жила с нами. В конце 1941 г. была угнана и погибла.

Старший брат Соломон с начала века оказался в Польше, имел в Лодзи свою фабрику и был довольно богат. Не знаю, был ли он женат, но потом жил один, и детей у него не было.

Лазарь жил тоже в Польше, был женат на польской еврейке Анке, у них был сын Тадек (Тадеуш), мой ровесник. Во время революции они оказались в Одессе и жили в гостинице «Виктория». В 1922 г. они эшелонам уехали обратно в Лодзь, где вначале жили очень скромно, но потом Соломон умер и завещал им свое состояние. Они были очень довольны. В 1939 г. они попали в Лодзинское гетто, где Лазарь умер, а Анка и Тадек писали нам оттуда страшные письма по-немецки. Тадек подписывался «Давид» (не разрешали зваться Тадеушем). Мы даже послали им несколько продуктовых посылок, потом они, видимо, там погибли.

Самуил был человеком со странностями, не был никогда женат, и не помню, чтобы за кем-то ухаживал, хотя внешне был недурен собой. Не знаю, чем он занимался смолоду, но был мастером (плохим) на все руки. Еще в Киеве до моего рождения он жил в нашей семье, по сути, приживалом. После нашего отъезда из Киева приехал к нам в Одессу, сообщив, что наша квартира сгорела и все в ней пропало. Жил с нами, в конце концов стал работать в водном институте каким-то мастером. Погиб вместе с тетей Кларой в 1941 г.

Самый младший мамин брат – Исаак. Помню его после переезда в Одессу, куда он приехал после нас. Что он делал до этого – не знаю. Внешне был очень интересным мужчиной. Жил на ул. К. Маркса, 18, в доме, где служил управдомом. Еще что-то делал у дяди Лейзера (мужа тети Клары) в гостинице

«Большая Московская». Много внимания уделял мне, часто брал с собой на прогулки. Тогда он ухаживал за Евгенией Ивановной Кориневской (урожденной Панаиотаки, теткой Оли Ахназарян-Кремляковой). Она была мелкой актрисой в труппе, которая выступала в клубах, помню спектакль «На бойком месте» по Островскому с ее участием. Потом он на ней женился, наша родня была сначала страшно против, но потом смирилась и даже подружилась с ее родней: Панаиотаки Ксенией Евстафьевной и ее матерью, а я стала подругой ее племянницы Аллы, с которой познакомилась еще до этого в библиотеке. Она была старше меня года на четыре и, когда подросла, бросила меня для взрослой жизни, что меня очень травмировало. У Аллы была роскошная коса до пояса, эту косу ей срезали какие-то хулиганы во время всенощной в кафедральном соборе.

У Исаака и Жени в 1925 году родился сын Игорь. У Жени была обширная родня, в том числе тетка, бывшая замужем за бывшим морским капитаном по фамилии Динней. У них был свой домик в Отраде на Уютной улице, 5. Они называли Исаака «Исай», чтобы звучало по-православному. Когда я выросла и вышла замуж, мы несколько от них отделились. Во время оккупации Женя боялась за судьбу Игоря и уговорила Исаака пойти зарегистрироваться в комендатуру, отвела его туда, после чего он исчез. После войны мы с ней и Игорем виделись, но отношения были прохладными. Игорь уехал в г. Корсаков на Южных Курилах, где обосновался и женился. Женя вскоре переехала к нему, с одесскими родственниками встречаться перестала, и я о них более ничего не знаю.

В 1904 г. мой отец узнал от своего знакомого, что в Балте живет очень красивая девушка. Этот знакомый очень хотел на ней жениться, но ее звали так же, как его мать, Рахиль, а у евреев это не разрешается. Папа поехал в Балту, с первого взгляда влюбился в эту девушку и посватался. Моей маме был тогда 21 год, и она действительно была замечательно хороша собой. Но в ответ она показала ему язык, что его окончательно добило. Он написал ей одиннадцать любовных писем, у него был прекрасный почерк – мелкий, бисерный, и этим, видимо, он ее покорила. 15 (2) мая

1904 г. они сыграли свадьбу, после чего поехали в свадебное путешествие в Европу.

Они поселились в Киеве, где у папы уже тогда была юридическая контора по железнодорожным претензиям, он был уже присяжным поверенным и богатым человеком. Через год, 28 (15) февраля, у них родилась дочь, которую папа по просьбе своего приятеля назвал Бальбиной в честь его жены, польки Бальбины Марковны Чапник. Так появилась на свет Биночка. Семья жила богато, каждый год ездили за границу, бывали во многих странах. В 1913 г. родилась я. У моих родителей еще до этого родилась мертвая девочка (ее должны были звать Леля), так что фактически я являюсь третьим ребенком в семье, что обычно определяет некоторую гениальность (Менделеев был третьим ребенком).

Жили мы тогда на Караваевской улице (Толстого), 11, в квартире 25, в одном из лучших домов Киева – семиэтажном доме Мороза, на первом этаже, в очень большой квартире, по-видимому, роскошной. Там были два балкона: один обычный, выходивший на Караваевскую, другой – огромная терраса с прекрасным пейзажем (я такую видела только в Париже, в Сен-Луи, в апартаментах одной богатой дамы). Терраса примыкала к детской комнате, рядом была комната Биночки. Была еще столовая (дубовая мебель, муляжные натюрморты), гостиная (белая мебель с зеленой обивкой, рояль), спальня (мебель светлого дерева «птичий глаз»), папин кабинет (мебель с кожаной обивкой) – в нем было много шкафов с книгами, мне запомнились корешки переплетов Фенимора Купера – я думала, что это такое название. В квартире было две уборные: темная («дядя Фриц» – для челяди) и светлая («тетка Агафья»), а также всякие комнатки и закоулки. На антресолях жил мой дядя Самуил. Еще в доме жили кухарка, горничная и моя няня Сима, которую я страшно любила. Она со мной разговаривала по-украински, видимо, поэтому я его хорошо знаю (помню, как-то мы были где-то в гостях, потом искали мои галоши, она мне говорит: «Ось вони», – а я ей отвечаю: «Ну, це не мої – мені треба «Х» (Хвукс), а тут «Ф»).

Вход в дом был через большой вестибюль, где восседал шикарный швейцар, лестница была покрыта коврами дорожка-

ми. Было два лифта: для господ и для слуг. На нашем же этаже жила семья Зусман, где две девочки – Дора и Нелли – занимались в одной гимназии (Жекулиной на Львовской улице) с Биночкой. Каждое утро экипаж отвозил их в гимназию. Биночка еще дружила с дочерью сахарозаводчика Бродского Верой, а ее брат Миша, чуть моложе ее, был очень внимателен ко мне, я его очень любила. Он умер от скарлатины, и для меня это было первое запомнившееся мне горе.

Обрывочные воспоминания детства. Помню, еще я совсем маленькая – мы жили на даче в Дарнице, ездили туда поездом, и у меня был коклюш, взрослые от меня заразились и как-то раз все так раскашлялись, что не успели сесть в поезд. Ясно помню, как ходили с няней на опушку леса, собирали землянику в корзиночку, и с нами была черная маленькая собачка Биска.

Дом у нас был открытый, часто бывали гости, иногда именитые. Так в гостиной, где стоял рояль Бехштейна, устраивали концерты, как-то у нас играл Владимир Горовиц, знаменитый в ту пору пианист.

Мы с няней Симой ходили гулять в Николаевский сквер, находившийся напротив нашего дома. Помню, уже во время войны там стоял бедный инвалид в офицерском мундире и фуражке. Сима его пожалела и дала мне копеечку, которую я ему подала, а он, бедный, обиделся и отказался.

А по улицам маршировали солдаты и распевали:

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет...

Ходили мы еще гулять с Симой, а позже с приходившей ко мне француженкой мадам Dinnet в Ботанический сад университета, красные здания которого находились в самом саду.

Жизнь с войной и революцией становилась все труднее, постепенно и наше благосостояние прекратилось, не стало прислуги.

Раньше, бывало, мама каждый раз возила меня на извозчике в Купеческий сад, где было много развлечений, и мы ели мороженое. Потом заезжали в кондитерскую Семадени. Помню, еще

мы ездили в Одессу в гости к тете Кларе, запомнилось катание на извозчике по деревянной мостовой (около археологического музея) – совершенно бесшумное.

Потом у нас реквизировали комнату – гостиную. В ней поселилась супружеская пара чекистов. Ее звали Татьяной Сергеевной, видимо, она была порядочной хамкой, но меня обожала: брала к себе, целовала, водила (уже пешком) в Купеческий сад, угощала. В свое время мы что-то спрятали, приклеив это к потолку гостиной, и, когда там жили чекисты, это вдруг стало обвисать. Тогда Самуил спровоцировал мой уход с Татьяной Сергеевной и, воспользовавшись ее отсутствием, ликвидировал опасность.

Потом началась смена властей, достаточно частая. Киев все время обстреливали, бомбили. Мы прятались в подвале дома, там раньше находились биллиардные залы. Как-то раз туда влетел снаряд: погас свет, что-то обвалилось, загорелось. Меня вытащили из-под обломков за штанишки, до сих пор помню ощущение, как они вдавились в меня. У мамы, когда ей меня вручили, была истерика.

Когда город занимали петлюровцы или махновцы, проводились еврейские погромы, у меня до сих пор в ушах стоит отдаленный вой и крик. Нас долгое время не трогали, а потом помню, как мы бежали по лестнице с пятого этажа на седьмой, а за нами гнались какие-то люди с обнаженными шашками и нагайками. На седьмом этаже жила немецкая семья по фамилии Лусс, они нам дали убежище и не пустили погромщиков в квартиру.

После очередного занятия Киева большевиками, уже, очевидно, последнего, мой папа, как я сейчас понимаю, решил с ними сотрудничать. В доме стали появляться какие-то полувоенные люди, возможно, чекисты, и папа и его товарищ по фамилии Витес для них что-то делали. В дальнейшем они даже взяли себе новые фамилии: Витес стал Райским (так как у него была жена Рая), а папа – Раздольным, и мы даже некоторое время именовались семьей Раздольных. Кажется, именно под этой фамилией мы в 1920 г. и уехали в Одессу. Вообще-то, мы собирались за границу, в Швейцарию, но мама обязательно

хотела повидаться со своей сестрой Кларой. В апреле 1920 г. мы погрузились в теплушку и в ней ехали в Одессу несколько дней. С нами в вагоне были какие-то чекисты, один из которых, Витя, мне очень запомнился, так как всю дорогу меня чего-то развлекал.

В Одессу прибыли мы отнюдь без шика и поселились на углу Пастера и Преображенской в гостинице «Виктория», принадлежавшей мужу моей тетки Клары. В «Виктории» жил также мой дядя Лазарь, приехавший из Польши с женой Анной и сыном Тадеком, моим ровесником, с которым мы быстро подружились и вместе проводили время. Была еще моя взрослая кузина Бетя Попик из Николаевки-2, студентка мединститута. Это была очень интересная девушка, но через год она умерла от сыпного тифа. Я не помню подробностей нашей жизни в гостинице, также не помню, поселились ли мы на Преображенской, 17, напротив университета, до или после нашего отъезда в Волочиск, куда мы уехали не то в конце 1920, не то в 1921 г. вместе с дядей Самуилом, привезшем нам известие о том, что в Киеве наша квартира со всем имуществом сгорела. В Волочиск мы добирались долго, со всякими остановками по дороге. Застряли на некоторое время в Проскурове (ныне Хмельницкий), где жила папина сестра Фаня Мах с семьей. Волочиск был пограничным пунктом, мы намеревались нелегально перебраться в Польшу, а оттуда уже в Швейцарию. Мы пробыли в Волочиске пару месяцев, а потом нам было отказано в помощи при переходе границы, и мы возвратились в Одессу. И вот, не помню уж точно, тогда ли мы поселились на Преображенской, 17, а потом приобрели квартиру на Подбельского, 30, или же опять жили в гостинице, а потом переехали, но в 1922 г. мы уже жили в большой квартире из семи комнат, которую купили вместе с мебелью и утварью у поляков (Щепковские), уехавших в Польшу (на память о них у нас до сих пор остались книжный шкаф и аптечка). Вместе с квартирой нам досталась и квартирантка Александра Васильевна Булатович, портниха, с которой у нас многие годы были дружеские отношения. Мы ходили вместе в Бродскую синагогу.

В 1922 г. Биночка стала работать в ARA (American Relief Administration), где требовалось знание английского, поэтому там устроились дети из интеллигентных семей: юноши – грузчиками,

а девушки – на выдаче посылок. Принцип был тот же, что и сейчас: в Америке давали деньги, а здесь выдавали ящик – стандартную американскую посылку. Там Биночка познакомилась с очень интересными людьми, которые образовали весьма приятное общество. Помню веселые вечеринки, на которые меня иногда допускали. В школу меня не определяли, надеялись, что еще власть переменится. Приходила домой учительница по разным предметам и по французскому языку. Биночка еще занималась музыкой, по несколько часов в день она играла на рояле, а так как наша квартира была в глубине двора, то весь дом ее проклинал. Она также брала уроки итальянского у преподавателя сеньора Верди, а потом сама давала эти уроки, беря за урок бóльшую сумму, чем сеньор Верди. Жилось нам вначале, видимо, неплохо, но потом что-то у папы не ладилось с работой, и нам пришлось брать квартирантов: сдавали две комнаты.

Помню, я тогда подружилась с девочкой-сиротой, родственницей наших хозяек с Преображенской, Лизой Георгопуло. Ее пристроили домработницей к моей тете, но с тем чтобы она училась, и к ней относились не как к прислуге. Она меня очень любила, так как я сочиняла «кинокартины», всякие истории, где героинями были блондинки с «холодными» серыми глазами, и, когда потом она перестала жить у моей тети, она очень тосковала по мне. Мы с ней довольно долго дружили. Жизнь у нее получилась довольно интересная: она стала судовым радистом, подружилась с мужеподобной девушкой Галиной Градской, которая потом стала капитаном дальнего плавания. Обе они одевались по-мужски (только в юбках) и пережили немало приключений: были в плену в Испании. Рядом с Лизой я казалась себе легкомысленной финтифлюшкой, и мы разлучились. После войны мы встретились, у нее оказалась такая дочка, как Ксана (моя дочка такого же возраста), мужа у нее не было, она воспитывала дочку вместе с Галиной Градской, которая была ей чем-то вроде отца. Они обе изменили специальность и стали логопедами. Одно время я к ним водила Ксану, да, кажется, и Андрюшу (своего сына), но толку не вышло.

Очень дружила я с моей соседкой Марусей Вержбицкой, но когда арестовали папу, она от меня отвернулась, и наша дружба

кончилась. Это было первое предательство в моей жизни. Живя на Коблевской, я уже стала большой и ходила в библиотеку на ул. Петра Великого, 30, – библиотеку Торчинской. Там я прочитала много книг, в том числе книги популярной тогда детской писательницы Чарской, благодаря которой я, может быть, однобоко, но познакомилась с русской историей. А историю французскую изучала по романам Дюма. Там я подружилась с Аллой Панаиотаки, о которой уже говорилось.

В нашем доме на Коблевской (Подбельского), 30, жили грузины: доктор Гегелашвили – хирург, и какой-то очень видный общественный деятель. Его застрелил какой-то революционер, видимо, террорист, неизвестно почему. Там же жил его родственник – Пармен Караманович Даташидзе, которого называли Кукуля. Это был очень интересный мужчина. Так вот, он влюбился в Биночку и, чтобы с ней познакомиться, стал брать у нее уроки французского языка.

Биночка занималась музыкой у профессора консерватории Ковалева, который был женат на француженке Лидии. Биночка с ней очень подружилась. У Лидии были две сестры – Louise и Mimi. Сначала я занималась французским языком с Louise. У нее был сын Андре, которого называли Деде. Потом она вышла замуж за человека по фамилии Танский, и они куда-то уехали. А я стала заниматься с Mimi. Она тоже вскоре уехала в Москву, где вышла замуж за еврея, а меня передала своей знакомой, уже пожилой M-lle Гурсо. С ней я занималась несколько лет. У нее занималась также Женя Дробинская – дочка известного врача-венеролога. Они жили за углом на улице Петра Великого (тогда Коминтерна). У Жени в детстве были весьма хулиганские наклонности, поэтому мы с ней нашли общий язык, но предводительствовала она. Она придумала поджидать M-lle Гурсо в парадной и кричать: «Кошелек или жизнь!». Умерла Женя в 1994 г.

В 1923 или 1924 году АРА прекратило свою деятельность, Биночка осталась без работы и найти ее в Одессе не могла. Тогда в Одессе (и еще несколько лет после) была огромная безработица. Безработных брали на учет и посылали на общественные работы – это была уборка улиц, помещений, землекопами и пр., а кто не соглашался – снимали с учета.

Сначала Биночка пыталась уехать одна за границу, но не получилось, и когда Ковалевы решили уехать в Москву, она к ним присоединилась, и осенью 1924 г. они уехали. Поселилась она в семье папиного брата Буи (Бориса Григорьевича) – отца Жени (тому было тогда 1,5 года), прожила там несколько месяцев, а потом перешла жить к Мими на улицу Владимира Долгорукого (сейчас она Качалова). Устроилась работать в ВОКСе (отдел культурной связи с заграницей) – иностранной корреспонденткой. Там она познакомилась слевой Сальманом и в 1926 г. вышла за него замуж. Он был очень приятный молодой человек, высокий и с хорошей внешностью. К сожалению, через несколько месяцев после их женитьбы она заболела острым воспалением почек, это тяжелая длительная болезнь, и ее забрали в Одессу, где она провела девять месяцев в постели, разлученная с молодым любимым мужем. Летом 1927 г. она со мной поселилась на даче в районе монастыря за 16 ст. Большого Фонтана по Люстдорфской дороге, потом к нам приехал Лева. Помню, как мы ходили обедать на 16 станцию по дороге на Золотой Берег – там была домашняя столовая Мотыкайтеса. Кормили там удивительно вкусно и дешево, разнообразие блюд было очень большим, до сих пор помню. На 16-й станции было вообще несколько мест, где вкусно кормили: мороженым в павильоне Мелиссарато, удивительно вкусные сиропы к газированной воде и т. д. (Бальбина Сальман уехала во Францию в 1926 г., умерла в Париже в 1972 г. Ее сын Мишель Сальман (1931 г. рожд.) – владелец нескольких отелей в Париже, внучка Вероника (1963 г. рожд.) – историк-искусствовед.)

На даче нашими соседями была семья Шполянских. Отец Леопольд Давидович незадолго до этого освобожден из тюрьмы, где сидел «за вредительство». За это была арестована большая группа инженеров. Он был после этого очень болен, стал инвалидом. У них было две дочери – Аня и Лина. С Аней я потом всегда дружила, только в последние годы мы перестали общаться. Ее родители погибли на теплоходе «Ленин», который был торпедирован, когда мы эвакуировались из Одессы. Одновременно ушли три теплохода: «Ленин», «Ворошилов» и «Кубань». Мы были на «Кубани».

В 1925 г. Биночка, еще не будучи замужем, приехала в Одес- су в отпуск и настояла, чтобы меня отдали в школу (а то все наши ждали перемен). Был уже сентябрь, учебный год начался, поэтому меня пришлось отдать в самокупаемую школу № 49 во дворе костела на Екатерининской. Туда меня устроил Петр Евгеньевич Ершов (в дальнейшем профессор университета), преподававший там русский язык. Вообще, там был превосход- ный подбор преподавателей. За учебу в этой школе нужно было платить, поэтому основной контингент был из обеспеченных семей. Поступила я в пятый класс. В первые же дни я отличи- лась тем, что передралась со всеми мальчишками, некоторым из них разорвала рубашки. Дело в том, что у нас в семье я счита- лась очень некрасивой. Поскольку мама и Биночка были просто красавицы, то говорили: «Из одного дерева и крест, и лопата». Поэтому всякие знаки внимания со стороны мальчиков я вос- принимала как издевательство и была их нещадно. Я сразу же приобрела репутацию монстра, и называли меня «Фукс Мария», так как в нашем классе был еще Изя Шраго-Фукс. Подружилась я сразу со своей тезкой Мурой Мартенс. Это была довольно злостная хулиганка. Это от нее пошли выражения: «красави- ца неописанная», «Мария Говниловна» и пр. Все это не мешало ей быть начитанной и развитой девочкой, а выросши, она ста- ла просто очаровательна. Только пошла она по дурной дорожке, и после школы я потеряла ее из виду.

Наряду с нею я еще подружилась с хорошими девочками: Нью- сей Мендельсон (я с ней и сейчас беседую по телефону), Маней Вайнштейн и Софой Осятинской. В шестом классе у нас появилась Лена Поплавская (мать Вити Мороховского), и мы пятеро уже дружили всю оставшуюся жизнь. Мои подруги занимались очень хорошо, а я – отвратительно. У меня были почти все плохие оцен- ки, только русские сочинения я писала лучше всех.

Еще до поступления в школу, да и потом в первое время я ходила с дядей Самуилом гулять. Сам он не работал, был вообще человек со странностями, хотя и совсем недурен собой, одевался кое-как и вообще был некоторой разновидностью Плюшкина. Он умел делать абсолютно все, только большей частью топорно и грубо. Во мне он души не чаял и развлекал,

как мог. Мы с ним ходили купаться в море на Пересыпь. Там в районе электростанции были в море вбиты сваи – там мы и купались, он научил меня плавать, мы ловили бычков. Так продолжалось несколько лет.

Около электростанции был небольшой пляж. Со станции спустили в море горячую воду, и на этом пляже было всегда много народа, там организовали самодеятельную водолечебницу. Туда приходили те, кому были недоступны горячие морские ванны, приносили с собой взятую на Куяльницком лимане грязь, намазывались ею, а потом купались в теплой морской воде. Это самолечение так и называлось, «на горячей», и существовало много лет, даже после войны.

К тому же, так как стиральных порошков еще не было, то люди носили к морю всякие вещи: зимнюю одежду, ковры и пр., чтобы постирать в море. Этот обычай существовал еще и в 60-е годы.

В школе с новыми подругами я постепенно отошла от дяди, у меня появились другие развлечения. С Биночкой, а потом с подругами мы ходили на «австрийский» пляж, расположенный в районе таможни. На этот пляж переправлялись на лодках, это был даже такой промысел. Потом портовики перестали туда пускать.

В районе нынешнего морвокзала существовал яхт-клуб. Туда я ходила с Женей Дробинской. В первый раз, когда мы туда пришли, она прыгнула с вышки, а я за ней, и пребольно ударилась животом. Потом мы поплыли к волнорезу (брекватеру) – метров четыреста, я еще никогда не плавала на такие расстояния, и под конец к волнорезу она меня уже тащила на себе, ругаясь, что я ее не предупредила. Но ничего, я отдышалась и обратно поплыла медленно, отдыхая на спине, и все обошлось – научилась.

Записано в январе 1998 года

Публикация Андрея Добролюбского



Сокровища из сокровищницы

300 Татьяна Щурова

«Согнув над миром острых два плеча...»

Татьяна Щурова

«Согнув над миром острых два плеча...»

Продолжим разговор о публикациях в одесском журнале «Огоньки» (1918-1919), начатый в прошлом выпуске альманаха (№ 83, 2020). Еще раз восхитимся талантом журналиста и издателя Бориса Флита (Незнакомца), сумевшего в трагические запутанные годы окунуться в жизнь города и показать многообразие существования людей среди бесконечной смены властей, невероятных сложностей быта и полной неуверенности в завтрашнем дне. Конечно, ему помогал опыт создания многих

ОГОНЬКИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

№ 83

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА:
Одесса, Ришельевская ул., № 3,
телефон № 79-63.

Редакторы принимают по вторникам
и четвергам от 10—12 ч. утра.
Секретарь редакции принимает еже-
дневно от 10—12 ч. утра.
Рукописи больше 1 листа не возвращ.

Суббота, 1 июня (19 мая) 1918 года.

№ 3.

го, художественного и фотографического материала „Огоньковъ“
ия источника воспрещается. (Законъ 20 марта 1911 г.).

*Согнув над миром острых два
плеча
Раскрой, о вѣчность, желтый
страницы,—
Гдѣ нѣмы королевскія гробницы,
И тлѣть византийская парча...*

*Пусть на пути затерянных временъ
Я, юный, встрѣчу мой далекий
призракъ
И руки тонкія въ тяжелыхъ ризахъ
Увижу вновь печаленъ и влюбленъ.
Эриѳ Олеша.*

периодических изданий Одессы начала XX века, нужно заметить, всегда превосходных, и его умение безошибочно найти авторов и художников, а затем талантливо подать материалы в невероятной, казалось бы, мозаике.

В «Огоньках» очень помогают понять противоречивый «дух времени» оперативные зарисовки с натуры художника Скифа (Самуила Фикса) и полусалонные иллюстрации Алеко (А. Костюкевича) к публикациям прозаических произведений, а также множество редких фотографий.

Незнакомца всегда интересовала художественная жизнь города, он сам был связан с театром, отслеживал значимые литературные события. Например, один из номеров журнала был посвящен памяти Тургенева, напечатаны поэмы А. Блока «Двенадцать», «Скифы», «Соловьиный сад», произведения Алексея Толстого, Семена Юшкевича, Тэффи, Александра Федорова и др.

Также поражает умение редактора ориентироваться в пестрой поэтической среде Одессы. В «Огоньках» он продолжал сотрудничать с авторами, которых знал еще по журналу «Крокодил», например с Николаем Топузом, Семеном Кесельманом, безусловно ценил поэта



Взрывы в Одессе



Взрывы во время налета на Одессу. На переднем плане гора, обгоревшая от бомбы.





Гетманъ Украины П. Скоропадскій у дворца.



Незнакомец (Б. Флит). Шарж МАДа

и переводчика Александра Биска и др. Но главное, Незнакомец держал в поле зрения новое поколение поэтов, которое вопреки «мерзостям жизни» щедро выдавало дерзкие, явно талантливые, хотя еще и не всегда высокохудожественные опусы.

В эти годы появилось поэтическое объединение – кружок «Среда» на базе Литературно-художественного общества, который для молодых поэтов стал не только своеобразным приютом, но и их творческой мастерской. То же можно сказать и о вечерах кружка «Зеленая лампа», и о группе «Коллектив поэтов». На этих сценических площадках молодые дарования имели возможность презентовать новые стихи, дискутировать и утверждаться в «поэтическом пространстве». Чаще других здесь звучали имена Юрия Олеши, Эдуарда Багрицкого, Валентина Катаева, Зинаиды Шишовой, Анатолия Фиолетова. Также были известны стихи Бориса Бобовича, Георгия Долинова, Веры Инбер. В 1918 году в Одессе уже был известен Вениамин Бабаджан, поэт, художник, искусствовед, а также глава и душа издательства «Омфалос», оказавшегося столь важным в истории литературной жизни города. Они все были молоды, остроумны, считали себя сво-

Артисты на отдыхъ.



Иза Кремеръ на пляжъ въ Люстдорфъ.

бодными, мечтали и писали свои юношеские, иногда странные стихи. Конечно, вы обнаружите в них романтические надежды, тонкость переживаний, мечтательность «в сумерках возвышенной любви» и поиски «призраков дивных дней» «на парусах ушедших кораблей»... Об этом периоде много писали Сергей Луцки, Евгений Голубовский, Алена Яворская – отсылаем вас к их интереснейшим исследованиям.

Сейчас хочется просто вспомнить ранние публикации поэтов, почувствовать их «жажду пылкого цветения». Разные дарования, разные человеческие судьбы, а в те далекие годы они, может быть, могли бы вместе воскликнуть: «Мы в вольном беге торопим воды...».

ОДЕССКІЯ КАРТИНКИ.



Рубка населеніемъ ботаническаго сада.

Кошки.

Ал. Соколовскому.

Уже на крышѣ, за трубой,
Подъ благосклонною луною,
Онѣ собираются толпой,
Поднявъ хвосты свои трубою.
Гдѣ сладкимъ пахнетъ молокомъ,
И нѣжное бѣлѣтъ сало,
Свернувшись бархатнымъ клубкомъ,
Онѣ въ углу ворчатъ устало.
И возбужденныя жарой,
Онѣ пресыщены ѣдою,
Ихъ не тревожитъ запахъ твой,
Благословенное жаркое.
Какъ сладокъ имъ весенній жаръ
На кухнѣ, гдѣ плита пылаетъ,

И супа благовонный паръ
Такъ благостно благоухаетъ.
О черныхъ лѣстницъ тишина,
Чердакъ пропахнувшій мышами,
Гдѣ изъ разбитаго окна
Легко слѣдить за голубями,
Когда-жъ подъ домомъ стынетъ тишь,
Волной вечерняго угара,
Тогда скользя по краю крышъ
Влюбленные проходятъ пары.
Вѣдь ты, любовь, для всѣхъ одна,
Ты всѣхъ страстей нѣжнѣй и выше,
И благосклонная луна
Зоветъ ихъ на ночныя крыши.

Эд. Багрицкій.

Зарисовки для „Огоньковъ“ худ. С и и а в.



У воротъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
 съ перес. въ Россіи
 на 1 мѣс. 3 р., на 2 мѣс. 6 р.
 Переменная зарплата 50 к.

ОБЪЯВЛЕНІЯ: за мѣсто, занимае-
 мое строкою номерами на 24 стра-
 ницы обложки—2 р., на 24 стр.—1 р.,
 на 4-8 стр. 1 р. 50 к.

ОГОНЬКИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
 ѿ Ж. В. Н. ѿ П. Л. Б. Н. И. К. Б.

РЕДАКЦІЯ И КОМПОНА:
 Одесса, Ришельевская ул., № 2,
 телефонъ № 79-63.

Редакторъ принимаетъ по вторникамъ
 и четвергамъ съ 10—12 ч. утра.
 Секретарь редакціи принимаетъ еже-
 дневно съ 10—12 ч. утра.
 Рукописи не возвращаются.

№ 4. Суббота, 8 іюня (27 мая) 1918 года. № 4.

Перепечатка литературнаго, художественнаго и фотографическаго матеріала „Огоньковъ“ безъ указанія источника воспрещается. (Законъ 20 марта 1911 г.).

Агнеса.

Лишь только въ сумерки закроютъ
 двери
 И зреть моя солется съ полутьмой,
 Изъ синевы далекихъ повечерій
 Навьветъ въ мечтахъ старинный
 Кентербери.
 Засыпанъ бѣлой англійской зимой.

Я вижу Васъ, притихшая Агнеса,
 И розы платья Вашего цвѣтнутъ
 То въ церкви, гдѣ звенитъ простая
 месса,
 То у камина, гдѣ школяръ-повсю
 Въ скрипучемъ креслѣ учитъ
 скудный ш.

Я полною голосъ нѣжный и несмѣлый,
 Кашиановъ трескъ на золотыхъ
 дровахъ,
 Когда померкнетъ день оледенѣлый,—
 И вътью темнозеленую омеямъ
 Надъ очагомъ веселымъ Рождества.



Ворездъ Катроцени, въ которомъ происходятъ
 мирныя переговоры съ Румыніей.
 Вуадуръ королевы.

Вы плачете, Агнеса, Вы поете
 О юности фарфоровой,—какъ встарь,
 Мелькаютъ дни въ стремительномъ
 полетѣ:
 Надъ книгой сказокъ въ ветхохъ
 переплетѣхъ
 Весна качаетъ голубой фонарь...

Все тише пѣсня синихъ повечерій;
 Въ глухомъ синю сверкающей пурги
 Все призрачный старинный
 Кентербери.
 Блудничетъ ночь,—и у стекляннй
 двери
 Я слышу Ваши тихіе шаши.
 Семенъ Кесельманъ.

Историческіе моменты.



Подписаніе мирнаго договора въ Бухарестѣ.

Тріолетъ.

*Любовь течетъ, какъ тріолетъ,
Гдѣ надо,—строки повторяя,—
Разнообразная такая,
Любовь течетъ, какъ тріолетъ.
У каждой множество приметъ,
Какъ садъ, цвѣтя,—какъ иней, тая,
Любовь цвѣтетъ, какъ тріолетъ,
Гдѣ надо,—строки повторяя.*

Юрій Олеша.

Атлантида.

Когда гнететъ меня тяжелая обида,
И въ душу волнами ночные хлынуть сны,
Изъ блѣдной глуби водъ всплываетъ Атлантида, —
Блаженная страна предмирной тишины.

Къ звѣздамъ прозрачныя подъемля тихо башни,
Она скользитъ въ ночи, пока далекъ разсвѣтъ,
И, — призракъ дивныхъ дней, въ предвѣчности угасшихъ, —
Въ хрустальныхъ улицахъ клубится блѣдный свѣтъ.

И сонною тропой сойдя въ тотъ городъ странный,
Какія легкія мгновенья узнаю,
Когда нездѣшній лучъ, зеленый и туманный,
Какъ тучу дымную, пронижетъ скорбь мою.

Но звѣздные часы въ глухую бездну кануть, —
Отрада недолга въ странѣ полочныхъ водъ, —
И вотъ она дрожитъ, струится и цвѣтетъ
И блѣднымъ городомъ плыветъ по океану.

Семень Кесельманъ.

Художественная жизнь Одессы.

Въ связи съ общимъ развитіемъ самодѣятельности и инициативы въ Одессѣ, съ удовольствіемъ констатируемъ интересъ, который проявляетъ Одесса въ послѣднее время къ живописи и въ особенности къ живописи декоративной.

Будущій театральный сезонъ будетъ чрезвычайно обогащенъ этого рода искусствомъ. Расписываются цѣлые театры, въ которыхъ



Роспись театра. Фрагментъ панно главного зала „Карнавальное шествіе“.

художники имѣютъ, наконецъ, возможность проявить свои универсальные дарованія и ту гибкость и культуру, которая свойственна современнымъ дарованіямъ. Здѣсь художники выступаютъ въ качествѣ живописцевъ, декораторовъ, мебельщиковъ, обойщиковъ и чрезвычайно радостно увидѣтъ, наконецъ театръ снизу до верку раздѣланный по одному плану.

Много новаго и оригинальнаго было уже показано въ теченіи лѣтняго сезона, напр., фрески во дворѣ дома театра „Интермедія“; типъ украшенія невиданный еще ни въ одномъ

русскомъ городѣ, не исключая Петербурга и Москвы.

Большую энергію въ области новаго и об-



Роспись театра. Фрагментъ панно „Карнавальное шествіе“.

новленнаго для Одессы искусства, развиваетъ декоративное ателье „Пофъ“ художниковъ: В. Я. Предаевича, С. С. Олесевича и А. А. Фазини. Всѣ эти художники, объединенные молодостью и культурой, являютъ рѣдкое въ наше время единеніе вкусовъ и живописныхъ задачъ, что даетъ имъ возможность создавать прекрасные ансамбли, при чемъ каждый изъ нихъ сохраняетъ отличную отъ другого художественную индивидуальность.

Сейчасъ въ мастерской „Пофъ“ идетъ роспись театра шутокъ-кабаре „Ко всѣмъ чертямъ“, въ которомъ художниками исполняется рѣшительно все, начиная отъ колоссальныхъ панно, плафоновъ и кончая драпировками и абажурами для электрическихъ лампъ.

М. Г.



I. На скаль.

Мою любовь къ тебѣ самъ Богъ благословиль,
Вечерній, теплый бризъ лѣниво рябь катиль,
На темномъ берегу горѣль огонь веселый,
Какъ путеводный знакъ, замѣтный далеко,
И падающихъ звѣздъ свѣтящіяся пчелы.

II. Августъ.

На лоткахъ золотистыя груши
Наливаются сокомъ въ тѣни,
Все яснѣе, все тише и суше,
Все полнѣе прозрачные дни.

Слаще лепетъ желтѣющихъ листьевъ,
И у свѣтлой, любимой моей,
Паутинки волосъ золотистѣй,
И глаза – все темнѣй, все нѣжнѣй...

III. Безсонница.

Томится ночь предчувствіемъ грозы,
И тучи жгутъ со всѣхъ сторонъ зарницы.
Довольно-бы всего одной слезы,
Чтобъ напоить изсохшія рѣсницы.

Но воздухъ сухъ. Подушка горяча.
Подъ стукъ часовъ томится кровь тобою,
И томень жаръ раскрытаго плеча
Подъ воспаленною щекою.

IV. Ночь увяданья.

Ночь увяданья, ночь сомнѣнья
Была темна и глубока.
Отъ листьевъ тонко пахло тлѣньемъ,
И мокрой тиной – отъ песка.
Но, вѣя съ темныхъ побережій
Осеннимъ запахомъ земли,
Бѣжалъ по звѣздамъ вѣтеръ свѣжій
И звѣзды рдѣли и цвѣли.

Валентинъ Катаевъ.

На улицахъ Одессы.

Зарисовки съ натуры для „Огоньковъ“ худ. С. Кифля.



Очередь за хлѣбомъ.



Н а ш и п и с а т е л и н а о т д ы х ъ .

Спец. снимки фотог. „Огоньковъ“.



А. Кипень.



Сем. Юшковичъ и Х. Блякъ.



А. М. Федоровъ.



Академикъ Д. Н. Овсенико-Куликовскій.



М. Бунинъ.

Одесса въ данное время стала мѣстомъ, куда съѣзжаютъ на отдыхъ наши любимые популярныя писатели. За 16-я станціей, у монастыря, на дачѣ живетъ цѣлая литературная колонія. Здѣсь и краса и гордость современной литературы: академикъ Иванъ Бунинъ, и авторъ назубившаго „Бирючаго острова“ Ал. Кипень, и акад. Д. Н. Овсенико-Куликовскій, и популярный А. М. Федоровъ; здѣсь же и начинающая молодая писательница Л. Знойко.

Въѣздъ на Одской фотографіи снимка талантливый С. Юшковичъ и выдающийся еврейскій поэтъ Х. Блякъ.



Л. Знойко.

Старый домъ.

Ты помнишь надъ окномъ овальный щитъ герба..
Тетеревиный клювъ былъ остро загнуть книзу,
На лентѣ каменной истертая рѣзьба
Мѣшала прочитатъ кичливый текстъ девиза?
Ты помнишь за окномъ, въ растрепанномъ саду
Деревя четкія изъ темно-сѣрой ваты
Смотрѣвшаго на насъ изъ клѣтки какаду
И поцѣлуевъ вкусъ, слегка солоноватый.
Въ углу акваріумъ, въ которомъ ты отмыль
Слѣды отъ губъ моихъ, обведенные кровью,
И цѣловаль опять, и, кажется, остриль
Надъ нашей странной геральдической любовью.
Смотрѣли снизу изъ-за толстаго стекла
На насъ испуганныя маленькія рыбки,
И тѣнь какая-то на жизнь мою легла
Отъ странныхъ глазъ твоихъ и отъ твоей улыбки.

Зинаида Шишова.



Въ Петроградѣ.



Дамы высшаго общества, заняты уборкой казармъ красногвардейцевъ.

Четки.

Изъ цикла «Паутина».

Тринадцать четокъ на серебрянную нитку
Я нанизаль, взойдя на пламенный алтарь,
Я прикоснулся къ ядовитому напитку
И ядъ любви проникъ въ молитвенный янтарь.
Я заковаль свой четкій стихъ въ стальные ритмы,
Я строфы въ звучные аккорды претвориль,
Измыслиль звонкія, волнующія риѣмы
И ядъ молитвенной любви въ нихъ перелиль.
Она пришла ко мнѣ, любовь моя, нагая.
Пришла съ задумчиво-сіяющимъ вѣнцомъ
И осѣнила мою душу, восторгая
Глазами кроткими и матовымъ лицомъ.
Я нитку четокъ, освященную любовью
И окропленную росой тихихъ слезъ
Съ благоговѣйною молитвой голубою
Тебѣ, родная и любимая, принесъ.
Мои напѣвные стихи, четьи-минеи
Тебѣ читать я буду въ сумеркахъ густыхъ,
Заворожить и приколдуетъ, пламенѣя
Тебя ко мнѣ любовью выкованный стихъ.
Я утомлю тебя истомой страстной лѣни,
Навѣю сладостный, дурманящій покой
И обниму твои дрожащія колѣни
И буду гладить ихъ дрожащею рукой.

.....

Я покорю тебя душой своею гибкой,
Я возведу тебя на пламенный алтарь
И ты возьмешь мою серебрянную нитку
И поцѣлуешь мой молитвенный янтарь.

Георгій Долиновъ.



Усталость. П. Краснову.

Я усталъ, ничего не дѣлая,
 Отупѣлъ, непрерывно думая.
 Оттого и гляжу угрюмо я
 И душа, какъ страница бѣлая.
 Растерялъ я слова красивыя,
 Бьются мысли мои въ истерикѣ...
 Можетъ быть, мнѣ нужна Боливія?
 Можетъ счастье мое въ Америкѣ?
 Или въ знойныхъ пескахъ,
 подъ пальмою,
 Вновь верну я мечты узорныя
 И сумѣю унять печаль мою,
 Распустившую крылья черныя...
 Я теперь въ своей скучной спаленкѣ
 Жизнь аскета веду угрюмую,
 Поглощенный упорной думою:
 Почему я не умеръ – маленькимъ?..

Н. Топузъ.

Въ порту.

Хорошъ воскресный день въ порту, весной.
 Возня лебедекъ не терзаетъ слуха,
 На тепломъ камнѣ грѣется, какъ муха,
 Рабочій, оглушенный тишиной.

Я радуюсь тому, что я одна,
Что я не влюблена и не любима,
Что не боюсь я солнцемъ быть палима
И стать смуглѣй кофейнаго зерна;

Что я могу присѣсть легко на тюкъ;
Вдыхать неувимый запахъ чая,
Ни на одинъ вопросъ не отвѣчая,
Ничьихъ не пожимая нѣжно рукъ,

Что передъ сномъ смогу я тихо пѣть,
Потомъ сомкну, какъ дѣвственница, вѣжды,
И поутру нехитрыя одежды
Никто не помѣшаетъ мнѣ надѣть.

Вѣра Инберъ.

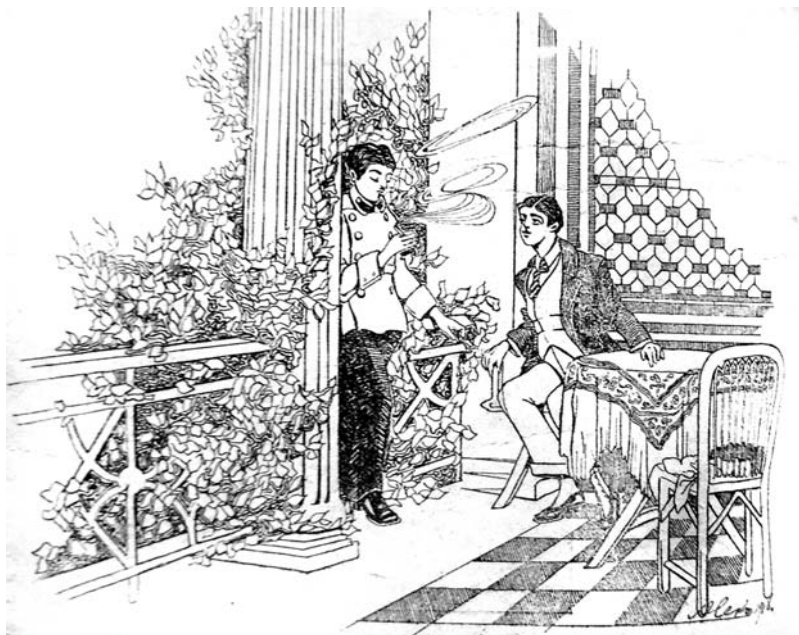
* * *

*Я каждый мигъ и каждый шорохъ
Благословляю и люблю...
Тону въ твоихъ вечернихъ зорахъ,
Испепеляю жизнь свою...*

*Горю, сжигаю безъ остатка
Души лазоревую нить...
О, какъ неповторимо сладко
Любить всегда и всѣхъ любить!*

Бор. Бобовичъ.





Въ сумерки.

Я люблю въ мягкихъ сумеркахъ съ синими ризами
Слушать тихую музыку... нѣжный рояль...
Чью-то скрипку съ руладами матово сизыми...
Подъ сурдинку... ноктюрнъ... менуэтъ... пастораль...

Я люблю въ моей комнатѣ съ красной лампадкою
Распахнуть настежь окна душистой весной
И сидѣть въ мягкихъ креслахъ съ раскрытой тетрадкою
И чертить чей-то профиль, любимый, родной...

Кто-то нѣжный и близкій играетъ за окнами,
Я вплетаю въ мелодіи нѣжность свою,

И мнѣ чудится: звуки, какъ-будто воллоками
Оплетають дрожащее слово: люблю.

.....

.....

Убаюканы сумерки матовой скрипкою,
А въ тетрадкѣ развернутой нѣтъ ничего...
Только профиль задумчивый съ грустной улыбкою.
Я кого-то люблю... но не знаю кого...

Георгій Долиновъ.

Послѣднія вѣнскія моды.



* * *

Когда вечерній чай съ вареньемъ въ теплыхъ булкахъ
И крѣпокъ и душисть – мнѣ любо вспоминать,
Какъ было хорошо въ приморскихъ переулкахъ
Въ оранжевой листьѣ шелковицу искать...
О, дѣтство давнее! О, краденя дыни
И капитанъ Майнъ-Ридъ, въ тѣ дни наивныхъ вѣрѣ, –
Когда на берегу, бродя по красной глинтѣ,
Я, замирая, ждалъ разбойничьихъ галерѣ...
И такъ прошли года, овѣянные пылью
Да запахомъ садовъ, легки, какъ дальній звонъ,
Чтобы всплывать во снѣ неуловимой былью,
Изъ розовой страны, гдѣ яркій сбился сонъ...

Юрій Олеша.

Христофоръ Колумбъ. (Отрывокъ).

Надоѣли тяжелыя книги, –
Выйти къ морю, слѣдить корабли,
Какъ слѣдятъ уходящія миги –
Каравеллы французской земли
И Фламандіи грузные бриги.
И въ порту, разглядѣвши впервые
Три высокихъ и легкихъ судна
Для веселаго сердца святяга
На бортахъ прочитатъ имена:
«Nina», «Pinta» и «Santa-Maria».
Гдѣ восходитъ холодная Веста,
И сіяетъ изогнутый молъ, –
У воды, на канатѣ, усѣсться,
Разглядѣвъ адмиральскій камзолъ
Под широкимъ плащемъ генуэзца.

Увидать, какъ по сходимъ проходить,
Наклоняясь немного къ водѣ,
Какъ рукой желтоватой проводить
По пушистой своей бородѣ,
Заостренной по англійской модѣ...

Зинаида Шишова.

Покаяніе.

Господь, прости, что искушаю
Тебя въ земномъ моемъ бреду,
И, вольный, счастья избѣгаю,
И одиноко счастья жду.

Прости, Господь, мои моленья
И - на горахъ! о волѣ сны,
И жажду пылкаго цвѣтеня
Среди взволнованной весны!

Господь, я знаю, Ты желаннымъ
Меня сіянемъ окропилъ
И ко вратамъ обѣтованнымъ
Мой свѣтлый путь благословилъ.

Прости-жь и то, что въ часъ блаженный
Я стягъ мой мимо пронесу
И разроняю дерзновенно
Твою священную росу:

Затѣмъ, Господь, что лишь намеки,
И ожиданія, и сны
И путь безмѣрный и далекій
Душѣ тревожной суждены.

Александръ Бискъ.

Двѣ розы.

Мнѣ жаль тебя, невянущій цвѣтокъ,
Что ты расцвѣлъ на проволочной вѣткѣ.
Душистый вѣнчикъ медленно поблекъ
Въ холодной вазѣ у твоей сосѣдки.

Но, отцвѣтая, помнила она
Ту блѣдную зарю, когда неслышно
Серебрянной росой окроплена
Она впервые распустилась пышно.

И помнила, роняя лепестки,
Немногихъ дней любовную усладу,
По вечерамъ усталую прохладу,
Часы покоя, нѣги и тоски.

А ты цвѣтешь въ углу, не отцвѣтая,
И жизнь твоя – безрадостная быль.
Твоя корона, огненно-пустая,
Росы не зная, собираетъ пыль.

Веніаминъ Бабаджанъ.

Вчера.

Вчера прибой у черныхъ скалъ дымился,
И звѣзды тлѣли въ пеплѣ облаковъ,
Я такъ давно любовью не томился,
А такъ давно во мнѣ поетъ любовь!
Звенятъ въ церквахъ. И надъ сосѣдней крышей
Заря чиста, огниста и свѣтла.
Я такъ давно колоколовъ не слышалъ,
А такъ давно поютъ колокола!

Валентинъ Катаевъ.

Зарис. съ натуры для „Огоньковъ“
худ. Алеко.



**Австрійскій сторожевой постъ на Николаевской
дорогѣ вблизи города.**

Сонетъ.

Когда холодный вѣтеръ утомится,
И въ море штиль прольется, какъ елей
На парусахъ ушедшихъ кораблей
Заря тепло и нѣжно золотится.

Любовь уйдетъ, - но въ прошломъ загорится
А прошлое чѣмъ дальше, тѣмъ милѣй,
Въ безплотныхъ снахъ, въ истокахъ давнихъ дней
Оно свѣтло и долго отразится.

Блаженны тѣ, кто видитъ эти сны,
Чьи дни текутъ, легко отражены,
Въ ихъ глубинѣ холодной и бездонной!

Лучи скользятъ по ласковомъ стеклѣ.
Но сладости любви неутоленной
Мнѣ не дано постигнуть на землѣ.

Валентинъ Катаевъ.

Зарис. съ натуры для „Огоньковъ“ худ. Скиоа.



Блюстители порядка.

* * *

Я сладко изнемогъ отъ тишины и сновъ,
Отъ скуки медленной и пѣсенъ неумѣлыхъ.
Мнѣ любы пѣтухи на полотенцахъ бѣлыхъ
И копотъ древняя суровыхъ образовъ.
Подъ жаркій шорохъ мухъ проходитъ день за днемъ,
Благочестивѣйшимъ исполненный смиреньемъ,
Бормочетъ перепелъ подъ низкимъ потолкомъ,
Да пахнетъ въ праздники малиновымъ вареньемъ.
А по почамъ томить гусиный нѣжный пухъ,
Лампада душная мучительно мигаетъ,
И шею вытянувъ протяжно запѣваетъ
На полотенцѣ вышитый пѣтухъ.
Такъ мнѣ о Господи, тут скромный далъ пріютъ,
Подъ кровомъ благостнымъ, незнающимъ волненья.
Гдѣ дни тяжелые, какъ съ ложечки варенье
Густыми каплями текутъ, текутъ, текутъ.

Э. Багрицкій.



Путешествие

324 Евгений Деменок
«Сын великого Моцарта, похожий на него
внешностью и нравом»

Евгений Деменок

«Сын великого Моцарта, похожий на него внешностью и нравом»

О Франце Ксавере Вольфганге Моцарте

Окна нашей пражской квартиры выходят на знаменитую виллу Бертрамка. Знаменита она в первую очередь тем, что именно здесь, в гостях у своих друзей Франтишека Ксавера и Жозефины Душковых, Моцарт написал увертюру к опере «Дон Жуан» – чуть ли не за несколько часов до генеральной репетиции и за день до премьеры, которая состоялась в пражском Сословном – тогда Ностицком – театре 29 октября 1787 года. Театр сохранился до сих пор, и, купив билеты на «Волшебную флейту» или того же «Дон Жуана», можно усесться поудобнее в кресле, и, закрыв глаза, представить, что вы находитесь на премьере, а за дирижерским пультом – сам композитор.

Там же, на вилле Бертрамка, Моцарт работал над оперой «Милосердие Тита», заказанной ему по случаю коронации Леопольда II чешским королем, – премьеры ее состоялась в том же Ностицком театре 6 сентября 1791 года. На Бертрамке написал он и некоторые части из «Волшебной флейты». А еще – концертную арию для Жозефины Душковой, «*Bella mia fiamma, addio*». С ней связана забавная легенда – якобы Жозефина так хотела, чтобы Моцарт написал для нее арию, что заперла его в садовом домике, дав при этом все необходимое, и гений «в отместку» написал арию весьма сложную, поставив при этом условие – Жозефина должна была спеть ее с листа, иначе он немедленно уничтожит ноты. Судя по тому, что партитура существует и сегодня, Жозефина с заданием справилась.

Моцарта в Праге любят и ценят. Так было всегда – он сам уже в первый свой приезд удивлялся тому, что в Праге «Свадьба Фигаро» гораздо популярнее, чем в Вене. «Мои пражане меня по-

нимают», – сказал он после премьеры «Дон Жуана». Прага стала единственным городом, который достойно простился с великим, величайшим композитором. Это произошло 14 декабря 1791 года. Полчаса звонили по Моцарту пражские колокола, и в соборе Святого Микулаша на Малой Стране отслужили заупокойную мессу, на которую пришли четыре тысячи пражан. Двенадцать студентов стояли со свечами в почетном карауле у символического катафалка. Партию сопрано в «Реквиеме» Антонио Росетти пела Жозефина Душкова, а всего в исполнении «Реквиема» было задействовано тогда сто двадцать певцов и музыкантов...

Улица, на которой находится Бертрамка, носит сейчас имя Моцарта. Рядом с ней – улица Душкова.

Все это факты общеизвестные.

А вот о том, что на этой самой вилле, где Моцарт гостил и в 1791 году, за несколько месяцев до смерти, жили потом его сыновья, знают не многие.

Карл Томас и Франц Ксавер Вольфганг были двумя из шести доживших до совершеннолетия детей Вольфганга Амадея и Констанции Моцарт. Карл Томас был старшим – к моменту смерти отца ему было уже семь лет. И Констанция оставила его в Праге на попечении Душковых, заботившихся о нем, как о родном сыне. Он прожил в Праге около пяти лет, проводя много времени на вилле Бертрамка. Учился игре на фортепиано – и у Душека, и у прекрасного педагога Франца Ксавера Нимечека, написавшего первую биографию Моцарта. По настоянию матери в 1797 году Карл Томас уехал из Праги в Ливорно, учиться и работать в коммерческой фирме – она решила, что по стопам отца должен пойти лишь младший сын Франц Ксавер; она даже называла его после смерти мужа Вольфгангом Амадеем. Карл Томас попытался было открыть магазин по торговле фортепиано, но прогорел. Музыка продолжала его привлекать, и, по рекомендации Йозефа Гайдна переехав в 1805 году в Милан, он стал брать уроки у дирижера, композитора, директора Королевской консерватории Бонифацио Азиоли. Но к 1810 году понял, что значительным талантом не обладает, прожить музыкой не сможет, и ограничился лишь преподаванием игры на фортепиано, а потом занялся бухгалтерией. Страстный хранитель памяти отца, на протяжении всей



Вилла Бертрамка в Праге

своей жизни он часто участвовал в представлениях его произведений, в торжествах и концертах в его честь, в открытии памятников Моцарту. Когда 31 октября 1858 года Карла Томаса нашли мертвым в его миланском доме – он не был женат, а единственная дочь умерла в десятилетнем возрасте, – в руках он держал золотой футляр с портретом отца.

Даже небольшому побегу сложно вырасти в тени гигантского дерева.

Интересно, что в своем завещании Карл Томас особо подчеркнул, чтобы его «труп, свободно помещенному и не закрытому в комнате, было разрешено оставаться в доме на все время, разрешенное правилами, и не быть похороненным до явных признаков последовавшей за этим несомненной смерти». Мнение о том, что его великого отца похоронили в спешке, было широко распространено, и это породило подозрения в том, что тот был похоронен еще живым...

Франц Ксавер отца помнить не мог – к моменту смерти Моцарта ему было всего пять месяцев. В 1795 году мальчик приезжает в Прагу и берет первые уроки музыки – все у тех же Душека и Нимечека. Именно в Праге Констанция Моцарт начинает серию концертов памяти мужа, и Франц Ксавер выступает на одном из них в качестве солиста. После возвращения в Вену он получает блестящее музыкальное образование – его учителями были Антонио Сальери (да-да!) и Иоганн Непомук Гуммель, а композицию он изучал у Иоганна Георга Альбрехтсбергера (учителя Бетховена) и Сигизмунда фон Нейкома (позже фон Нейком реконструирует «Реквием» Моцарта на основе автографов композитора и имевшихся у него набросков Франца Ксавера Зюсмайера и Йозефа Леопольда Эйблера – кстати, именно в честь Зюсмайера Моцарт назвал младшего сына).

Констанция не скупится на учителей – младший сын должен был стать достойным продолжателем музыкальной династии. Он учится играть не только на фортепиано, но и на скрипке, гастролирует под именем Вольфганга Амадея Моцарта-младшего, рано начинает сочинять – уже в одиннадцать лет публикует свой первый фортепианный квартет. И... комплексует, занимается самоуничижением, понимая, что все им сочиненное будет неизбежно сравниваться с произведениями отца.

С 1808 года он занимается преподаванием, уехав в захолустье тогдашней Австрийской империи – Галицию. Возможно, решение переехать (или бежать?) в провинцию было продиктовано не столько необходимостью заработка, но и желанием скрыться на время от столичной публики, от неизбежных сплетен и сравнений. Почти тридцать лет прожил он в Лемберге-Львове и его окрестностях – Подкамене, Бурштыне, – работая учителем фортепиано в семьях Баворовских, Янишеских, Чарторыйских, Сапег. Во Львове Франц Ксавер много выступает, дает концерты памяти отца, в апреле 1826 года создает музыкальное братство Святой Цецилии – хор, состоявший из сорока певцов-любителей, по сути, первую во Львове музыкальную школу. Хор этот выступает 5 декабря 1826 года в греко-католическом соборе Святого Юра во время мемориального концерта по случаю тридцатипятилетия смерти Вольфганга Амадея Моцарта; сам Франц Ксавер

дирижирует «Реквиемом». В следующем, 1827 году, «Cäcilien-Verein» дает концерты в честь Бетховена и снова в честь Моцарта-старшего. В Лемберге в то время живет композитор и дирижер Иоганн Георг Антон Медерич – он дает Францу Ксаверу уроки контрапункта. Дружба их продлится до самой смерти Медерича в 1835 году; Моцарт-младший оплатит его похороны, а тот завещает свои произведения Моцартеуму.

Франц Ксавер много гастролит, причем не только в Европе. Он выступает в Москве, Житомире и Киеве, но каждый раз возвращается во Львов, где его ждет мать его ученицы, графиня Жозефина Барони-Кавалькабо, урожденная Кастильони, его единственная любовь, бывшая замужем за Людвигом Каэтаном Барони-Кавалькабо и к моменту знакомства с Францем Ксавером имевшая уже троих детей. Моцарт-младший долго скрывал свои чувства, а когда открылся, оказалось, что они взаимны. Тем не менее Жозефина сохранила верность своему мужу, и Франц Ксавер становится их семейным музыкантом, фактически членом семьи – он живет с 1822 года в их доме, учит обеих дочерей, Жюли и Лауру, там же дает концерты. Вместе с Жозефиной и Жюли они путешествуют – в 1835-м едут в Дрезден, Лейпциг, где общаются с Шуманом; в Карлсбад, Зальцбург и Вену; в 1837-м – снова в Карлсбад и затем в Вену. Жозефина помогает ему во всем – на долгие годы становится его меценатом, соучредителем братства Святой Цецилии, а много лет спустя, узнав о его болезни, примчится к нему в Карлсбад, чтобы быть рядом в последние дни.

А Жюли, в замужестве фон Вебенау, становится его любимой ученицей. Она была одной из немногих женщин-композиторов, ставших известными, – даже Шуман, друживший с Моцартом-младшим и сказавший как-то, что имена всех женщин-композиторов можно легко написать на лепестке розы, признавал ее талант и посвятил ей «Юмореску». Собственно говоря, именно ее замужество и переезд в 1838 году в Вену стал побудительным мотивом для переезда туда же ее родителей и вместе с ними Франца Ксавера. Он и в столице продолжает жить в их доме, преподает, организует домашние концерты, а когда все же переезжает, то селится на той же улице. Много концертирует как пианист и скрипач, в декабре 1841-го выступает как композитор







Фортепиано, на котором играл Моцарт. Вилла Бертрамка

и пианист на мемориальном мероприятии в честь своего отца в Вене. В том же году в Зальцбурге открылся Моцартеум, и Франц Ксавер был назначен его почетным капельмейстером.

В сентябре 1942 года в Зальцбурге торжественно открывают памятник Вольфгангу Амадею Моцарту, и Франц Ксавер выступает на торжествах – как композитор, пианист и дирижер. На мемориальных концертах памяти отца он будет выступать еще несколько раз. В последние годы жизни главным его учеником станет впоследствии прославившийся Эрнст Пауэр. Именно Пауэр поедет в июне 1844 года со своим учителем в Карлсбад –

в последнюю в жизни Франца Ксавера поездку. 29 июля около девяти часов вечера Франц Ксавер Вольфганг Моцарт умер от рака желудка – так же, как за пятьдесят семь лет до этого его дед, Иоганн Георг Леопольд. Но, в отличие от деда и отца, мы точно знаем, где похоронен Моцарт-младший, тот, на ком завершилась династия великих музыкантов. Его похороны и памятник оплатила Жозефина Кавалькабо; она и стала единственной его правопреемницей – Франц Ксавер завещал ей все свое имущество, в том числе рукописи и личные вещи отца, которые она согласно его воле передала в Моцартеум.

С тех пор как я узнал о том, что Франц Ксавер Вольфганг Моцарт, живший одно время напротив нашего сегодняшнего дома, похоронен в Карловых Варах, целью ближайшей поездки туда стало посещение его могилы. Наконец это случилось. Мы приехали в Карловы Вары в дождливый октябрьский день и почти сразу же поехали в парк Моцарта – закрытое еще в 1911 году старое кладбище рядом со старейшим в городе костелом Святого Андрея. Из сохранившихся двух с небольшим десятков надгробий только надгробие Моцарта-младшего находится в порядке. Надпись на нем гласит:

«Вольфганг Амадей Моцарт. Музыкант и композитор. Сын великого Моцарта, похожий на него внешностью и нравом. Имя его отца может быть его эпитафией, поскольку почитание его было содержанием его жизни».

Старое кладбище стало парком в 1913 году и вскоре было названо именем Моцарта. Оттуда открывается прекрасный вид на город, который буквально лежит под ногами, но вокруг царит удивительная, ничем не нарушаемая тишина. Здесь нет туристов, приезжающих на венское кладбище Святого Марка, и тем более нет толп, бродящих по зальцбургским местам Моцарта. Да и произведения Франца Ксавера Вольфганга Моцарта давно забыты, причем совершенно незаслуженно. Да, его творчество вряд ли воспринималось серьезно на фоне творчества отца. Но он писал вполне профессиональную музыку, которая всецело может быть включена в серьезные концертные программы. Например, только за время жизни во Львове он написал фортепианные миниатюры, циклы вариаций, хоровые кантаты, самой популярной из ко-



Могила Франца Ксавера Вольфганга Моцарта в Карловых Варах

торых стала «Первый весенний день», несколько фортепианных концертов, среди которых была вершина его творчества, Второй концерт для фортепиано с оркестром, и даже вариацию ре-минор на песню «У сусіда біла хата». Похоже, однако, что внутренние сомнения в собственном даровании терзали его со временем все больше и больше – с 1828 по 1839 он ничего не сочинял.

Жалел ли он о том, что занялся тем же делом, в котором проявил свое величие его отец? Пожалуй, да. Мог ли он прожить без музыки? Точно нет.

Австрийский поэт Франц Грильпарцер, узнав о его смерти, написал стихотворный некролог (привожу его в переводе Ларисы Кирилиной):

Ты наконец ушел в те дали,
куда извечно был влеком,
и где парит, презрев печали,
отец твой Зевсовым орлом.

Чужды суждениям капризным
тоску познавшие сердца:
ты рос печальным кипарисом
над гробом своего отца.

Тщеславным нет иной забавы,
чем предков исчислять дела;
но имени отцова слава
твой дар в сомненьях извела.

Владея творчества секретом,
ты сам полет свой пресекал:
«А что б отец сказал на это?» –
ты вопрошал и весь сникал.

Твоих талантливых творений
иным хватило бы с лихвой,
но ты обрек исчезновенью
все, недостойное Его.

И вот столь преданному сыну
раскрыл объятия Отец:
над головой обоих ныне
горит бессмертия венец.

То имя, что тебя терзало,
преобразилось в дар благой
и в мощной славе зазвучало
над Зальцбургом – и над тобой.

И пусть замрет толпа людская,
благоговевя и скорбя,
и имя «Моцарт» повторяя,
помянет также и тебя.

Когда будете в Карловых Варах, зайдите к Францу Ксаверу
Вольфгангу Моцарту. Уверен, ему это будет приятно.

Ах, Одесса

- 334 **Феликс Кохрихт**
И снится чудный сон Татьяне...
- 338 **Григорий Барац**
Первая любовь Толясика
- 355 **Елена Палашек**
Любимый хозяин
- 359 **Алла Голованова**
Из жизни муз

Феликс Кохрихт

И снится чудный сон Татьяне...

В нашем городе, где Пушкин – наше всё, зачин одной из знаковых глав романа в стихах «Евгений Онегин» настраивает читателей на таинственный, пожалуй, и мистический лад.

И хотя речь пойдет не о Лариной, а Тане Вербицкой – кстати, и она по происхождению дворянка, эта пушкинская строка представляется мне уместной при пересказе снов, которые довелось и ей, и мне испытать зимой прошлого и начала нынешнего года, когда приходилось выбиратья из ковида.

Сегодня, в марте 2021, когда должен выйти 84 номер альманаха, надеюсь, ситуация изменилась к лучшему, и наши смятенные и порой испуганные чувства могут по весне показаться чрезмерными... Если так, то и лучше.

Добавлю, что не мню себя ни Онегиным и ни Греминым, но и герой повести «Капитанская дочка» Петр Гринев тоже видел вещей сон, в котором ему привиделся Емельян Пугачев... Но, по правде говоря, мне ближе эльф Горчица из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Считаю необходимым предположить, что коннотация «чудный» применительно ко сну Татьяны означает не «какой хорошенький!», а принадлежность этих сновидений к чудесам...

Я, Феликс Кохрихт, сын Давида,
Татьяна – дочка Диомида,
Под этот самый Новый год
На пару вышли из ковида
В ответ на дружеский привет,
На пожеланья-поздравленья –

Сумбурный мир ковидных грез,
Температурные виденья.

31 декабря 2020

Пошли первые сутки с момента возвращения Тани домой
из инфекционной больницы.

...Роняет год багряный свой убор...
«Убор зловещий...» – шепчет странник вещей...
И мозг, подсевший на Волну, поспешно собирает вещи.
Решает, что мы Здесь оставим,
а что возьмем Туда с собой.
Туда, туда, где нету счастья,
а есть примат народовластья,
А значит – воля и покой, и все должно быть под рукой.
И по сценарию ковида мы с простодушием Кандида
слегка меняем интерьер.
Для постмодерна в пандемию Мольер –
вполне себе пример.
...Глядим: на улицах Мадрида танцует с Гойей Модельер.
Была бы рифма хороша, но он –
любитель антраша, все наряжает Балерину...
И мы несемся над Берлином,
где злые ковид-диссиденты
Приносят фрау Канцлерин пренеприятные моменты...
Над обезлюдевшим Ламаншем
мы дальнбойщикам помашем...
Казалось – торная дорога, но все же мучит нас тревога...
А вдруг как Цукерберг задумал
(Фейсбук не врет, само собой) –
Возьмет однажды и случится тот самый, блин,
системный сбой.
Свернется вдруг пространство-время,
и в нем застрянем мы с тобой...
А дома уж томится кошка: мы утром обещали ей,
что улетаем понарошку...
Пора вернуться нам домой: летим над темною водой.

И вот уже рассеян мрак, и красным глазом
нас встречает всем помогающий маяк.

Кудрявый Пушкин, томный Дюк
и с «Тигра» поднятая пушка –

То безопасности подушка.
Уверен – все наверняка сменяют Крысу на Быка.
Ему поверим мы. Пока.
У нас не будет оливье, и я неважный сомелье,
Но в узком-узком междудомье моргает море,
блик залетный крадется робко по стене.
И столько света, что в окне...

Прошло всего два жизни года –
И нет того уж небосвода.
Но Тютчев и Конфуций – живы,
И нет другой альтернативы.

В ночь на Рождество, 7 января 2021

На Тютчеве схлестнулись мы...

Напомню, что тогда, беспечно пребывая в Вене,
Мы, словно на имперской сцене, в кафе,
Чье имя «Захер», услышанное в первый раз,
Душе простой сулит стремленье немедленно уйти в отказ...
В то день послал нам Рок китайца...
Ах, рифма, что ты делаешь со мной!
Но вспомнил Дюрерова Зайца и укротил системный сбой...
То был профессор из Уханя по имени, представьте, Луй.
Но я прикрикнул: «Не балуй!» – и тот в ответ:
«Зови меня сегодня Ваня».
На Тютчеве схлестнулись мы:
На том, блажен ли тот, кто вот, как мы, живет
В минуты мира роковые.
«У нас есть тоже всеблагие, но, блин, они совсем иные», –
свой тезис Ваня закрепил, ликером «Моцартом» запил.

«Вот, скажем, наш Отец-Конфуций,
он против битв и революций».
Я был тогда турист нахальный,
Шенген мне голову вскружил,
И я потратил много сил, и, словно Тютчев благородный,
в воображенье воспарил...
Но столь упрямого китайца ни так, ни сяк не убедил.

Прошло всего-то два-то года...

....Прошло всего-то два-то года с тех, в общем-то,
беспечных пор,
И, кажется, сама природа
вмешалась в наш кофейный спор.
И я при остром интересе сижу в локдауне в Одессе,
Где, хорохорясь, чуть для вида, недавно выполз из ковида.
Уверен, что профессор Луй –
известный в мире вирусолог...
И тут мой ослабевший мозг на время опускает полог...
И снится мне, что из Уханя рукою машет просто Ваня.
И вещий голос говорит – надеюсь, Таня подтвердит:
«Мол, вирус улетит на Марс и там скончается на раз
От очень жестких излучений...»
И в этом – никаких сомнений.
На то из горних сих высот придет благое извещение*.
И Тютчев воспарит на пир, и улыбнется нам Конфуций...
И на Земле наступит мир аннексий без и контрибуций!

* В ночь на Рождество, 7 января, поступило первое извещение: «Как только зныщимо мы вирус, в Одессу к нам вернется чирус».

Григорий Барац

Первая любовь Толясика

Рассказ

Памяти моего друга детства, капитана дальнего плавания Анатолия Викторовича Нечаева.

Небо над крышей нашего трехэтажного дома было прямоугольным. Окаймляли его желоба ливневок трех флигелей, выстроенных буквой «П». Двери квартир внутри дворовых флигелей выходили на открытые галереи, что вызывало зависть пацанов фасадного флигеля, квартиры которого находились за закрытой глухой стеной лестничной клетки, запирающейся на ночь. Знойными летними вечерами галереи заполнялись раскладушками, на которых веселилась до полуночи вся дворовая детвора. Ночью, когда засыпали предки, можно было смотреть хоть до рассвета.

Первыми засыпали Нечаевы – семья Толясика, так называли в доме моего липшего кореша, Толика Нечаева. Нечаевым завидовал весь третий этаж. Их квартира была единственной на этаже «собственной». Все остальные квартиры были коммунальными.

Ложились Нечаевы рано, но и просыпались раньше всех. Бабушка Валя, грузная грудастая круглолицая крашенная блондинка с налитыми кровью глазами, вставала первой, чтобы успеть занять бельевые веревки. Обычно ей это удавалось. Но когда кто-либо опережал ее, скандал, на развлечение всем соседям, был обеспечен.

Окно кухни нечаевской квартиры, так же, как и дверь, выходило на галерею. Сквозь него было видно, как дядя Витя и тетя Таня – папа и мама Толясика – пили чай из поллитровых белых кружек. Возвращались Нечаевы поздно, особенно в конце месяца, – зарабатывали на сверхурочных.

Из моей квартиры, замыкавшей галерею, еще долго слышались приглушенные звуки пианино и швейной машинки. Этот дуэт исполняли мама, служащая концертмейстером в театре, и бабушка на ножном «Зингере», одевавшая местных дам в лифчики и бюстгалтеры. Как умудрялись спать под этот аккомпанемент мой папа и дед, мы гадали с Толястиком до полуночи, пока все не стихало.

Наши раскладушки стояли рядом, там, где галерея обрывалась крутой металлической лестницей. Поворочавшись и прислушиваясь, чтобы убедиться, что все спят и никто за нами не увяжется, с осторожностью следопыта, держа кеды в руках, спустились во двор. Пригнувшись под окна дворничихи бабы Зины, выходявшие в подъезд, пробрались на улицу.

Свет тусклых фонарей, висящих над булыжной мостовой, едва проникал между густой листвой софоры. Мелкие бело-желтые ее цветочки, похожие на акацию, густо засыпали базальтовые плиты, уложенные по четыре в ряд посреди тротуара.

Плиты, впитавшие в себя все солнце жаркого августовского дня, не успели остыть. Зато небольшие камни прибрежного ракушняка, хаотично уложенного по обеим сторонам плит, между которых густо пробивалась трава, были прохладны и ласково щекотали наши босые ноги.

Наши видавшие виды кеды, китайские спортивные ботинки из брезента и резиновой подошвы, спаренные шнурками, болтались на плече. Давненько купленные в магазине «Динамо» за деньги, полученные от продажи бычков и ставриды, они были предметом нашей гордости. Большинство пацанов обходились спортивными тапочками, которые часто летели во вратаря вслед за мячом.

От Треугольного до Щепного переулка по Базарной двести шагов, можно не проверять, еще пятьдесят до Тираспольской – границы центра и Молдаванки. Здесь было еще темнее. Местные пограничные пацаны с обеих сторон били из рогаток по лампочкам. Это была ничейная территория. Заходить сюда, а тем более на чужую территорию, было стремно, особенно вечером, когда жаждущие приключений стайки шныряли по улицам и дворам.

На этом пересечении шести дорог: Малой и Большой Арнаутской, Тираспольской, Прохоровской, Колонтаевской и Старопортофранковской, где пересаживался с трамвая на трамвай рабочий люд с Молдаванки,

Пересыпи, Черемушек и других одесских окраин, грех было не сделать торговый проходняк. Здесь смешались запахи прокисшего кваса и прогорклого пива, тарани, чебуреков, бочковой квашеной капусты и полевых помидор, сливы-венгерки и дыни-цыганочки, неженских огурчиков и херсонского арбуза.

Арбузные и дынные корки, абрикосовые и сливовые косточки вперемежку с объедками переполняли жестяные урны и выстраивались кучками вдоль бордюра со стороны мостовой в ожидании утренней метлы бабы Зины, будившей округу отборным матом в адрес погрязшего в дерьме человечества.

Оживала торговля только утром, когда полуторка, тащившая за собой гирлянду бочек с пивом, оставляла крайнюю на углу, у дома, где висел парфюмерный автомат, который за пятнадцать копеек, вброшенных в щелку, несколько раз пшикал в лицо «Шипром». Дом этот принадлежал одному из пивных королей Одессы Рудольфу Кемпе. Жену его, чей профиль изображен на медальонах под крышей, звали Матильдой. По иронии судьбы так же звали продавщицу бочкового пива. Она была, пожалуй, единственной постоянной торговкой на улице, остальные – сезонные. Потому и командовала ими, как дембель салагами, – добродушно-покровительственно.

Сезонницы, женщины-пенсионерки в белых войлочных шляпах, с брезентовыми сумками на животах, сидели на деревянных табуретах рядом с весами «уточками», периодически выкрикивая: «Овощ, фрукта!». Ящики с развесным товаром находились внутри клетки из стальных прутьев толщиной в указательный палец. Вес клетки был настолько внушительным, что даже четверо дюжих мужиков не могли ее поднять. Но днища они почему-то не имели. Скорее из-за жадности, чем из-за беспечности.

Пора было надевать кеды – босиком быстро не побежишь. Сердца наши колотились так, что, казалось, разбудят спящую улицу. Мы впервые шли на дело, заранее планируя и готовясь к нему. Клетки, доверху наполненные полосатыми астраханцами, стояли в ряд вдоль тротуара, как будки для часового. Первой от угла, под тусклым желтым светом единственной на перекрестке горящей лампочки, стояла клеть с неприглядными на вид темными арбузными шарами почти правильной формы, но самыми сладкими и тонкокожими.

– Пуляй первым, – шепотом предложил я Толясику. Он был признанным лучшим стрелком из рогатки нашего хутора.

Первым выстрелом Толястик попал в металлический абажур, который словно вскрикнул от неожиданности своим железным дребезжащим голосом, расплывшимся по ночным улицам и переулкам. Зажглись несколько окон дома с противоположной стороны улицы. Мы вжались в стену затаив дыхание и, запрокинув головы, смотрели лишь на балкон под чердачным слуховым окном в виде шалаша.

Что послужило основанием назвать эту доморощенную конструкцию «Домом фараона», а его хозяина Фараонычем, можно было только догадываться: сходство чердачной самопальной надстройки с пирамидой Хеопса, отчество хозяина квартиры Ферапонтович или, скорее, его служба в милиции. По слухам, участковый Мирон Ферапонтович Сивый раньше плавал. Прошел портофлот, каботаж, ходил в загранку. Как и все моряки, привозил всякое шмутье и продавал его на толкучке. Рулон болоньевой ткани, которая была тогда в цене, продал цеховикам, которых ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности) давно пас.

На допросах цеховики дружно его сдали. Сивому закрыли визу. На полгода он запил. И спился бы, если б не Фрима Абрамовна – заведующая буфетом в бане на Провиантской, где отягивались после парной и харчевались менты и бандиты. Она отмыла, отутюжила и откормила мужика. Якобы для того, чтобы не засветить фамилию, хотела оформить «фиктивный» брак. Но через пару месяцев забеременела. Сивый женился и не только остался на своей фамилии, но и Фрима Нахманович стала Сивая. От перемены фамилии навыки не потеряла. Дала на лапу начальнику ментовского райотдела и пристроила мужа участковым.

Свет в окне у Фараоныча не зажегся. Погасли и окна проснувшихся от выстрела жильцов.

– Мазила, – выдохнул я.

Не ответив, Толястик сунул мне в руку рогатку.

– Может, не надо? Шума много, толку мало. Да и без нее ни черта видно не будет, – прошептал я, скрывая за словами свою неуверенность.

Толястик отобрал рогатку, сунул ее за пояс и утвердительно спросил:

– Что, забздел?!

– Промажу все равно, – оправдывался я. – Еще больше шума наделаю.

– Тогда пошли, только тихо, – и Толястик, взяв меня за руку, нырнул в темноту.

Несколько дней мы с Толястиком разрабатывали план ограбления. Идея была его. Недалеко от клетки с арбузами стояла прямоугольная урна из толстых листов железа. Второй приспособой в деле была оглобля. Она лежала за задней стенкой клетки, на мостовой вдоль бордюра. Принадлежала биндюжнику Ицьку, пожилому еврею-инвалиду.

Несмотря на то, что дороги все больше наполнялись не только довоенными полуторками, но и ГАЗами, ЗИЛами и другими грузовиками, биндюги – вместительные площадки на конной тяге – еще были востребованы. Особенно летом и осенью, когда ежедневно с пригородных полей нужно было развезти фрукты и овощи в разные точки города небольшими партиями.

Ранен был Ицьк 7 апреля, за три дня до освобождения Одессы. Боец конно-механизированной группы генерала Плиева, он освобождал Беляевку, Маяки, и уже у выхода к Днестровскому лиману осколок снаряда перебил ему ногу почти у самого бедра. Фронтовые хирурги уже готовились отрезать ее, когда замполит госпиталя распорядился наложить гипс, сказав: «А кто за него работать будет?». Кость срослась, но неправильно, и нога стала сантиметров на десять короче.

В доме, где на первом этаже, в квартирке на одно окно, выходящее во двор, жил его отец, вернувшийся из эвакуации в Башкирию, он появился поздней осенью, ведя за собой двух коней, подаренных однополчанами. Где он их держал? Чем кормил? Но исправно, чуть рассветет, он приводил их ко двору, скоблил, вычесывал и, отобрав у дворнички бабы Зины шланг, обливал лошадок, напевая что-то на идише и похлопывая их по крупу.

Если была заказана перевозка не тяжелого груза, он запрягал одну лошадь, и для этого ему нужна была пара оглобель. Для грузов потяжелее нужна была пара лошадей. И тогда вторая оглобля оставалась лежать подле клетки с арбузами под бдительным надзором сезонщиц.

Почти бесшумно одним махом мы подтащили урну к вожденной клетке. Оглобля без труда воткнулась в клетку и, опираясь об урну, создала рычаг. Вряд ли великий сиракузец мог предположить, что его гениальная идея может быть использована для воровской ходки. Но нет сомнений, что никто из нас не знал о его прозорливой догадке. Любовь и лень – два великих стимула прогресса. Чего только не придумаешь, чтобы добиться взаимности любимой девушки! А если бы не лень было таскать, до сих пор не придумали бы рычаг и колесо.

Противовес в два наших мальчишеских тела благодаря Архимеду приподнял боковину жалобно скрипнувшей клетки. На удивление, арбузы не покатались из-под нее, как мы рассчитывали.

– Надо сделать рычаг подлиннее, – уверенно сказал Толястик.

Мы переставили урну поближе к клетке.

– Теперь ты тяни, а я вытащу, предложил Толястик, отпуская оглоблю.

Словно сопротивляясь нашим намереньям, оглобля плавно приподняла меня над землей и так же медленно, без стука, опустила клетку.

– Ничего не выйдет, – прыгнув, сдался я.

– Слабак, – презрительно огрызнулся Толястик. Он снял тюбетейку, прикрывавшую его золотые завитушки, поплевал себе на ладони, подпрыгнул, ухватившись за самый край оглобли, и прошипел: – Помогай.

Обняв его ноги, я присел. Со второй попытки клетку приподнялась чуть выше, и арбузы, толкая друг друга, словно радуясь освобождению, выкатились на тротуар.

– Два потянешь? – спросил Толястик, нагружая прохладные шары в прихваченные авоськи. Связав пару авосек и не дождавшись ответа, он взвалил их мне на плечо так, что один арбуз оказался впереди, второй за спиной. Закинув такую же поклажу себе на плечо и осмотревшись, Толястик определил оптимальный путь продвижения к Дегтярной, улице, где жила его первая любовь – Наташка Жукова: – По левой стороне не пойдем, там светлее, и нырнуть некуда, если атас. Валим по правой, здесь двор за двором. Если что, в подворотню нырнем.

Как в воду смотрел Толястик. Не успели мы пройти и четверти пролета от Базарной до Дегтярной, как услышали, а проскользнув в подворотню, увидели сквозь решетчатые ворота идущих навстречу друг к другу по левой стороне улицы вдоль стены табачной фабрики Фараоныча и двух подгулявших мужиков. Короткий милицейский свисток предупредил попытку мужиков улизнуть, и они остановились возле большого рекламного плаката, на котором была изображена пачка папирос с фильтром «Сальве» размером с большой чемодан, надпись под которым гласила: «Слава уходит, как дым, деньги уходят, как дым, жизнь уходит, как дым, ничто так не вечно, как дым папирос Salve».

По долетавшим до нас обрывкам фраз и слов, среди которых отчетливо слышны были «урна», «оглобля», «арбуз», любой дурак догадался бы, что нас ищут. В какой-то момент показалось, что Фараоныч остановил взгляд прямо на нас.

– Может быть, вернем или прямо здесь оставим и драпанем, – прошептал я деревенеющим языком.

– Не дрефь, глянь, они уже сваливают.

Как только темнота укрыла удаляющихся в сторону площади, мы помчались к дому на Дегтярной, где жила Наташка Жукова – первая любовь Толясика, словно у нас выросли крылья вместо десяти килограмм арбузов.

Во дворе под окном квартиры на первом этаже, которое доходило почти до земли, был палисадник, окаймленный деревянным штакетником до колена. Калитки не было. Окно открыто. Как только арбузы уткнулись в низ оконной рамы, свет в окне зажегся, и через мгновение в нем показалась воздушная фигурка белокурой принцессы в белой, до колен достигающей шелковой маечке. Она присела на подоконник и, протирая кулачком заспанные глаза, зевнула:

– Ты сумасшедший.

Но сказано это было в такой тональности, что означало: «Ты лучший». Характеристика эта была обращена, конечно, не ко мне.

Покатив арбузы, я хотел было драпануть, но услышал приказной шепот Толясика:

– Жди.

Наташку Жукову – первую любовь Толясика, он впервые увидел на школьном балу. Пригласить ее на танец он и подумать не мог – сам не умел и не хотел учиться. Но отважился, а она ему отказала. Завороженно следил он за партнерами, которые сменялись во время танца: кому улыбалась, с кем переговаривалась, кого подзывала. Но провожать ее домой пошел он, сказав: «Нам по дороге», – отшив двух подоспевших крепышей.

В школьной форме, с причесанными на пробор льняными волосиками, стянутыми двумя огромными белыми бантами в два жиденьких хвостика, голубыми глазами с черными длинными ресницами под белесыми бровками да с белым, несоразмерно большим фартуком, она была похожа на бабочку-капустницу. А сейчас в возникшем из темноты сияющем обрамлении окна она казалась неземным созданием, сотканным из света. Она сидела на подоконнике, поджав под себя коленки. Пружинки ее золотых волос сплелись с колечками его золотых кудрей. Щекой она прижалась к его макушке. Руки, обвинившие его голову, притягивали ее к едва заметной под белым шелком девичьей грудке.

– Беги, – прошептала она и, взяв в свои ладони его лицо, повернула его к себе, на мгновенье прикоснулась губами к его губам и тут же исчезла в потухшем окне.

– Через Щепной или Треугольный пойдем? – спросил я, как только вышли за ворота.

– Тихо пойдем, – ухмыльнулся Толясик, и мне показалось, что он вдруг переменялся, стал старше и взрослее. – Держись за меня, – и Толясик, протянув мне руку, потянул за собой.

Мы не бежали, мы парили над булыжной мостовой, огибая прогалины лунного света. Двор беззаботно спал воротами нараспашку. В подъезде мы чуть не спалились, буквально наткнувшись на целующуюся парочку. Танька с нашего этажа, не отпуская шею мускулистого коротышки, прижала указательный палец правой руки к губам, давая понять, что шум не в ее интересах.

– Наше алиби рыбалка, – поднимаясь по лестнице, заключил Толясик. В его голосе появилась уверенность и безапелляционность. – Закидушки, самодуры и удки под моей раскладухой. Разбужу в пять. Проснусь точно, батя каждый день в это время свет в кухне зажигает.

– Так спать ничего не осталось, – заканючил я жалобно.

– Днем выспишься, барин нашелся, – ухмыльнулся в темноте Толясик.

– А наживка, а пожрать? – запричитал я, пытаюсь найти слаби-ну в плане Толясика.

– Не бойсь. Рачков навалом и тормозок не слабый.

Мои карты были биты, и я зарылся носом в подушку, натянув на себя махровую простыню. Заснуть не успел. Раскладушка за-скрипела под тяжестью усевшейся на нее полненькой грудастой Таньки, созревшей к замужеству и просвещавшей нас, как она вы-ражалась, «молокососов», насчет премудростей: что откуда рас-тет, что куда попадает и что откуда появляется.

– Ну как тебе мой Генка? – спросила Танька, видимо, для за-травки разговора и, не дожидаясь ответа, спросила: – А от кого это вы так драпали?

– А ты что с Генкой делала в подъезде? – вопросом на вопрос ответил я.

– Понял, не дурак, – почему-то за себя, как за мужчину, ответи-ла Танька. – Ты меня не видел, я тебя не видел.

И она уплыла в раскрытую дверь квартиры, оставив за собой шлейф головокружительного запаха зрелой молодости и прост-ых духов.

Повернувшись на спину, я лежал, глядя в черное небо с под-мигивающими голубыми и красными звездами. Мне захоте-лось притронуться к ним и узнать, холодные ли они, теплые или горячие. Тихо, чтобы никого не разбудить, я пролез между деревянными балясинами, оттолкнулся от парапета галереи и полетел к звездам. Вблизи они оказались голубыми и крас-ными прозрачными арбузами, внутри которых плавали золо-тые рыбки. А еще они были удивительно легкими. Прихватив две звезды, полетел к дому Наташки Жуковой – первой любви Толясика.

Бабочка-капустница вылетела из окна, как только я поднес к нему звезды. Она жонглировала ими, и ее белые крылышки переливались красно-голубым сиянием. На лету она напевала ве-селую песенку, состоящую из одного слова «Толясик». Мы присе-ли на подоконник лицом друг к другу. Сначала мелко, а затем все

сильнее задрожали стекла окна. Ее личико стало расплываться в темноте, а вместо него появилось лицо Толясика, который тряс меня, пытаясь разбудить.

Первый трамвай на Фонтан уходил в шесть. Но можно было сесть раньше, когда он выходил из депо за вокзалом. Кондуктор, полуслепая вечно брюзжащая тетя Тоня неопределенного возраста, испытывала на нас свой запас ругательно-нежных слов весь путь, от депо до конечной остановки у Куликова поля.

– Сидайте, босяки, – говорила она. – Вы колы у останний раз йилы, вчора, або позавчора? Трымайте, шкили-макароны, – и она вынула из старой потертой брезентовой сумки, висевшей у нее на животе, два пахучих пирожка с капустой.

Трамвай был пуст, шел медленно, но без остановок. Мы разлеглись рядом на двухместных скамейках, разделенных одной спинкой. Скрип уставшего вагона, дребезжание стекол заглушали наши хвастливые воспоминания о событиях минувшей ночи, прерываемые смехом. Мой сон Толясику не понравился. Он замолчал, привстал и, насупившись, чужим голосом сказал:

– Думать о ней не моги. Моя девушка.

– Не думал я о ней думать, нужна она мне сильно, – ответил я намеренно обиженным тоном.

– Тогда и не обижайся, – улыбнулся Толясик, подавая мне руку, чтобы помочь подняться. – Вставай, приехали.

– Выходим, конечная, Люздорф, по-советски Черноморка, – неожиданно по-русски, громко, словно трамвай был полон народу, сообщила тетя Тоня, делая вид, что позабыла взять с нас по три копейки за билеты.

Двухголовый вагончик-тянитолкай, снующий между Черноморкой и Дачей Ковалевского, не пришлось ждать долго. Колея была одна. Доехав до конечной, вагоновожатый пересеживался из головы в хвост или наоборот и катил в обратную сторону. Ехали мы молча, стоя друг за другом, одной рукой держались за деревянные кольца, привязанные к поручням, а другой сжимали наши бамбуковые удочки, садки и ведерки для улова.

В голове моей, как на испорченной пластинке, крутилось одно слово – «девушка». Откуда оно взялось? Одноклассниц, соседок, подружек мы всегда называли девчонками. И вдруг «девушка»!

Необычно и непонятно. Чем Наташка Жукова, еще совсем недавно Жучка, заслужила называться девушкой? Конечно, он в нее втюрился. В девчонку можно втюриться, а влюбляются, видимо, в девушку.

Через Маячный переулочек, по тропинке, ведущей к морю, заросшей дикой маслиной, терновником, бузиной и шиповником, мы спустились к лодочной станции. Дверь сторожки была открыта. Из нее выглядывал сапог и самодельный протез ноги. Храп был похож на прибой: на вдохе он рассыпался, как песок при откатывающейся волне, при выдохе – будто море приносило перемалывающие друг друга гравий и гальку.

Гораздо ближе к дому были прокатные лодочные станции на Ланжероне, в Аркадии и на Фонтане. Но мы перли аж на Дачу Ковалевского к дяде Володе, нашему соседу по дому, только потому что он давал нам лодку, не требуя паспорта. До совершеннолетия нам не хватало года по три. Но по еврейской традиции мне справили бар-мицву, и папа подарил мне часы «Победа». Дядя Володя отбирал их у меня в качестве залога и, надевая на свою волосатую руку, смеясь, желал нам, как он говорил, «догребсти до Турции и там и остаться».

Будить дядю Володю не решились. Работал он сутки через двое. Ночью во время дежурства отсыпался в сторожке, а в выходные разъезжал на своей «инвалидке» – жестяной мотоколяске размером и формой с детский автомобильчик. Делал гешефт – мотался между цеховиками и Привозом, перевозя различную галантерею. Платили ему не деньгами, а товаром: перчатками, сумками, щетками, скатертями, вешалками, ремнями и другой бытовой мелочью. Весь квартал бегал к его жене, которую он привез с фронта, тете Саре, контуженной седой женщине с безумными глазами, в неизменном байковом халате, чтобы купить что-либо по дешевке.

Бросив в лодку якорь-кошку, черпак и свежескрашенный алой краской спасательный круг, дядя Володя вставил в ключи весла и одним усилием вытолкнул ялик вместе с нами в прибрежный накат.

Острый нос мыса Большой Фонтан уходит под воду каменистой грядой, обросшей водорослями, которыми питаются мидии, –

рай для бычков: кнутов и бобырей. Но нам для начала нужна была ставридка, не любящая мелководья. Пришлось подна-лечь на весла. В полумиле от берега, там, где чайки то взлетали, то падали в воду, мы, не бросая якоря, развернули самодуры с разноцветными перышками возле каждого из десяти крючков. Ставридка, казалось, ждала нас. Удочки затрепетали в руках. По пять-шесть серебристо-голубых атласных морских красавиц трепыхались на крючках при каждом забросе. Дольше было снимать с крючков, чем ловить.

– Может, покушаем? – просительно пробурчал я, не надеясь на положительный ответ.

– Не заслужили еще, – снимая с крючков ставриду, ответил Толясик. – Пока фартит – ловим.

Садки наши уже заполнились до второго кольца, когда Толясик, ни слова не говоря, бросил удочку на днище, стал на корму, подпрыгнул, сложился в воздухе и рыбкой ушел в воду. Перева-лившись через борт, я плюхнулся, едва не перевернув лодку, вызвав смех и восторг Толясика. Пока мы дурили ставриду и плескались, лодку отнесло ближе к берегу. Закинув «кошку», Толясик отпустил конец, и только почувствовав, что заякорились, привязал конец к рыму – кольцу на носу лодки.

– Здесь бычка потянем, но сначала похаваем, – усаживаясь на банку, как на коня, и развязывая тормозок, распорядился Толясик. – Каждой твари по паре, – сказал он, выкладывая на банку по паре помидоров, огурцов и цибули. Нарезать хлеб он доверил мне, владеющему перочинным ножиком, подарком деда к моему тринадцатилетию. Посреди этого роскошного стола возвышалась горка соли.

Набрав в черпак воды, Толясик высыпал в него из своего садка пару дюжин ставридок – основное блюдо нашего завтрака. Черпак закипел, словно в нем плавилось серебро. Подхватив за хвост по рыбке, мы разом ударили ими по борту лодки. Движения были не раз отработаны. Удалив головку и кишечки уснувшей рыбке, мы споласкивали ее за бортом, держа за хвост. Отряхнув и обмакнув в соль, лакомились свежатинкой. Мне нравилось обкусывать центральную косточку со всех сторон. Толясик ел с косточкой, называя меня барином.

Насаживая на крючки крупных рачков – черноморских креветок, Толястик приговаривал: – Сам бы съел, – и, раскрутив закидушку, бросал ее в воду. Но бычок шел лениво. Солнце прогрело мелководье, и рыба почти заснула.

Подсыпал и я. На каждые выловленные Толястиком пять бычков мне попадался один.

– На сковородку хватит, – прикинув улов, подвел итог Толястик.

Легкий северный ветерок помог нам быстро догresti до берега. За узкой полоской песка в тени разросшегося куста жасмина кемарил дядя Володя. Он тут же вскочил, как только нос ялика, слегка зашуршав, уткнулся в песок, и заковылял на деревяшке нам навстречу. Приговаривая «Бог велел делиться», он выгребал наш улов своей лапой, больше похожей на ковш экскаватора.

– Легче в гору тарабанить будет, – этими словами он завершил экспроприацию, почти на четверть опустошив наши ведерки.

Возвращались трамваями с тремя пересадками, мимо санаториев, пионерских лагерей, дач, пляжей, вокзала и Привоза. Мы молча стояли, притиснутые к открытому окну, и чем ближе было к дому, тем почему-то тревожнее становилось на душе. Не сговариваясь, мы обернулись друг к другу и мгновенно поняли, что думаем об одном и том же – о ночной краже.

– Если что – молчок, – глядя мне прямо в глаза, гипнотизировал меня Толястик.

Холодок пробежал у меня по животу. Боднув головой, я попытался отвернуться, чтобы скрыть свой страх. Повернув меня к себе, Толястик потребовал:

– Мамой и папой клянись.

– Божусь – никому ни слова, – запричитал я.

– Клянись, сказал, – угрожающе насел Толястик.

Опустив голову, чтобы не было видно слез, наполнивших мои глаза, я произнес:

– Чтоб моя мама умерла и папа погиб на фронте, если я кому-то скажу за сегодняшнюю ночь.

За полквартила до нашего дома мы увидели вышагивающего у ворот Фараоныча. Он тоже заметил нас и замахал руками, подзывая к себе. Ведерко выскользнуло из моих рук.

– Не дрефь, прорвемся, – сказал Толястик, глядя в сторону Фараоныча.

Засунув руки в карманы галифе, Фараоныч терпеливо ждал нас, не делая ни шагу навстречу.

– Как рыбалка, пацаны? Улов не поганый? А кроме рыбы чего еще наловили? – задал несколько вопросов подряд участковый, как только мы подошли. – Молчите – тогда айда за мной.

И он повел нас к месту нашей лихой ночной вылазки.

– Ну, сознавайтесь, сколько арбузов стырили. Или мне вам рассказать, как вы оглоблей клеть подняли? – продолжал допрос Фараоныч.

Потупившись, мы не произносили ни слова.

– Матильда, – обратился Фараоныч к сидевшей у пивной бочки спиной к нему потомственной торговке, – у кого из твоих арбузы покрали?

– Ой, кто к нам пришел! Пинкертон ты наш задрипанный! Тебе кто сказал, что у нас что-то пропало? – произнесла она нараспев, неожиданно обнаружив в себе любительницу детективов.

– Эй, бабоньки, у кого чего крали? – крикнула Митильда, обернувшись к сезонщицам.

От крайней клетки, из которой ночью мы выкрали четыре арбуза, подошла продавщица и, повернувшись к нам, улыбаясь, спросила:

– А это что за два шкета?

Обалдевшие от неожиданности, мы смотрели на нее, как замороженные. На сей раз выпустил ведро из рук Толястик. Сомнений не было – перед нами была взрослая копия Жучки, Наташки Жуковой, девушки Толястика, его первой любви.

– Урки это малолетние, вот кто! – возмутился Фараоныч. – У меня вещественные доказательства имеются.

И, вынув из кармана галифе тубетейку Толястика, добавил:

– Найдена на месте преступления, здесь и фамилия написана.

– Фараоныч, ты что из себя Шерлока Хомса строишь? – надела на него Матильда. – Ты про презумпцию невиновности слышал? Как ты докажешь, что он тубетейку этой ночью здесь потерял? Ночью он дома спит, и у него свидетели этому есть. А не докажешь – тебе в отделении пистон вставят. Совсем мальчишек

запугал. Глянь, сколько рыбы они наловили. Бери ведро и носи своей Фриме Абрамовне, она знает, что с ней делать, – схитрила Матильда, зная слабость Фараоныча к лихоимству.

– Тогда я и второе заберу, – зажидничал участковый.

– Нет уж, – возразила взрослая копия Жучки и, не дождавшись ответа замешкавшегося участкового, шепнула Толясику на ухо: – Вечерком приходите, – и громко, обращаясь к нам, сказала: – Мотайте отсюда.

Как подорванные шуганули мы с места, схватив вдвоем одно ведро.

– Стоять! – крикнул вслед Фараоныч и лениво попытался побежать за нами. На пути его, расставив руки, так что казалось, она перекрыла всю улицу, встала обворованная нами наша заступница.

Не раздеваясь, я плюхнулся на родительский диван. Благо было то редкое время дня, когда в квартире еще никого не было. События прошедшей ночи и дня поплыли перед глазами, пугали и смешили меня. Трамвай, полный арбузов, качался на волнах. В сапогах по воде мчался за нами Фараоныч, откусывая на ходу головки ставридок, которые сами прыгали ему в рот. В безоблачном небе парили маленькая и большая Жуковы, то взмывая ввысь, то подлетая к моему лицу.

– Просыпайся, родной, – приглаживая мои вихры, сказала Жукова-старшая. Я открыл глаза и увидел бабушку, сидящую рядом со мной на краешке дивана. – Тебя Толясик во дворе ждет. Только помойся и переоденься.

Плеснув пару раз воды в лицо, расчесав слипшиеся от соли волосы и натянув свежевыстиранную бабушкой майку, я скатился по лестницам во двор и застыл в изумлении. Таким я видел Толясика только на торжественной линейке в честь начала учебного года: коричневые вельветовые бриджи, штанины которых застегнуты на пуговики чуть ниже колен, носочки выше щиколотки, почти новые сандалии и белая накрахмаленная рубашка.

Мы направились в гости, когда солнце уже перекаатилось через границу порто-франко к Дюковскому саду, но его лучи еще дотягивались до голубых куполов Преображенского собора и подсвечивали циферблат пожарной каланчи в сквере на Базарной. Ко-

локольчики смеха слышны были еще с угла Дегтярного переулка: первый звонкий, хрустальный, другой медный, вторящий, понимающий. Посреди двора, хохоча, кружилась, поднимая парашютиком цветастую расклешенную юбочку, Наташка Жукова – первая любовь Толясика, его девушка. В самом конце двора на подоконнике выходящего в палисадник окна сидела Наташкина мама. Жукова-старшая. Перед ней на табуретке стояла эмалированная миска, в которой плавала арбузная полусфера. Жукова-старшая извлекала из нее столовой ложкой алые сахарные ломтики, смеясь от удовольствия.

– Берите ложки, помогайте, сами не справимся, – водружая в миску вторую половину арбуза, предложила большая Жукова. – Кстати, меня тетей Светой звать, а про вас мне все Наташенька рассказала и про ваш ночной подарочек, – расхохоталась она.

Хохотали и мы все, выгребая ложками розовую мякоть вместе с соком, захлебываясь от вкуснотищи, выплевывая в руку арбузные косточки. Перебивая друг друга, мы веселили нашу чудесную спасительницу и Наташку Жукову – первую любовь Толясика, подробностями ночного приключения: как повисли на оглобле, как прятались от Фараоныча, как заматали следы на рыбалке. Наташка смеялась, запрокинув головку и кладя ее на плечо Толясика, который тотчас замирал на мгновенье.

– Башибузуки, – повторяла сквозь смех тетя Света, покачивая головой.

Показывая, как забрасывал закидушку, я с размаху треснул по миске так, что она, подпрыгнув, под общие возгласы выплеснула на рубашку Толясика арбузный сок, буквально перекрасив ее в розовый цвет, оставив небольшие пятнышки белого.

– Меня дома убьют, – промолвил окаменевший Толясик.

– Ну-ка, раздевайся, – по-хозяйски распорядилась тетя Света. – Быстрее, быстрее, – командовала она, стягивая с Толясика прилипшую к телу рубашку.

– Укус, водка, мыло – и через час будет как новенькая, – успокоила она Толясика, перелезая через окно в квартиру.

Чувствуя себя виноватым, я развалился, опираясь о штакетник палисадника, глядя в небо, на темнеющем фоне которого стали проступать тусклые фонарики звезд. Под дворовой

водопроводной колонкой плескался Толястик. На фоне иссиня-черного от загара тела первая его любовь – Наташка Жукова – казалась неземным созданием, случайно опустившимся не за горизонт вместе с солнцем, а сюда, в пахнущий арбузом одесский дворик. Она промакивала скатывающиеся по спине и груди струйки воды и, внезапно набросив ему на голову белое вафельное полотенце, притянула его к себе, привстав на цыпочки. От этой слившейся в сумерках скульптуры уходил в космос трепет первого поцелуя, чтобы остаться там навсегда. Мамой клянусь, что ярче света, вспыхнувшего над ними, покрытыми белыми крыльями купидонов, мне не довелось видеть никогда в жизни. Или это окно, внезапно брызнувшее мне в глаза включенными электролампочками, заставило зажмурить глаза.



Елена Палашек

Любимый хозяин

Я – такса-дворянка.

Думаю, моей маме понравился залетный дворовый пес. Плод их любви оказался симпатичной и весьма сообразительной сукой, с ногами длиннее, чем у мамы.

Мне всегда нравилось мое прозвище – Стрелка, потому что его придумал лучший на свете человек – мой хозяин.

Больше всего я люблю ходить с ним на охоту, носиться по полям и перелескам, поднимая птиц, отыскивая норы лисиц и сгоняя зайцев под прицел старенькой двустволки «Зауэр». Она дает отличную кучность при стрельбе дробью. А кучность важна, всегда боялась, что шальная дробинка догонит не только дичь, но и меня.

Иногда после удачной охоты мне доставались потроха, и это было самое большое счастье. Правда, чуть меньшее, чем лизнуть руку хозяина.

В тот злополучный день мне вздумалось сбегать на разведку, пока хозяин с другом обедали и открыли уже вторую бутылку водки.

Откуда мне было знать, что друг решил подстраховаться капканами?

Когда железные челюсти захлопнулись на задних лапах, я взвыла так, что сирена скорой помощи могла бы позавидовать. Как они орут, я слышала часто, недалеко от нашего дома дневали и ночевали эти белые машины с красными крестами. Время от времени они проносились мимо нас. Я всегда старалась перекричать их, и вот, наконец, получилось.

Но только ко мне подбежали хозяин с другом, я перестала кричать и тихонько попросила о помощи. Не хотела жаловаться – как

меня напугал хруст косточек, как это больно, когда осколки впи-
ваются в кожу. А вот мой хвост предательски завился. Как зави-
дит хозяина, он вообще перестает меня слушать и готов вилять
хоть сто раз на день.

– Пропала собака! – хозяин присел на корточки, рассматривая
кровавое месиво, в которое превратились мои лапы.

– И что делать будешь? – друг, прихвативший бутылку водки,
глотнул из горлышка.

– Бля! Сука, какого хрена не сиделось ей? – хозяин заорал
на меня. – Ну вот и подыхай теперь тут.

Потом он вскочил, выхватил у друга бутылку и вылил остаток
водки в горло.

– Лучше б на ноги, – нерешительно возразила я.

Хозяин сделал вид, что не понимает. Он протянул пустую бу-
тылку другу и сказал:

– Пошли.

– Ну хоть пристрели ее, чтоб не мучилась.

– Сама подойдет.

Они ушли. Я лежала, ойкая от боли. Мне стало так страшно,
я обратилась к собачьему богу, подняв глаза. Он сидел на облаке
и был похож на моего хозяина.

Осенний день стал хмуриться, сдвигая тучи, словно навсегда
закрывая створки ворот в нашем дворе, и, расчувствовавшись,
расплакался, как я.

Струи холодной воды неожиданно принесли мне облегчение,
я попыталась освободить лапы.

А вы знаете, что визг собак имеет миллионы оттенков? Если
вы слышите звуки, похожие на человеческий стон, это значит, что
боль уже невыносимая.

Когда я вытянула левую лапу, содрав мясо до кости, в горле
пересохло, и я даже стонать уже не могла.

Правая была зажата почти у хвоста, освободить ее не по-
лучалось.

И тогда я... просто отгрызла лапу.

– А ты бы так смог? – шептала я так тихо, что даже если б
хозяин был рядом и приложил ухо к моей пасти, то не услы-
шал бы.

На двух передних лапах я побежала вслед за ним. Я надеялась, что он ждет меня, и вскоре, лизнув его руку, я расскажу, что совсем не обижаюсь.

Но сил хватило только доползти до крайней хаты какого-то поселка.

Ворота железного сарая были нараспашку, и я заползла в него. Запахи бензина, пыли, старья, прокисшего варенья казались мне такими знакомыми, что я успокоилась.

Кричать не хотелось, да и не было сил, просто тихо лежала, ожидая помощи.

И вдруг я почувяла, что где-то рядом не меньше чем сотня собак перегавкиваются, сплетничают обо мне. Просто стало страшно, эти собаки могут загрызть меня, немощную. А я очень хотела жить, чтобы снова ходить на охоту с хозяином.

Когда старушка, пахнувшая козьим молоком и пирожками с мясом, вышла закрыть ворота сарая, она увидела меня. Приближаясь, она ворчала, как старая кошка в нашем доме, которую я любила. Мы даже иногда в холода ютились на одном коврике.

– И что это за чудо природы? У меня в Донецке собаки даже после бомбежки лучше выглядели. Вот нужны мне эти проблемы?

Приблизившись, старушка чуть не расплакалась:

– Я, конечно, закаленная войной... Ой как жалко, прям сердце разрывается.

Она вздохнула так, как однажды полуживая утка, когда хозяин занес секач над ее шеей, и тут же схватилась... за палку.

Сначала старушка стучала рядом со мной по земляному полу, потом просто начала меня толкать, вернее, выталкивать.

– Ты разве человек? – теряя последние силы, я пыталась с ней спорить.

Когда меня вытолкали за ворота, я потеряла сознание. Но мой собачий бог неожиданно решил, что умирать мне рано.

Очнулась я на руках худощавого небритого мужчины. Он осторожно нес меня и уговаривал:

– Потерпи, моя красавица. Сейчас поедem к доктору.

В ветклинике мне понравилось: в нос лезли незнакомые успокаивающие запахи, да и боли почти не чувствовала.

Я быстро сообразила, что боль забирала с собой девушка с голубыми глазами и шприцем. Кроме этих глаз и шприца, я долго ничего не видела.

Сквозь дымку сна я слышала тихие и громкие разговоры и не понимала, почему здесь нет любимого хозяина, ведь я выздоравливаю и снова смогу помогать охотиться. Правда, на двух передних лапах, без задних, это будет труднее, но я справлюсь.

И вот небритый мужчина забрал меня из клиники.

Всю дорогу я пыталась спросить о хозяине, взвизгивая громче, чем могла.

Но вместо ответа о любимом человеке вдруг услышала:

– Не знаю, как тебя звали, но будешь отныне Культя. Не обижайся за такое прозвище, мы с женой тебя и такую любить будем. У нас в приюте уже восемьдесят восемь собак, ты будешь восемьдесят девятой. Только, чур, кошек не обижать, да и собак тоже, и тебя никто не обидит. А там, глядишь, и хорошие руки найдутся, и пристроим тебя. Ты ж экзотическая и живучая, как кошка.

– Почему как кошка? – возмутилась я. – Никто мне не нужен. Я люблю хозяина. Уверена, он меня найдет. Пойми, небритая твоя голова, он сбежал случайно, просто испугался!

Но на всякий случай я лизнула руку незнакомого мужчины и подумала: «Жаль, что он не ты...».



Алла Голованова

Из жизни муз

Двойственность чувств

Муза Эвы сидела на дереве под ее окном и размышляла об эмоциональной амбивалентности. Слезть с ветки было нельзя, потому что Эва в этот момент слагала очередную «Песнь клену». При этом оставаться далее во дворе было нежелательно: две вороны поодаль все громче вплетали в свой грай мелодию Гершвина, а пес, задравший лапу у подъезда, выписывал на сугробе мандалу.

Война дилетантам

Во все века музы подходили к своей работе ответственно, не выносили непрофессионализма даже в мелочах. Муза поэта Светлова могла вслепую собрать и разобрать винтовку. А муза художника Айвазовского уверенно руководила процессом монтажа стеньги грот-мачты.

Муха, Муха-Цокотуха

Мухи, хлебнувшие воды из Иппокрены, хмелели. Во хмелю они любили навещать поэтов. Одна из них утверждала, что стала музой поэта Ч., и он посвятил ей поэму.

Олимпийские игры

Муза Бродского – истинное дитя Эллады – высоко ценила физическую культуру. Вид сгорбленного курящего поэта ее удручал. Поэтому она частенько являлась Бродскому в момент отъезда гостей, преимущественно старых друзей. Тогда поэту, к ее радости, приходилось долго бежать за уходящим поездом или автомобилем и декламировать на ходу новые стихи.

Чаша терпения

Муза Пушкина всегда полагала себя натурой терпеливой и великодушной. Пусть и не лишенной маленьких недостатков. Однако в этот раз чаша ее терпения переполнилась. Мало того, что поэт упомянул о ней в романе «Евгений Онегин» всего семь раз и только единожды назвал «ласковой», а во всех остальных случаях именовал «своенравной», «резвой» и «ветреной» (кто бы говорил!). Мало того, что, по его словам, в глуши Молдавии она якобы «одичала, и позабыла речь богов». Он еще восхищался ножками этой нахалки кузины Терпсихоры!

Отголоски

Разъяренная муза Байрона гонялась с палкой за музой Лермонтова:

– Я тебе покажу «это просто перевод»! Я тебе дам «Миша еще маленький»!



Издано...

- 362 **Евгений Голубовский**
Книжный развал
- 372 **Инна Голубович**
Калейдоскоп образов на фоне эпох
- 376 **Алёна Яворская**
«Козачинский принадлежит всем...»

Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Одессе



Олег Губарь

Мифы и легенды старой Одессы

Одесса, Optimum, 2020

Чем хороши дни рождения Губаря? Всем, скажете вы, и будете правы. Но ко всему еще и тем, что выходит традиционного его новая книга.

Вот и я получил и прочитал этот том в 400 страниц, который рассматриваю как энциклопедию для будущих романистов. Из каждой главки Олег Иосифович мог бы создать бульварный роман, а он поставляет сюжеты для сериалов.

Я предвидел, что день рождения Губаря превратится в народное гулянье. Ждал

«Пушкинский путеводитель», и сегодня его жду. Но в руках у меня новая книга, где немало о Пушкине.

В этой книге более пятидесяти глав. А сюжетов много больше. Первая глава, к примеру, – «Дома с привиденьями», и это ряд историй. Ждал, что с кем-то из привидений Олег общался. Разочарован. Ни офлайн, ни онлайн. Но зато знает про них многое. Почему имен-

но в этих домах их жаждут видеть одесситы, что тут было, что стало. И все с архивными справками, с газетными ссылками.

Не знаю, почему он начал с привидений. Логично было бы начинать с происхождения названия *Одесса*, с даты возникновения названия, тем более у автора есть интересные соображения по этому поводу. Не буду пересказывать, спойлерить, как ныне говорит молодежь. Сами прочтите.

А теперь о Пушкине. В свое время у Олега Иосифовича вышла книжка, где он убедительно доказывал, что никакого романа Пушкин – Воронцова не существовало, смеялся он над рассказами о высаженных поэтом деревьях в нашем городе. В новой книге речь идет о приписываемом Пушкину письме в стихах о саранче, о таблице на памятнике Воронцову с эпиграммой поэта, в конце концов о памятнике Пушкину, который ретивые экскурсоводы все время «поворачивают спиной к Думе», в то время как на месте нынешней Думы была биржа, а Дума была в одном из полукруглых домов, к которым Пушкин стоит лицом...

Интереснейшие истории ждут читателя в рассказах о домах и дворцах – будь то дом де Рибаса, дом Лидерса, дом-стена или дворцы Потоцких.

Очень многое было для меня неожиданным. Парк Савицкого. И я был наслышан о страшном Савицком, а оказалось...

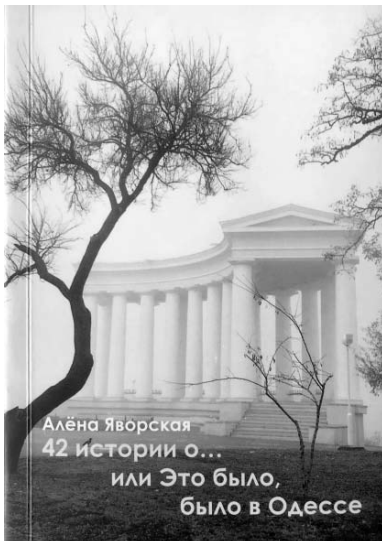
Огромный раздел посвящен топонимике, происхождению названий наших улиц. Вроде бы многое знаем, но поверьте, далеко не все. И я был причастен к одной двусмысленности. Когда на топонимической комиссии несколько лет назад искали, на что заменить название улицы Розы Люксембург, я предложил назвать улицей Бунина. Естественно, имея в виду нобелевского лауреата писателя Ивана Алексеевича Бунина. Не знал я, что полицмейстера Одессы звали Яков Иванович Бунин, что был он незаурядным человеком и хорошим профессионалом. Более того, жил на этой улице. Губарь подробно рассказывает о его работе, даже о том, что Бунин и Бунин родственники, так что можно считать, что одним названием мы увековечили двух человек, оставивших след в нашем городе.

Все ли мифы и легенды разъяснил, развенчал автор? Конечно, не все. Интереснейший рассказ о Соне Золотой Ручке (только узнал я, что Блювштейн она по мужу). Но нет рассказа о пани

Ковской, нет рассказа о Мишке Япончике. О чем это свидетельствует – о том, что может быть вторая, а то и третья книга.

Безусловное достоинство книги – она научна. Безусловное достоинство книги – она легко читается.

С радостью поздравляю автора с прекрасной книгой. Ее тираж смешон – 150 экземпляров. Она должна быть как справочная у всех, кто любит Одессу. И поздравляю нас, читателей, что в свой день рождения Олег Губарь сделал нам такой подарок.



Алена Яворская

42 истории о... или Это было, было в Одессе

Одесса, Апрель, 2021

Как радостно, что и в наши дни есть позитивные новости. Запомним, 22 января 2021 из типографии привезли тираж книги Алены Яворской «42 истории о... или Это было, было в Одессе». Это первая в этом году книга, вышедшая во Всемирном клубе одесситов и Одесском литературном музее. Горжусь, что писал к ней предисловие, стал ее редактором.

Алена Яворская, даря мне книгу, написала: «Любимому редактору Жене Голубовскому, без которого ничего бы не было».

Это не так. Уверен, что раньше или позже эта книга была бы, она созрела в авторе, нужно было подтолкнуть, помочь родить.

Нужно было найти меценатов. И я с огромной признательностью называю сегодня их имена – Галина Безикович, Александр Бирштейн, Евгений Деменок, Анатолий Дроздовский, Мила Кронфельс, Александр Мардань, Елена Палашек, Михаил Пойзнер.

Это книга краеведческих эссе, но одновременно это художественная книга, она великолепно написана, прочувствована.

Я мог бы написать, что это «вкусная» книга, – и не погрешил бы против истины. Прочтите несколько первых страниц из эссе, открывающего книгу.

«Меня еда арканом окружила...»

«Высокое кулинарное искусство – это единственная способность человека, о которой нельзя сказать ничего дурного» (Фридрих Дюрренматт).

«Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом» (Исаак Бабель).

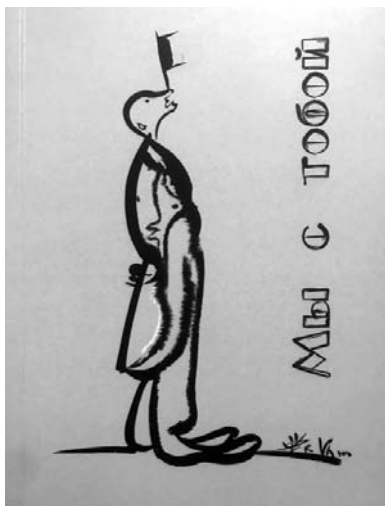
«Весь мир (скажем без ложной скромности) знает наш город. Одесский язык и одесские улицы (по крайней мере Дерибасовскую), одесский юмор и одесскую литературу, одесских женщин и одесскую кухню.

Увы, часть перечисленного существует ныне лишь в виртуальном варианте, одесская литература, если говорить честно, почти вся написана в Москве. Что же нам остается? Радующие глаз одесские женщины и радующая все пять чувств одесская кухня. И одно от другого неотделимо. Это во Франции повар должен быть мужчиной. Поэтому и едят они в основном лягушек и улиток. А у нас...

Когда-нибудь ученые мужи попробуют по истории кулинарии проследить историю стран: что было исконным, что перенимали чужого; как праздновали, как горевали; как ели в сытые годы, чем перебивались в голодные. Они непременно споткнутся об одесскую кухню...»

Это одна история из сорока двух. И все они занимательны и разнообразны. Это флирты Французского бульвара, это жизнь полузабытых писателей и знаменитых, это рассказы о взаимоотношениях кошек и женщин, это тайны...

А впрочем, книжку нужно читать. Всю. И получать от этого удовольствие.



Коллектив авторов
«Зеленой лампы» и ее друзей
Мы с тобой
Одесса, изд. Бондаренко, 2020

Вспомнил поговорку – не было ни гроша, да вдруг алтын.

Как понимаете, я не про деньги. Я про книги.

Моя первая «Глядя с Большой Арнаутской» вышла в 2016 году, разлетелась за месяц.

Новая «Мои 192 ступени» вышла в декабре 2020. Прикинул – все 200 экземпляров есть кому подарить.

И тут – вишенка на торте.

Елена Андрейчикова, Анна Михалевская и Влада Ильинская

пришли в гости и принесли – новую книжку, которую участники «Зеленой лампы» и друзья «лампы» написали и издали мне в подарок.

Инициаторами издания, как мне сказали, были Елена Палашек и Евгений Деменок.

Вечером, как гости ушли, сел и прочитал книжку – от корки до корки. Узнал немало о себе нового и в поэме Игоря Божко, и в поэме Елены Палашек, и в рассказах Елены Андрейчиковой и Анны Михалевской...

Обрадовался высокой прозе Сергея Рядченко и Анатолия Контуша, Яны Желток и Ольги Ильницкой, Иры Фингеровой и Вадима Ярмолинца...

А какие «зарисовки с натуры» написали Евгений Деменок, Ганна Костенко, Вика Коритнянская, Ольга Ладохина, Алена Яворская...

И, конечно, стихи – Веры Зубаревой, Влады Ильинской, Игоря Потоцкого, Анны Стреминской, Юлии Цымбал и Эвелины Шац.

Как понимаю, все это было написано в ситуации пандемии, но ни слова о ковиде.

Единственное стихотворение, как я понимаю, из архива Деменка, стихи о «Зеленой лампе» художницы и поэта Тани Гончаренко, ушедшей к большинству. Когда-то я писал предисловие к ее книжке стихов.

Книгу изысканно украсили рисунки Миши Ревы. А дизайн сделала, продолжая наши издания романов-буриме, Таня Коциевская.

Кстати, участники «Зеленой лампы» только завершили новый роман-буриме «Исчезла!». Надеюсь, выпустим его книжечкой в этом году. Как и новые книги Виктории Коритнянской, Юлии Мельник...

Издано в Санкт-Петербурге



Юрий Левинг (Канада)
Иосиф Бродский в Риме
Санкт-Петербург, Perlov Design
Center, 2020

Познакомился, подружился в Одессе с питерцами Линой и Фаддеем Перловыми. Интереснейшие люди, создавшие свой дизайнерский центр, включающий Галерею дизайна и свое издательство, специализирующееся в двух направлениях – книги о дизайне и путеводители по Бродскому. Год

назад я получил от них книжную посылку, о которой писал, – два тома, «Бродский в Венеции» и «Бродский в Норенской». Прекрасный дизайн, тщательность в подборе текстов, открытия неизвестных деталей биографии.

И вот уже в январе 2021 года, как раз перед днем рождения поэта, новая посылка от Перловых. Ковид, пасмурное настроение, а им удастся своим делом растопить лед огорчений. Принести радость и счастье.

У меня в руках новые книги их издательства – это три тома «Иосиф Бродский в Риме». Я могу сказать лишь одно слово – фантастика! Столько любви, выдумки, энергии заложено в эти три тома. Эту работу осуществил филолог, профессор русской литературы и кино, живущий в Галифаксе (Канада), Юрий Левинг.

Конечно же, в этих трех томах все стихи, фрагменты эссе, написанные в Риме, посвященные Риму, здесь путеводитель по Риму Бродского – не просто дома, а и люди, с которыми он встречался, общался. Каждый из них, точнее – каждая из них дает Юрию Левингу интервью, и мы ощущаем, каким обаятельным был Иосиф Александрович для одних, каким сложным для других.

А каким прекрасным рисовальщиком был поэт! В альбомах его друзей хранятся его рисунки, его экспромты...

Прошу вас, перед очередной поездкой в Рим – пообщайтесь с Бродским.

И мой вывод. Все дороги ведут в Рим? Нет, все дороги ведут к Бродскому.

Издано в Москве

Юлия Пикалова
Первая
Москва, Стеклограф, 2020

Пару лет назад в Фейсбуке я прочитал одно-два-три стихотворения Юлии, написанных в Италии, где она и живет у озера Комо. Порадовала вовлеченность в мировую культуру, точность образов, уважение к слову. Написал, поблагодарил за стихи. Попросил подборку для альманаха и посоветовал начать собирать книгу. Признаюсь, тогда не предполагал, что у поэта уже готово собрание сочинений, а не сборник стихов о музыке.

Юлия не спешила. Тщательно искала издательство. К ее стихам сделал серию офортов художник Александр Костин. Для конструктивистской обложки фотографировала ее Елена Мартынюк.



И издательство «Стеклограф» ощутило ответственность за задачи. Книга сверстана, издана отлично. А это 500 стихотворений, разбитые на три тома (внутри одной книги), со вставками офортов. Жаль, что несколько десятков экземпляров из тысячи не сделали с подлинными офортами, как номерные экземпляры.

Но главное, конечно, стихи. Первая книга, что бывает нечасто, предъявила обществу поэта. Так бывало не раз в русской литературе. «Стихи о прекрасной даме» Александра Блока, «Камень» Осипа Мандельштама, «Юго-Запад» Баг-

рицкого... Меня спросят, правомерно ли ставить молодого поэта в такой ряд. Конечно, покажет время, но у меня ощущение, что мы присутствуем при явлении большого поэта.

Знаю, что Пикалова музыкант, пианист. Что выступала с прославленными оркестрами. Детство в Питере, живет в Италии, но фундамент ее творчества – погружение в мировую культуру и внутренний не прекращающийся диалог с Блоком и Цветаевой, с Гумилевым и Пастернаком, с Мандельштамом и Бродским... Предшественники дают ей возможность найти свои ответы на вопросы о жизни и смерти. Рахманинов и Врубель, Бах и Шекспир – это факты ее биографии, они с нею в любовных романах, в биении сердца.

Как вы понимаете, пишу это не для того, чтобы похвастаться замечательной книгой. Нет, хочу привлечь и ваше внимание к поэту. Юлия Пикалова печатается в журналах, у нее есть аккаунт в Фейсбуке, куда она выставляет новые стихи. Знакомьтесь. Читайте. Надеюсь, кончится ковидный хаос, Юлия приедет и в Одессу, прочитает свои стихи, а то и концерт сыграет. Будем ждать.

Издано в Милане



Эвелина Шац
«Одесский меридиан, или Голубое вино Велимира»,
«Колокол тишины», «Оловянность»
Милан, Ладомир, 2019-2020

Эвелина Шац, окончив в Одессе школу, поступила в МГУ на факультет искусствоведения, там познакомилась с итальянским аспирантом, преодолев сопротивление отца, испуганного художника, к тому же еврея, буквально бежала с мужем в Италию.

Стала итальянским журналистом и искусствоведом, художником и... поэтом. Долгое время стихи писала только на итальянском, хоть в них ощущалась школа – от Хлебникова до Бродского. Потом сама себя переводила на русский, и издавались ее двуязычные книги. И. наконец, полились стихи на родном, русском.

Мы привыкли к рифмованным стихам. Итальянцы, европейцы, давно перешли на «белый стих», на верлибр. Хоть белые стихи

были – редко – и у Пушкина, для нас все еще это периферийная зона в поэзии, но Эвелина упорно и интересно осваивает ее, вводя свои стихи в европейскую традицию.

Три новые книжки Эвелины Шац, изданные в 2019-2020 годах. Каждая как артбук, созданная поэтом и художником. Первую оформила Вера Хлебникова, использовав рисунки Велимира, вторую Василий Власов, третью Кира Матиссен. Все три книжки – произведения искусства.

«Одесский меридиан, или Голубое вино Велимира» – это преклонение перед гением Хлебникова. Вот одна строфа из этой книги:

«на Белинского, 6. Где бывал Велимир
Родилась я неожиданно-негаданно
Это голос одесских небес отражения
В нем каштанов насмешливый шепот
И таинственный знак провидения
Я бегу по степи, что размашисто мчит
От лиманов до Астрахани, где аист стоит...»

Книга «Колокол тишины», стихи из которой мы публиковали в альманахе, – это тринадцать стихотворений, посвященных Иосифу Бродскому, непрерывающийся разговор с поэтом, посещавшим Эвелину в ее «русском доме» в Милане.

Совершенно неожиданной для меня оказалась книга «Оловянная, или Девять ступеней познания войны» От лирики Эвелина перешла к гражданской теме, к публицистике, выразив свое неприятие любой войны.

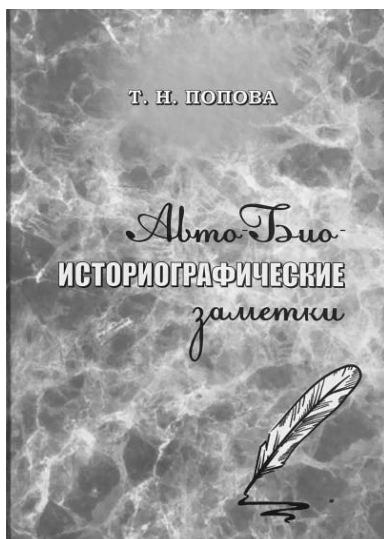
Эти книжки подарены Одесской научной библиотеке, где их можно будет прочитать.



Инна Голубович

Калейдоскоп образов на фоне эпох

Издано в Одессе



Попова Т.Н.

Авто-био-историографические
заметки

Одесса, изд. Бондаренко, 2020

Изысканный подарок сделала одесситам и всем своим читателям известный историк, профессор Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Татьяна Николаевна Попова. Для меня и для многих-многих моих однокашников она – один из самых любимых истфаковских учителей, навсегда определивших наш путь не только в науке, но и в жизни. Мы учились у Татьяны Николаевны глубине,

строгости, взыскательности мышления, преданности науке, избранному в нелегких поисках направлению – историографии, и одновременно таланту подружить музу Клио с музами других наук, разбегавшихся было по своим дисциплинарным квартиркам. Всем этим дышит ее новая книга. В обязательной для любого издания аннотации говорится, что издание «относится к разновидности мемуарной литературы: автор контурно представила свой профессиональный

путь, предложила собственное восприятие образов своих учителей, наставников и коллег – профессоров и преподавателей одесского истфака 1960-2000-х годов, акцентировала внимание на их личностной, научно-педагогической деятельности, особенностях исторического образования в разные эпохи; отдельный раздел – поэтические посвящения; в приложениях – биобиблиография и фотогалерея; материалы этого издания отражают историю исторической науки и исторического образования сквозь призму индивидуального подхода <...> Книга рассчитана в первую очередь на историков, сопричастных своей альма-матер – Одесскому (Новороссийскому) университету имени И.И. Мечникова, а также на всех, кто интересуется историей исторической науки и историей университетского образования». А в предисловии, названном «Штрихи предвещающие»*, уточняется жанр книги: не канонические мемуары, а «калейдоскоп образов», образов людей, ситуаций, встреч, «которые способствовали именно такой конфигурации всяких перипетий, которыми был насыщен мой путь».

И поскольку современная междисциплинарная гуманитаристика, служению которой посвятила себя автор и главная героиня «Автобио-историографических заметок», легитимировала «право на интертекстуальность», открытый взаимный диалог и со-присутствие текстов, автора и читателя, позволю себе дополнить жанровую специфику книги метафорой «магический кристалл», поводы для которой дает самый магический, таинственный, нездешний, вневременной фрагмент книги – «Астрологические оды». Его сама Татьяна Николаевна оценила как попытки в шутливой форме, учитывая гороскоп юбиляра, создать образ близкого человека (с. 166-182). Одна из од посвящена профессору исторического факультета Михаилу Ефимовичу Раковскому. И она прекрасно дополняет совсем не юбилейный портрет одного из самых неоднозначных представителей

* Татьяна Николаевна Попова очень творчески и новаторски подходит к архитектонике своих книг: названия глав, отступлений, примечаний, экскурсов, приложений всегда глубоко методологически продуманы и всегда очень индивидуальны (например режимы письма: ремарка-анонс, ремарка-экскурс, ремарка-тезис, ремарка-штрих, акцент, абрис и т. д.). Не отступает она от этого правила и в новой книге, за яркими названиями, «штрихи предвещающие», «штрихи заключающие», «индивидуальный маршрут: контур», – ядро авторской концепции и почти математический строгий расчет.

истфаковского истеблишмента той поры. Отчетливо понимая, что созданный ею в установке «любовного созерцания» (М. Бахтин) портрет с подзаголовком «Человек на все времена» вызовет резкую критику многих истфаковцев, автор сохраняет верность одному из главных своих учителей, не сглаживая противоречий его многогранной натуры. И эта верность учителям, верность «атмосфере той прежней жизни, отнюдь не такой однозначной, какой ее пытаются изобразить» (с. 7), – один из глубочайших нравственных уроков «Авто-био-историографических заметок». Это высокий модус верности, трезвой, ясной (той ясностью, которая обретается глазами, омытыми слезами), обогащенной доскональным знанием макро- и микрофизики исторической ткани, живущей в «большом времени» смыслов, активно сопротивляющейся скороспелым сиюминутным приговорам. Верность своим учителям и одновременно верность ремеслу и призванию историка. «Историк должен читать *всё*, поскольку *всё* является историческими памятниками своего времени – в этом я убеждена безоговорочно!» (с. 121). Чеканное на все времена дополнение автобиографического сюжета-квеста: «В годы «перестройки» – на рубеже 1980-1990-х гг. – времени, когда можно уже было говорить все, я часто приносила на занятия по историографии литературу, которая ранее была «под запретом». В частности, как-то я принесла и «Краткий курс», спрятав обложку, чтобы студенты не видели, что это за книга, и выборочно зачитала им...» (с. 122). Что было дальше? Читайте книгу!

Мои «штрихи заключающие»*, которыми я резко обрываю свою затянувшуюся мини-рецензию, возвращаются к исходному пункту – теме «калейдоскопа образов». Раздел «Индивидуальный маршрут: контур» – автобиографические заметки, благодарные (о родителях, учителях, друзьях) и горестные, силуэты персонажей, поворотных встреч с людьми и книгами, ведет нас к главному пункту назначения – история и одесский истфак. В разделе «По следам минувшего: фрагменты» читатель, особенно заинтересованный читатель-истфаковец, найдет яркие, провоцирующие портреты Ирины Владимировны Завьяловой («Среди миров...»), Анатолия Диомидо-

* Конечно же, я не могла не воспользоваться ярким наименованием заключения книги. Должна признаться, что уже не в первый раз использую в своих публикациях не только гипнотизирующие идеи Татьяны Николаевны, но и названия ее рубрик, гипнотический эффект которых не менее силен.

вича Бачинского («...и в сердце, и в памяти...»), Заиры Валентиновны Першиной («Эта роза, эта роза, эта роза...»), «Женщина высокой пробы»), Владимира Николаевича Станко («Буря и натиск»), Анны Михайловны Шабановой, Виктора Николаевича Немченко, Анатолия Захаровича Ярового, Наталии Ивановны Калюжко. Рядом с астрологическими одами, как в калейдоскопе, сразу серьезнейший раздел биобиблиографии, а также штрихи к «портрету» той междисциплинарной гуманитарной области, объединившей ученых многих стран и не состоявшейся бы без активного майевтического «родовспоможения» Татьяны Николаевны. Речь идет о «бициллиеведении», многогранном коллективном исследовании жизни, творчества, научного наследия в современных контекстах одного из самых выдающихся представителей символической корпорации одесского истфака, не знающей временных границ, Петра Михайловича Бицилли (1879, Одесса – 1953, София). В данном случае, как во многих других «интеллектуальных маршрутах» Т.Н. Поповой, это не беспристрастное исследование, а «возвращение имени», возвращение из-под запрета советских времен и постоянное напоминание о своем герое в наше страдающее мгновенной амнезией и катастрофической утратой исторического сознания время.

Замечательно, а иначе просто и не могло быть, что Татьяна Николаевна рассматривает новые сетевые форматы общения не как повод для ностальгирующего раздражения, а как активный ресурс. Можно без сильного преувеличения сказать, что представляемая книга – во многом «эффект Фейсбука», впервые обретенного автором лишь в 2019 году, но уже активно освоенного. Ведь впервые полемические «Потреты» богинь и богов (именно в такой последовательности) одесского истфака советской и перестроечной поры были представлены именно в Фейсбуке, вызвав живое и драматически разворачивающееся обсуждение. Свое приглашение к заинтересованному чтению не могу не завершить приглашением к разговору от самой Татьяны Николаевны (с. 185): «Осознавая калейдоскопичность своего опуса, я все-таки надеюсь на последователей... <...> Новые воспоминания, обобщенные с уже вышедшими прекрасными изданиями универсантов (всех причастных к универу), помогут сохранить наш истфак как вечный куматонд. Пока мы есть, будет и наш истфак!».

Алёна Яворская

«Козачинский принадлежит всем...»

Издано в Одессе



«В Одессе вышел двухтомник Александра Козачинского». Услышав эту новость, большинство, увы, спросит: «А кто такой этот Козачинский?». А меньшинство поинтересуется удивленно: «А что, кроме «Зеленого фургона» он что-то еще написал?».

Ответить на оба вопроса можно, взяв в руки книгу.

В свое время, в 1939 году, появление «Зеленого фургона» было чудом. И таким же чудом стал вышедший спустя 81 год двухтомник. Это не только тексты Козачинского, это еще и объяснение в любви прожившему всего сорок лет «автору одной повести».

Козачинский, больной туберкулезом, умер холодной зимой 1943 в Новосибирске.

Но архив его, опять же чудом, сохранился. Вначале у матери, затем у дальних родственников. И в начале нового века появилось сообщение, что архив Козачинского продается. Почему-то одесситам его продавать не хотели. Путем сложных интриг и невероятных ухищрений Михаил Пойзнер все же смог его приобрести.

А затем много лет разбирал. Ведь были в архиве этом кроме нескольких вариантов повести рукописи рассказов, неоконченные наброски, письма друзей. И фотографии, очень много фотографий – Козачинский, как и его друг Илья Ильф, был страстным фотографом. Многие фотографии помогла атрибутировать дочь Ильфа Александра Ильинична.

И, естественно, Михаил Пойзнер хотел, чтобы не только он, но и многие другие могли лучше узнать не только писателя Козачинского, но и Козачинского-человека, яркого, одаренного, ироничного. И влюбленного в Одессу.

В предисловии «Мой Козачинский» Пойзнер написал: «Одесса Козачинского сочная и живописная, наверное, еще и потому, что написана движением его души. Да и сегодня, чтобы почувствовать его Одессу, много не надо. Надо просто пройти по нашим улицам – прислушаться, присмотреться, может, лишний раз улыбнуться незнакомому прохожему. Услышать перезвоны 5 или 28 трамваев, разноголосицу Староконного, громкую тишину Сахалинчика, разговорчики в бане на Провиантской или незаметно пристроиться к колонне курсантов какой-нибудь мореходки... чтобы услышать хотя бы «...тот неистребимый южный акцент, который позволяет безошибочно узнавать... одессита».

В первый том вошли известные произведения: «Зеленый фургон», пять рассказов о летчиках, рассказ «Фоня» и водевиль «Могучее средство» (кстати, переопубликованный Натальей Панасенко в 2003 году в № 14 «Дерибасовской – Ришельевской»). Книга щедро украшена иллюстрациями Григория Палатникова.

Второй том называется «Александр Козачинский: Жизнь и судьба. Одесса – Севериновка – Москва – Новосибирск».

Михаил Пойзнер объединил многих людей, как и он, влюбленных в Козачинского. Во втором томе статьи не только одесситов Михаила Пойзнера, Натальи Панасенко, Олега Губаря и автора этих строк, но и доцента Портлендского университета (США) Кассио де Оливейры, Лидии Мацько-Королевой из Новосибирска.

Что особенно украшает издание и что особенно ценно для любителей истории – почти все документы и рукописи воспроизведены репринтно.

Во втором томе Наталья Панасенко опубликовала материалы из дела Козачинского, опровергающие многие устоявшиеся мифы вокруг имени писателя. И уже из показаний 1922 года видно, каким писателем станет юноша, побывавший и милиционером, и бандитом:

«Месяцев 5 или 6 тому назад я, движимый желанием «придбать» себе парочку лошадок, направил стопы своя в с. Бициловку, где стоял Этапный ветеринарный лазарет 51 дивизии, предмет усиленного внимания, заботливости, фаворит наш и источник благополучия.

В древности Господь Бог послал бедным евреям манну небесную; для нас, бедных бандитов, он всеобъемлющею своею благодатью создал ветеринарный лазарет».

Во второй том вошел и не публиковавшийся ранее сценарий фильма «Первый выстрел», написанный Козачинским в 1940. Теоретически, задумывалась экранизация «Зеленого фургона», но от героев остались лишь фамилии. Полностью сохранился лишь последний вариант, где по требованию редакции «основная тема сценария – прославление стойкости, мужества, пронизательности и героизма сотрудников уголовного розыска». И тем не менее этот сценарий отражает время, пожалуй, не меньше, чем «Зеленый фургон». А рядом – блистательный текст повести о гимназистах «Гремучая ртуть». Увы, лишь наброски.

Но главное открытие второго тома – сорок страниц фотографий, сделанных Козачинским. Он удивительно умел снимать обыкновенных людей – летчиков, старых абхазцев, детей. А фотографию Ильи Ильфа на фоне сапога Сталина (на огромном панно в Москве) вполне можно назвать символом тех лет.

И еще о Козачинском и его друзьях. Шестьдесят страниц писем Козачинского к Евгению Петрову, Льву Славину, Семену Гехту, Александре Брунштейн. И пятьдесят страниц – письма к Козачинскому от Ильи Ильфа, Льва Славина, Александры Брунштейн.

Это Илья Ильф написал Козачинскому в 1932-м: «...Как Ваше здоровье? Этим интересуется полмира. Об этом, кажется, скоро будут печатать в «Известиях», в отделе «Котировка иностранной валюты». Что делается на узкой полоске земли, называемой Гаграми? Отчего бы Вам, пользуясь свободным временем, не написать:

- а) роман из жизни;
 - б) воспоминания о себе;
 - в) еще что-нибудь интересное.
- Это было бы вполне уместно...
Человечество этого ждет.
Не откладывайте. Пишите».

А Евгению Петрову Козачинский много и подробно пишет о работе над повестью, иронически замечая: «Ты заметил, что в каждом абзаце под конец я перехожу на свои литературные труды. С ужасом замечаю, что стал типичным графоманом».

Но самая трогательная переписка – с Александрой Брунштейн и ее дочерью Надеждой в самые тяжелые годы, 1942-1943.

«Дорогая Александра Васильевна, – пишет он из госпиталя, – если бы Вы увидели меня сейчас в байковом халате, из-под которого выглядывают носки и казенные тапочки, вы приняли бы меня за одного из тех рядовых бойцов, которым вы читаете по субботам отрывки из «Аси». Не нахожу слов, чтоб описать, как я доволен госпиталем. Это – царство покоя и пищи. Тут я убедился, какое значение имеет для людей пища, в том числе для членов союза советских писателей. Мне хотелось бы очень подробно описать, как я ем, жую и чавкаю, но это было бы не деликатно по отношению к бедным новосибирцам».

Он по-прежнему ироничен, даже когда пишет о страшной болезни: «К сожалению, и болезнь решила воспользоваться предоставленными мне удобствами, и, получив условия, каких она не имела в Новосибирске, основательно уложила меня в постель». «Поправляюсь, по совести говоря, неважно, и чувствую себя виноватым перед друзьями, которые любят бодрых больных, быстро выздоравливающих и оправдывающих заботы и попечения о них».

Не все письма доходят, и та же Александра, упрекающая его: «Сашичек, что же вы молчите, собака? Почему от Вас нет ни строчки, жаба? Вы свинья, Сашичек, Вы даже не ответили на мое письмо, в котором я вам вывалила целый вагон литературных сплетен», – позднее напишет ему с грустью, что многие письма – и его, и ее – пропали по дороге.

На долгие годы затерялась и могила Козачинского. Но, разбирая полустертое письмо к матери Козачинского Клавдии, Пойзнер сумел прочесть подробное описание дороги к могиле. И сумел найти неравнодушных людей в Новосибирске. Могила была восстановлена, памятник отреставрирован.

Завершает второй том краткий очерк о Севериновке и фотографии сегодняшней Севериновки – тех мест, где носился на кобыле Коханочке Володя Патрикеев, он же Александр Козачинский. Автор «Зеленого фургона».

Михаил Пойзнер завершает свою статью словами:

«Для кого-то Одесса начиналась с «Зеленого фургона».

Для кого-то Одесса начинается с «Зеленого фургона».

Для кого-то Одесса продолжается с «Зеленым фургоном».

А Козачинский принадлежит всем...»



Содержание

От редакции	3
Михаил Жванецкий А смерти нет.....	6
Юрий Михайлик «Это жизнь твоя вдогонку плывет».....	11

История, краеведение

Олег Губарь Путеводитель по пушкинской Одессе	16
Анатолий Горбатюк «Княжна Тараканова» и пр., или О мифах, преследовавших де Рибаса.....	31
Евгений Деменок Братья Крахмальниковы. Двести лет «сладкой» истории.....	44
Леонид Авербух Когда уходят друзья.....	52

Одесский календарь

Екатерина Безпалова Здесь наши классики играли в классики	64
---	----

Проза

Вадим Ярмолинец Макумба.....	78
Владимир Каткевич Замена	92
Катя Капович Американские истории.....	104

Леонид Лейдерман Кеша хороший мальчик	120
---	-----

Поэзия

Ирина Дежева Из кара-цикла «Земля»	130
--	-----

Александр Щедринский От одного корня	135
--	-----

Вячеслав Игрунов «Как медленно солнце садится»	138
--	-----

Татьяна Вольская «И если было – то со мною ли?»	150
---	-----

Первые шаги

Учителя и ученики	156
-------------------------	-----

Искусство – жизнь – искусство

Галина Манаева Дерзновения и всполохи Михаила Латри	168
---	-----

Ева Краснова, Анатолий Дроздовский Почти детективная фотографическая история в старой Одессе	180
--	-----

Юрий Дикий «Святая к музыке любовь»	188
---	-----

Леся Орлова Кто вы, чекист Блюмкин?	202
---	-----

Александр Дорошенко «Отпусти мой народ...»	217
--	-----

Михаил Пойзнер «Уже только эти слова меня вылечивают...»	238
--	-----

Евгений Голубовский Заложник вечности	246
---	-----

Инна Голубович «Из всех крошек самые главные...»	251
--	-----

Публикации

Теодор Томаш Еж (Зыгмунт Милковский) Одесские воспоминания	270
Публикация Стеллы Михайловой	

Моя семья, мои друзья.....	285
Публикация Андрея Добролюбского	

Сокровища из сокровищницы

Татьяна Щурова «Согнув над миром острых два плеча...».....	300
--	-----

Путешествие

Евгений Деменок «Сын великого Моцарта, похожий на него внешностью и нравом»	324
---	-----

Ах, Одесса

Феликс Кохрихт И снится чудный сон Татьяне.....	334
---	-----

Григорий Барац Первая любовь Толясика	338
---	-----

Елена Палашек Любимый хозяин	355
--	-----

Алла Голованова Из жизни муз.....	359
---	-----

Издано...

Евгений Голубовский Книжный развал.....	362
---	-----

Инна Голубович Калейдоскоп образов на фоне эпох.....	372
--	-----

Алёна Яворская «Козачинский принадлежит всем...».....	376
---	-----

Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах

Книга 84

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac

Book 84

Издается с 2000 года

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

Технический редактор Геннадий Танцюра

Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 21.02.2021

Бумага офсетная РАМО SUPER 80 г/м



Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16

Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2

Заказ № Тираж 100 экз.

Всемирный клуб одесситов Worldwide Club of Odessits
65014 Одесса, Маразлиевская, 7 7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa

Украина

Ukraine

Тел.: +38 (048) 725-45-67

Tel.: +38 (048) 725-45-67

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»

Украина Одесса, ФЛП Карпенков О.И.

Свидетельство ОД № 121 от 20.01.2003 г.

E-mail: takibook.odessa@gmail.com. Тел.: +38 (067) 486-20-34

www.takibook.od.ua

Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»

Регистрационное свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010

а/я 299, 65001 Украина Одесса

Тел.: +38 (048) 7 385 385

E-mail: books@plaske.ua